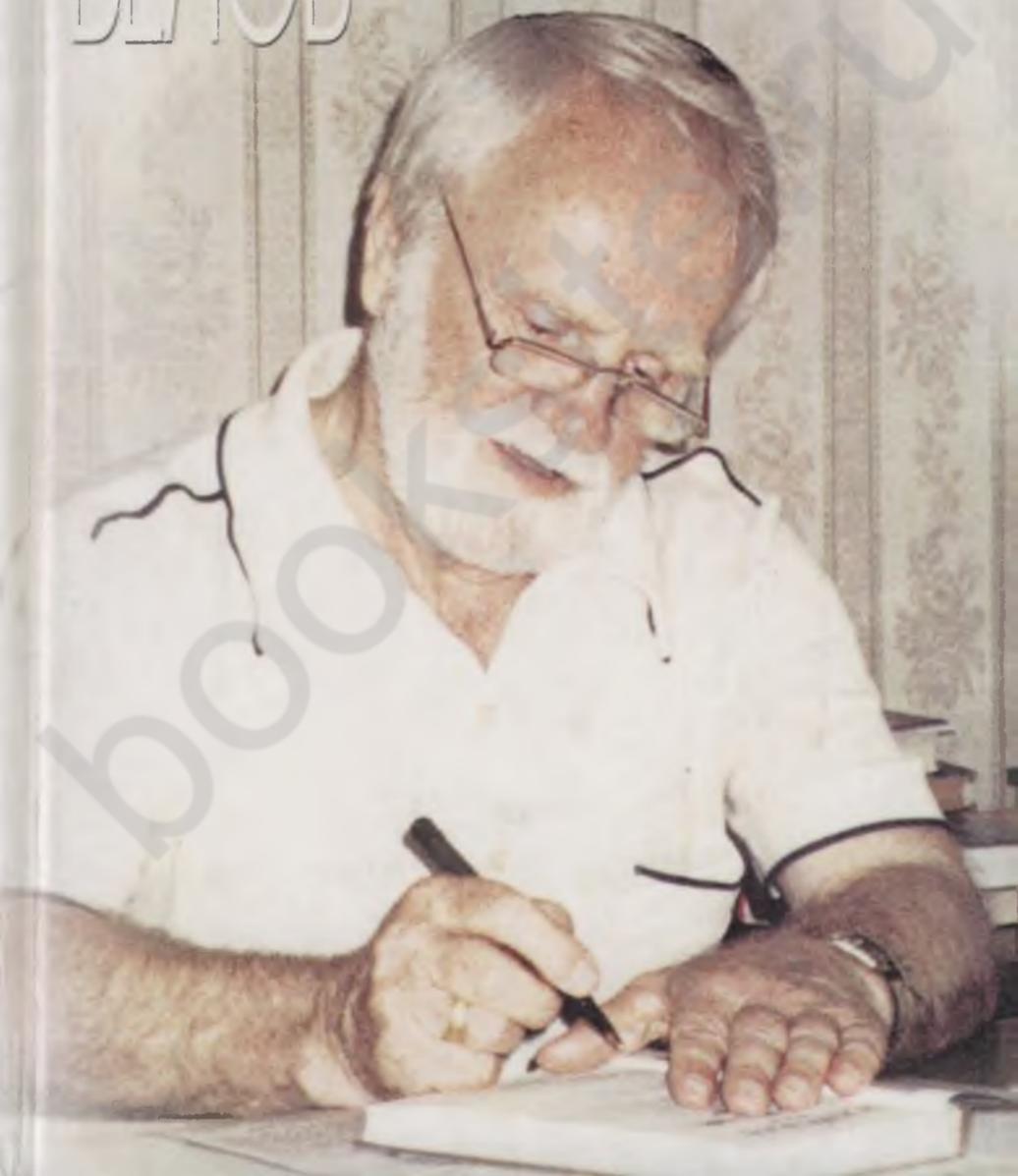


РС
Б43

КР1375370

ВАСИЛИЙ
БЕЛОВ

РАЗЛИЧЬЯ
О ДНЕ
СЕГОДНЯШНЕМ



booksite.ru

ВАСИЛИЙ
БЕЛОВ

РАЗДУМЬЯ
О ДНЕ
СЕГОДНЯШНЕМ

"РЫБИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ"
2002



К 70 - летию
выдающегося русского писателя
В. И. БЕЛОВА



На обложке: В. И. Белов за работой
(фото А. Грешневикова).

Белов В. И.

Раздумья о дне сегодняшнем. — Рыбинск: Рыбинское подворье, 2002. — 368 с.

ISBN 5-85231-062-X

© В. И. Белов, 2002 г.
© Издательство, «Рыбинское подворье», 2002 г. Оформление.

ЖИВЕТ, КАК ПИШЕТ, А ПИШЕТ, КАК ЖИВЕТ...

Бессодержательная, нищая духом, блудливая и вненациональная власть из боязни узнать о себе правду лишила его, известного русского писателя Василия Белова, — рупора, закрыла перед ним двери в издательства. Но не смогла отнять у него совести и посоха.

Власть прикинулась демократической дурочкой: мол, иди, писатель, проси копейки у бизнесменов и олигархов, теперь они, «новые русские», владеют агитационно-пропагандистской индустрией, может, твое слово их разжалобит, и они дадут денежку на книгу про народные чаяния. Ты ее, безгонорарную, тиражом в сто экземпляров издашь, сам потом с друзьями и почитаешь. А мы-то уверены, что народу нужно другое слово, и мы дадим ему книжки с многомиллионными тиражами — про блуд и киллеров, про проституток и бомжей, про красивую жизнь на заморских островах и детективные истории с садизмом и убийствами. Смотри, писатель, как они поглощают нашу «массовую культуру», смотрят на видеомagneтофонах, по телевизору, в кинотеатрах, читают в журналах, газетах и книгах. Они, как и герои «масскультуры», — припевают, бряцают, топают, взвизгивают, пляшут, пьют, насилуют, хлопают. Они любят даже наши песни и повторяют их: «Все мы, бабы, стервы...», «Сим-Сим, откройся...», «Ты скажи, чё ты хошь...». И зря ты, писатель, утверждаешь, что это не культура, а бред сивой кобылы. Да и не нужны нам твои размышления — ни про патриотизм и важность нравственного прогресса, ни про спасение русского языка и национальную архитектуру, ни про вырождение русского этноса и бездуховность политиков... Такие книги скучны и опасны.

Вот такой в наше смутное время происходит диалог у честного писателя с властью.

И мне не нужно искать ответа на вопрос, почему власть не дает Василию Белову и его коллегам — русским писателям, художникам, актерам, композиторам, скульпторам, поэтам, то есть всем тем, кто верен традициям рус-

ского реалистического искусства, — возможности выступать по телевидению, публиковаться массовыми тиражами. Да если им, Беловым, предоставить телевидение со всеми его каналами, многочисленные издательства, то народ, имея генетическую память и чувство самосохранения, эту похабную красноречивую власть тут же выставит за ограду.

Но власть напрасно думает, что если у писателя нет возможности печататься в самых тиражируемых газетах и журналах, выступать на телевидении, беседовать по радио, издавать книги, то он обязательно сопьется или сгинет «на этапе», как это часто на Руси и случалось. Либо его слово просто притупится.

Ошибаются господа. У Василия Белова слово притупиться не может! Как оно может поржаветь, если все время, как острая сабля, в сражении со злом?! Как писатель может онеметь и пропить совесть, если призван служить народу, у которого на виду живет?! Как он может забыть о призвании русского писателя, если неукоснительно следует великому завету русской литературы: как живешь, так и пиши, как пишешь, так и живи?!

Ходит он с палочкой-посохом по земле русской и строго, по совести говорит с народом — о жизни.

То, что Белов не умеет убеждать словом, — сущая неправда.

Я общался с ним множество раз и знаю: трудно найти собеседника интереснее него. Аргументы его настолько убедительны, насколько неистов был в своей правоте Аввакум.

То, что у Белова слово обладает крепким зарядом нравственной силы, — это точно.

Сам же опять могу засвидетельствовать... Например, мой друг, народный художник России Вячеслав Стекольников, прочитав книги Василия Белова и Валентина Распутина, сказал с восхищением: «Какое же это мощное оружие — искусство!.. На такую высоту оно может поднять человека! Буквально несколькими фразами передана красота природы, читаешь — будто ангел босиком пробежал по душе!»

То, что Белов верен великому завету русской литературы, — это, вы уж сами, уважаемый читатель, проверьте, прочтите его последние рассказы, очерки, статьи, размышления. Ну, а можете и мне довериться.

Так уж в жизни случалось, что с живым классиком русской литературы я чаще встречался и беседовал не в кабинетах и библиотечных залах, а там, где творилась

в последнее время в России история, где бушевали народные страсти, и, к великому прискорбию, проливалась невинная кровь, вершился несправедливый суд.

Там, где должен быть с народом истинный патриот, там и был Белов. Он безропотно делил его тяжкую долю, разделяя беды и обиды, получая синяки на демонстрациях и угрозы от ошалевших «демократов» чубайсо-ельцинской закваски.

Когда русский парламент приговорили в 1993 году к расстрелу, он был на баррикадах. Говорил с народом. Состыжил милиционеров, не пропускающих народ к обесточенному зданию Верховного Совета России и раскручивающих вокруг него колючую проволоку и спираль Бруно, запрещенную международной конвенцией, но используемую ельцинской властью против мирного населения. Поднимал дух у юношей и девушек на баррикадах. Он все хотел понять: как можно в центре столицы устроить тюрьму для того, чтобы убить конституционную справедливость? Ведь Ельцин нарушил главный закон страны — Конституцию... И еще требовал от народа, пришедшего ее защищать, от слуг народа — депутатов, не продавшихся за министерские должности и миллионные взятки, — предательства! Как можно было приветствовать и насаждать культ предательства?! И кроить-переписывать Конституцию под одного президента?! В России все прощаемо, но не предательство. Белов это знал. А полковник, махая на него руками, грозя камерой, орал: «Мне все равно, нам — приказано...» А где же честь, а как же присяга?! Слова Белова гремели у Белого дома и близлежащего стадиона, где потом будут расстреляны воины, не сдавшие честь и присягу. Мне пришлось увести писателя, к которому уже подошли омоновцы. «Не трожьте, это же — Белов, это же — великий русский писатель!» — кричал на полковника уже я. А Белов повторял: «Как же они забыли присягу, долг, честь, Конституцию?!» И это звучало, как слова другого великого русского писателя — Достоевского, сокрушавшегося: «Если Бога нет, то ведь все можно...». Только обманутые не могли слышать ни Достоевского, ни Белова. Они шли за слепыми поводырями, которые вели Россию в бездну... Потом танки ударили боевыми снарядами по парламенту, и он все понял, больше не задавал вопросов, лишь сокрушался, что не остановил, не смог донести правду...

А потом была война в Сербии.

У братьев-сербов отнимали кров, деревни, города, землю, веру, родину. Единоверцы-славяне ждали помощи от

русских. А русские не слышали той мольбы. Да и чем они, обманутые, обворованные, обезоруженные, могли помочь?! А те, кто мог, сидели в высоких чиновничьих креслах и думали все о том же: как не потерять власть. Чтобы сербы не подумали, что русские их предали, — Белов поехал во время боевых действий в самое пекло — в Сербскую Краину. Под Сараевом шли ожесточенные бои, каждый окоп простреливался снайпером... А Белов взобрался на дзот, поднялся над окопом, и, глядя на сказочно красивый, но ежедневно расстреливаемый город Сараево, сказал сербским офицерам: «Русские с вами...». Он много встречался с солдатами, беседовал с мирным населением, добрался до самого Караджича, президента Сербской Краины. Он хотел искупить вину русских... Он переживал, страдал, скрежетал зубами. «Если бы я не был так стар и дряхл, был чуть помоложе, я бы взял автомат и остался с вами», — говорил он Караджичу, которого боготворил, за плохое слово в адрес которого мог в Москве дать пощечину... И от слов Белова становилось почему-то очень жутко и мне, и всем присутствующим русским солдатам из миротворческого батальона. Спас ситуацию легендарный Караджич. Он сказал, что русские у них в отряде есть, они смелые, отважные воины... Но им воинов не надо. Им нужно только оружие. Вскоре мы встретились с русскими добровольцами. Сразу после боя... Они узнали, что приехали Василий Белов, ни разу не солгавший, и Сергей Бабурин, ни разу не предавший, и потому не побоялись, пришли на встречу. На родине их почему-то считали не добровольцами, а наемниками... Белов сказал им то, что мог сказать только он или знаменитый проповедник Иоанн Кронштадтский, вселяющий дух справедливости. Еще Белов снял с груди теплую, божественную ладанку и повесил ее со словами благодарности на шею сибиряку-добровольцу, который сражался здесь, на главном рубеже России за всю Русскую землю.

А еще был импичмент властолюбивому президенту.

По-русски говоря, был суд! С возможностью вынесения смелого и главного — справедливого приговора. Но приговор этот зависел от смелости и справедливости депутатов. И, к сожалению, не от Белова.

Все боялись сказать ему — стрелявшему в парламент, обворовавшему народ, заведшему страну в экономическую и духовную пропасть — то, что о нем думали многие и то, что необходимо было сказать. И в парламент пришел Белов. С трудом взошел на трибуну и, как не пытались его перебить, захлопать и сбить с толку, сказал все,

что наболело на душе. И были то слова обвинения — президент обманул и предал свой народ. Вся вина за разруху и нищету лежит на нем — на Ельцине. Он мог этого не говорить и тогда получил бы кремлевский паек, допуск к привилегиям, возможность переиздать свои давние книги полным собранием сочинений, ведь некоторые его знакомые писатели пошли на это — и какие шикарные много-томники власть им помогла издать! Они живут в отличие от Белова в свое удовольствие, не мучаясь, не страдая, не скорбя — не выходя из душевного равновесия. Белов мог остаться дома и писать художественный роман, посчитав, как это тоже уже бывало с наимудрейшими писателями, что каждый должен заниматься своим делом, что писатель не должен губить свой великий божественный талант в сиюминутности жизни и тем более в политике, которая зовется грязью. В конце-то концов, он был в тот день болен, и потому без всяких угрызений совести мог оставаться на больничной койке, и никто, даже он сам себе, не сказал бы, что струсил, смалодушничал, отсиделся. Но он пришел и произнес обвинение. Да, есть в посрамлении державы, в ее обиде виновный и нет ему пощады. Единственный раз в жизни, как мне помнится, он говорил, волнуясь, негромко, подбирая слова. Селезнев потом мне сделает выговор: «Зачем вы привели больного?!» Но что тут можно было пояснить спикеру парламента, если я звонил Белову и просил его как раз об этом же — не приезжать. Но Белов не был бы Беловым, если бы не приехал.

Белов не был бы тогда тем русским писателем, которому дороги такие понятия и традиции, которые, правда, не вырублены в граните, но записаны в душе: как живешь, так и пиши, как пишешь, мыслишь, так и живи.

Господи, если бы каждый русский человек жил по этой заповеди! Или хотя бы каждый русский интеллигент. Или хотя бы каждый русский писатель.

Чем же сегодня живет писатель, какими думами, страстями?! О чем болит его душа?! И что все-таки из-под его пера выходит к читателю, что за темы и проблемы он поднимает?! Он — действительный рыцарь духа, живой классик, совесть народа, живущий в наше время не по лжи, лауреат Государственной премии СССР, автор широко известных всем книг — «Лад», «Привычное дело», «Плотницкие рассказы», «Кануны», «Все впереди», «Воспитание по доктору Споку», «За тремя волоками». Он ведь по сей день остается значительным мыслителем, успешным проложить свой неизгладимый след в общественно-

исторической жизни страны, народа, нации. Он прослыл не только истинным писателем — народным глашатаем, вечевым колоколом, духовным вождем, он побывал даже в шкуре политика, обычного слуги народа, то есть депутата Верховного Совета СССР.

Гражданская позиция писателя Белова исходит (и служит продолжением) из идеологического кредо великого поэта России Николая Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Отсюда в рассказах и статьях Белова — идеи непреложного труда, идеи целостности исторического, духовно-нравственного единства русского народа, осознание русским человеком духовно-нравственного единства со всей Русской землей.

Герои книги Белова не могут не задаваться извечными вопросами: «Ради чего живет человек?», «Как жить?..» Они ищут ответ на эти вопросы. И Белов им подсказывает: возвращайтесь к выстрадавшим предками нравственным законам, к своим истокам, корням, почве. Писатель заставляет читателя пройти сквозь чистилище собственной совести, заставляет судить себя судом справедливости, народного контроля. Истоки народного оптимизма, поэтики, добра, справедливости Василия Белова кроются в его знании жизни, в его неразрывности с деревней, в началах народного поэтического мировоззрения.

Белову как никому введена роль национально-патриотического фактора в русской культуре. Потому он пишет сегодня не о вымышленной жизни, не об утерянном крестьянском ладе и даже не про величие истории древних славян. Он — летописец современной истории. Пишет про то, как купился народ на посулы кремлевских мальчиков, приобретших вдруг западное мышление — «все решают деньги». Пишет о том, почему официальная Россия предала союзников сербов и зачем современные архитекторы строить безликие дома, и чем чревато для страны коверкание русского языка.

С народом у него разговор серьезный, достойный. Он ему не потрафляет, не предлагает легкой, презренной и паразитной жизни, коя льется с экранов телевидения. Жизнь, по его мнению, это — не «поле чудес», не случайные выигрыши в лотерею, не бутылка «правильного» пива в руке, это — труд. Созидательный. Производительный. И раньше Белов так считал, утверждая подобный образ жизни в рассказе «Весна»: «Надо было жить, сеять хлеб, дышать и ходить по этой трудной земле, потому что другому некому было делать все это». И нынче пишет: «Взгляните в еженедельные программы многочисленных

телеканалов. Чего только там нет. Все мировые силы зла брошены на то, чтобы оболгать, опаскудить, посеять в народе неуверенность и уныние. Перестройщики русской души не брезгают ничем... А в телеящиках мелькают, мерцают, мельтешат голые дивы, живые существительные мужского, женского и среднего рода.

Мысль о спасительном труде — не нова, не Беловым она придумана: он почерпнул ее из родников русского народного сознания.

Труд да любовь к родине — вот основа для спасения собственной души и своего Отечества. Это основа патриотизма. Того самого патриотизма, который есть во всяком цивилизованном государстве, даже в Америке, уничтожившей цивилизацию индейцев, и который нам западники-демократы запрещают иметь, нарекая почему-то патриотизм «прибежищем негодяев».

Белов не боится повторять, что патриотизм — главная идеология государства. Это и есть та национальная идея, которую так сумбурно и робко ищут кремлевские западники, и которая может и должна спасти Россию от уныния, бездуховности, воровства. С чувством родины славяне создали великую русскую империю, с этим чувством победили фашистских оккупантов, с чувством родины восстанавливали из пепла и смрада страну, значит, патриотизм и сегодня поможет россиянам в возрождении государства.

И благодаря Белову, благодаря таким, как Белов, в России у власть предержащих пропало отвращение к патриотизму, в речи политиков все чаще используется патриотическая риторика.

А Белова это беспокоит: не заболтали бы святое чувство.

Белов — патриот не по названию-определению. По делам его так называют. Не зря в его рассказах говорится о спасительном труде...

Патриоты — это те, кто сам трудится на благо России, а не занимается рассуждениями о том, что труд спасет страну, кто служит ей собственным примером, а не на примере других подвижников.

Вот почему даже в стане знакомых литераторов и борцов за Россию, часть из которых — записные патриоты, его побаиваются. Ведь знают: он не промолчит, он скажет все, что думает, не взирая на регалии и дружбу. И ему все прощается. Нет, не потому что он — патриарх литературы, смелый человек. А только потому, что его слово — это слово правды и оно не расходится с делом. Одни православные патриоты ходят в монастырь за дармовой похлеб-

кой, за сюжетом для слашавого рассказика и вопя о том, что монастырь — не богадельня, а спецназ. При этом сами гвоздя не вобьют в покосившееся крыльцо. А Белов без крика и патриотической риторики взял и восстановил из руин на своей малой родине церковь. Другие... Сегодня модно называть себя православными. Так вот другие записные православные патриоты готовы предать извечную мужскую дружбу из фанатического самоощущения себя в лице святоши, забывая библейские заповеди и постулаты, что нет уз святее товарищества. А Белов, узнав о снятии с работы легендарного капитана-подводника Попова, усомнился в виновности земляка в трагедии подлодки «Курск», наоборот, поддержал его и послал в знак несогласия с увольнением дружескую, трогательную телеграмму Попову о том, что тот — герой, и Россия будет еще им гордиться.

И сколько патриотических дел совершено этим благородным человеком, сколько добрых семян посеяно!.. Если бы Россия все знала, если бы она научилась вовремя гордиться такими сынами! Как умеет Белов постоять за справедливость, защитить от хулы — мне тоже знакомо. Мне вечно придется благодарить этого человека, хлопнувшего однажды дверью и оставившего за ней — знакомым литераторам — суровые слова в защиту моей позиции. Еще он напишет на своей повести, посвященной другу Василию Шукшину, такие нужные мне тогда слова: «Дорогой Толя! Крепись и занимай новый «окоп», а тебя я всегда поддержу (сколько могу). Белов». Мне до сих пор приходится удивляться его душевной щедрости, его нравственной, человеческой высоте. И я искренне восхищаюсь, замечая в его новых публицистических статьях и очерках — принципиальность, верность самому себе, мужество в отстаивании своих взглядов.

Пока живут на земле такие люди как Василий Белов, мне никогда не будет стыдно за Россию, мне всегда будет стыдно за то, что я в отличие от него еще мало полезного сделал для Отечества — для России Василия Белова!

Анатолий Грешневиков,
заместитель председателя комитета по экологии
Государственной Думы России

Часть первая

РАЗДУМЬЯ О ДНЕ
СЕГОДНЯШНЕМ



Мама в Тимонихе



Отец на заготовке леса (крайний справа). Примерно середина 30-х, ст. Семигородная



Василий Белов во
время службы на
флоте



Писатель с женой
и дочкой



Встреча с М. А. Шолоховым



Василий Белов с первым космонавтом Юрием Гагариным



Василий Белов и Константин Симонов в Вологде



Василий Белов с известным поэтом Александром Яшиным





С другом Василием Шукшиным в деревне



На съезде писателей с Виктором Астафьевым



Валентин Распутин, Игорь Шафаревич, Василий Белов



С Федором Абрамовым в Переделкине

1375370



С. П. Зальгин и В. И. Белов



В Сербии с депутатом Госдумы РФ, писателем и экологом Анатолием
Грешневиковым

В. И. Белов
со старцем
о. Рафаилом
на Валааме



С В. Распутиным на пути
к Байкалу

ДОГОРАЮЩИЙ ФЕНИКС

С чего начиналось уничтожение вековой крестьянской культуры? Конечно, с попытки окончательного уничтожения религиозного православного сознания.

Большевики наивно предполагали, что с физическим уничтожением православных священников и православных храмов исчезнет и православное сознание. Гражданскую войну они продолжили войной против Церкви, что неминуемо привело их к новому противостоянию с русским (и не только русским) крестьянством, а следовательно, и крестьянской культурой. Тысячи монастырей были переоборудованы в тюрьмы и концентрационные лагеря. Тысячи каменных церквей и соборов были взорваны и разобраны. Тысячи деревянных часовен были превращены либо в агитпункты, либо в ларьки для алкогольной торговли. Те культовые здания, что остались, были закрыты и осквернены.

Но храм для крестьянской общины (деревни, села, прихода) был средоточием жизни. Вокруг него формировались не только духовное поле, культурно-бытовая аура, но даже и чисто материальная, архитектурная среда. Вертикаль, венчающая деревенский пейзаж, являлась зримым, вполне осязаемым воплощением вертикали бытовой и культурной. Деревенские природно-стихийные певцы естественно участвовали в церковных хорах, изучали нотное пение, художники не только любовались церковной живописью, но и сами тянулись к творческому созиданию, к чему-то более высокому и совершенному. Суворин, редактор дореволюционной газеты «Новое время», в письме к философу и писателю В. В. Розанову напоминает, что лишить Россию православия — это все равно, что лишить каждую деревню оперного театра. (В таком сравнении чувствуется смещение в иерархии ценностей, но оставим это на совести самого Суворина.)

Одной из главных задач большевистского Агитпропа, а также Союза безбожников, возглавляемого Ем. Ярославским, было разорвать годовое кольцо православных праздников. Для этого в сельский и городской быт всеми сила-

ми внедрялись новые атеистические праздники вроде дней международной солидарности. Затем, уже при Хрущеве и Брежневем, то и дело учреждались всевозможные ДНИ, вплоть до Дня торговли, милиции, нефтяника и т. д.

Надо признать, что задача, поставленная Ярославским, не была решена. Праздники, которые русским народом праздновались со времен св. Владимира, остались в народном быту. Их можно было уничтожить только вместе с самим народом, к чему стремились большевистские культуртрегеры, что, на мой взгляд, в значительной степени и произошло.

Отмена традиционных праздников в России была всего лишь частью централизованной борьбы с крестьянской культурой, проявляющейся в земледелии, в строительстве, в художественных промыслах, в семейном укладе, в песенном творчестве и т. д. Преследовались даже традиционная народная пляска и традиционные музыкальные инструменты. Но главный удар по русскому народному творчеству нанесли клубная деятельность и так называемая художественная самодеятельность. С помощью клубов, изб-читален, «красных уголков» большевики взяли под властный централизованный контроль всю крестьянскую культуру да, пожалуй, и всю народную жизнь. Коварство заключалось в том, что клубная сцена тотчас разделила народ на исполнителей и зрителей. Если раньше такого разделения не было, если в уличном хороводе участвовали буквально все и это не противоречило лидерству и проявлению индивидуальной талантливости, то теперь большинству народа отводилась пассивная роль зрителей. Сцена, клубные подмостки четко противопоставили активного исполнителя и пассивного слушателя (зрителя). Эта активность меньшинства имела зачастую политический оттенок. Без уличного всенародного хоровода или гулянья творческие задатки большинства подсыхали на корню, вырабатывалось стойкое культурное иждивенчество. Другая (малая) часть населения, представленная так называемой «художественной самодеятельностью», развращалась под всеобщим вниманием, а под усиленным идеологическим контролем сверху быстро теряла свой культурный и творческий потенциал. С появлением радио и кинематографа клубная деятельность захирела и сузилась.

Особенно значительными оказались потери крестьянской культуры в музыкальной сфере и в сфере художественных промыслов. За короткий срок почти совсем исчез-

ла великая стихия русского мелоса. Через кино, радио и телевидение была навязана иная музыкальная стихия, чуждая не только крестьянскому, но и всему народному духу, его менталитету, как принято сейчас говорить.

Традиция русской крестьянской общины совмещала (и очень прочно) бытовые, трудовые, религиозные, фольклорные особенности крестьянской жизни. Взаимосвязь, тесное и причудливое переплетение одного с другим, невозможность существования одного без другого — характерная черта всей крестьянской культуры. Труд не выделялся из быта в нечто самостоятельное. Все бесчисленные формы и проявления можно смело назвать трудом, и, наоборот, большинство трудовых процессов на гумне, в поле, в доме имели фольклорно-бытовые и потому неназойливые черты, благодаря чему даже тяжелый мускульный труд приобретал свойство не тяжелой обязанности, а лишь повседневной привычки. И все это сопровождалось словесным, музыкальным, изобразительным и прочим творчеством, все дополняло и усиливало друг друга, образуя прочнейший монолит народной культуры. Сложная многокрасочность, «кристаллическое», так сказать, многообразии, многогранность составляющих ничуть не вредили единству. Наоборот — содействовали. Большевики в жажде РАЦИОНАЛЬНОГО УПРОЩЕНИЯ устранили многообразие крестьянской жизни. Сократились и выщвели не одни только праздники, обеднели и сами будни. Молот технического прогресса довершил дело: крестьянская культура начала стремительно растворяться в едких растворах технической цивилизации. Коллективизация и нарочитая урбанизация, судорожная «тракторизация» и безграмотная химизация — все эти неестественные процессы были навязаны крестьянству извне, навязаны централизованно и весьма настойчиво. Насилие над крестьянской культурой, навязывание народу иного жизненного стиля, иных поведенческих мотивов отнюдь не ограничились периодом коллективизации и раскулачивания (1928—30 гг.). Менялись лишь формы угнетения и способы грабежа. Реквизиции, расстрелы и тюрьмы дополнились лесозаготовками, трудгужповинностью, налогами и поставками.

Война, разумеется, усугубила физические и нравственные страдания русского, украинского и белорусского крестьянства, ускорила его численное сокращение. Геноцид продолжался. Методы Розенберга (его теоретические изыскания и рекомендации оккупационным немецким вла-

стям) по сути не противоречили недавним действиям Кагановича на Украине и Юге России.

После войны сидевшие в ученых и управленческих креслах наследники Троцкого — Кагановича продолжили классовую линию по отношению если не ко всему крестьянству, то по крайней мере к народной, крестьянской культуре. В экономическом смысле эти деятели лишь трансформировали политику 30-х годов. Коллективизация продолжалась на ином уровне. Шло как бы перманентное раскулачивание. При Хрущеве государство раскулачивало уже не семьи, как бывало в 28—30-х годах, а раскулачивало, объединяло (коллективизировало) уже сами колхозы. Чуть позже по рекомендации группы ученых (под руководством академика Заславской) правительство объявило **НЕПЕРСПЕКТИВНЫМИ** многие тысячи крестьянских селений. Что значила эта псевдоурбанизация при жесткой плановой экономике — не так уж и трудно представить. В моем родном Харовском районе с 1950 по 1982 год число крестьян сократилось более, чем в два раза (в 1959 г. было 30,5 тысячи, в 1982 — 14,5 тысячи). Примерно за это же время (плюс военное время) в Вологодской области пашенная земля (несмотря на все возрастающее количество тракторов) сократилась на 400 тысяч га, заросло кустарником 250 тысяч га покосов, площади пастбищ, по данным ЦСУ, уменьшились с 815 тысяч до 317 тысяч га.

В послевоенной деревне условия стойкой оседлости были окончательно уничтожены. Вымирание и миграция крестьянского населения настолько ослабили общинные и семейные связи, что преемственность поколений в трудовом, нравственном и художественном воспитании молодежи совершенно исчезла. Сократилось число детей в семьях. Участились разводы, стала модной супружеская неверность. Ужасающую бедность правящие круги уравновешивали массовым спаиванием: эта дьявольская симметрия создавала видимость социальной устойчивости. (Цифры, характеризующие потребление полугодным народом крепких алкогольных напитков, фантастичны). Нравственное и физическое изнурение крестьянства усилено было двойной, совершенно непосильной трудовой нагрузкой — днем надо было работать в колхозе (для содержания городов и рабочих поселков), вечером и ночью — на приусадебном участке (для собственного жизнеобеспечения). Но даже в такой обстановке, когда нечего есть, не во что обуться, когда физическая усталость и просто нет свободных минут, не обрывалось в нашем

народе извечное стремление к добру и ко всему прекрасному...

Беспристрастной науке еще предстоит изучение интереснейшего явления в государственной политике пришедших к власти марксистов. Речь идет о постоянном несоответствии интересов большевистского Агитпропа экономическим устремлениям правительства. Это противоречие сказывалось повсюду и на каждом шагу. Почти все действия Союза безбожников, ЧеКа, движения «Синяя блуза», комсомола, юных пионеров и прочих более мелких подразделений Агитпропа, который насаждал так называемую «новую» и выкорчевывал так называемую «старую» культуру, шли во вред экономическому здоровью общества, хозяйственному благополучию государства. Экономические успехи, достигнутые не без помощи штурмовщины, кампанейщины, каких-то партизанских наскоков, то и дело оборачивались провалами, бесполезной тратой народной энергии.

Марксистская идеология вошла в жесткое противоречие с народной, в том числе с крестьянской культурой. Стройная многоступенчатая система идеологического оболванивания, руководимая космополитской верхушкой, опиралась на местных активистов. Умный и от природы талатливый активист испытывал мучительное чувство двойственности: на митинге говорил одно, дома или в гостях у родни — совсем иное. На семинаре в городе учат силосованию, дома в деревне приходится косить на сено и т. д. По этой причине талатливые активисты, искренне присягнувшие марксизму, частенько попадали в тюрьму, и на их месте тотчас же оказывались нечистоплотные авантюристы.

В 20—30-х годах централизованный симбиоз ЧеКа — Агитпроп родил отвратительную систему рабкоровского движения. Полуграмотные и нравственно ущербные люди, оказавшись в тайных списках рабкоров, писали в редакции газет обычные доносы. Эти подлые сообщения печатались в газетах без подписи под различными псевдонимами. Такие печатные сообщения сопровождалось немедленными репрессиями, реквизициями и даже расстрелами. От одной безграмотной записки какого-нибудь «Гвоздя» или «Шиля» начиналась в сельской общине цепная реакция злобы и ненависти. Нравственные противоречия между честными и жуликами, между трудолюбием и ленью большевистская пропаганда выдавала за классовую борьбу в городе и в деревне.

Наряду с физическим развращением молодежи (спайвание, свобода добрых половых отношений, аборты) происходило развращение иного рода: нравственная порча духовно крепких, давно сложившихся личностей, например, ИСКУШЕНИЕМ ВЛАСТЬЮ. В понимании русского крестьянина личная власть — весьма опасное дело. Здравомыслящий человек никогда к власти не стремился. Лишь в том случае, когда крестьянский сход (мир, общество) ПРИГОВАРИВАЛ человека к власти (староста, бригадир, председатель колхоза), лишь в таких вынужденных случаях духовно неопустошенный человек соглашался стать местным лидером, руководителем, т. е. обладающим властью. Разница между нравственным и безнравственным человеком весьма определенная, если говорить о личной власти: один искренне всеми силами отказывается, когда его ставят, например, в бригадиры, другой же напрашивается сам (либо стремится стать бригадиром тайно, с помощью интриг). Мир же (крестьянский сход, общее собрание) — прекрасно чувствует эту разницу и всеми известными ему средствами стремится поставить в начальники именно первого, а не второго. В нормальных условиях обуреваемый тщеславием и жаждущий власти замолкает, а между крестьянским сходом и крестьянским избранником происходит короткая, но достаточно драматическая борьба, похожая на ритуал крестьянской гостебы, когда хозяин, поднося чарку, изо всех сил потчует гостей, а гости всячески отказываются пить (выигрывают все, а более всего — народная нравственность).

Древнейшие традиции крестьянского схода были вначале извращены с помощью института уполномоченных, затем и вовсе похерены, когда удобные и компактные хозяйства правительство объединило в громадные неуправляемые или перевело в совхозы, где, как на фабрике, действует непререкаемая власть директора.

От русского схода ничего не осталось, поскольку совхозные собрания проходили под руководством районных уполномоченных и милиционеров. Председатель колхоза был фигурой вполне трагической, потому что находился между антинародной властью и самим народом. Народ стремился поставить в руководители честного и опытного, но честный человек вынужден был обманывать вышестоящую власть. Иначе он бы не мог сохранить народное доверие и народное уважение. Такой человек либо очень скоро уходил с поста, либо развращался. Искушение властью выдерживал далеко не каждый. Поэтому в колхозах

царила хозяйственная неразбериха, процветала кадровая обезличка, вызванная постоянной сменой кадрового руководства. Так, в моем родном колхозе за период с 29-го года по 70-й побывали в председателях более тридцати человек. Они сменялись чуть ли не ежегодно, причем вовсе не обязательно на годовом отчетном собрании. Колхозная действительность то и дело опровергала старые истины вроде той, что «на переправе коней не меняют». В деревне Тимонихе еще до войны в бригадирах побывал едва ли не каждый мужчина. (После войны бригада в Тимонихе исчезла, т. к. сократилась, а мужчины погибли, ни один с войны не вернулся.)

Итак, новая марксистская идеология оказалась для крестьянства смертельной, она и вытеснила древнейшие разнообразнейшие проявления крестьянской культуры. От христианского прихода ничего не сохранилось, от крестьянской общины остались одни отголоски, жалкие и тем не менее жизнеспособные росточки мощной и самобытной культуры.

Церковные и бытовые обряды, народные обычаи, существовавшие еще с дохристианских времен, копившиеся веками трудовые навыки, ремесла и художественные промыслы — все это было или уничтожено или обескровлено. Священника на селе заменил комиссар (позднее — парторг). Крестьянский сход уступил свое место митингу.

Индивидуальное соперничество в быстроте и качестве труда Сталин умело использовал для внедрения потогонного соцсоревнования, которое очень быстро выродилось в бессмысленную погоню за дурным количеством.

Возрастная и семейная иерархия подверглась дискредитации и осмеянию на государственном уровне. Женщин изо всех сил пытались противопоставить мужчинам, молодежь — старикам, детей — родителям.

Нравственные понятия извращались даже с помощью экономических рычагов (налог с холостяков). Вспомним частушку недавних лет.

*Задумевшая подруга,
До чего мы дожили:
Которо место берегли,
На то налог наложили.*

Нынче способы уничтожения народной крестьянской и вообще национальной культуры завершились полной механизацией идеологической обработки. Кино, радио

и телевидение сделали ненужными «красные уголки», «стенгазеты», «черные» доски. Теми же электронными средствами была свершена стремительная подмена богатейшей музыкальной и песенной крестьянской культуры эрзацами культурной химеры.

Произошло отчуждение народа от собственных культурных источников, и это отчуждение сродни отчуждению крестьянина от земли. В культуре, да и вообще в жизни, появились уже элементы и признаки резерваций, когда подлинным и массовым ценностям национальной (крестьянской) культуры придается как бы музейный, т. е. частный характер.

Внимательному наблюдателю нынешнее состояние дел в стране не внушает пока оптимизма: демократический натиск на крестьянскую культуру ничуть не слабее коммунистического.

Погром все еще продолжается.

Явственно видно, как догорают последние золотые перья сказочной птицы Феникс...

ДВУХВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ПУШКИНА

«Емеля, Емеля! — думал я с досадою. — Зачем не наткнулся ты на штык или не подвернулся под карточку? Лучше ничего не мог бы ты придумать.»

А. С. Пушкин, «Капитанская дочка»

Не так давно, чтобы обмануть бдительных демократических цензоров, покорный ваш слуга пошел на мелкую хитрость: вздумалось ему с помощью «Парламентской газеты» привлечь внимание законодателей к Льву Александровичу Тихомирову. Затея была не столько забавна, сколько бесполезна. Депутатам не до государственного строительства... Читать такие толстые книги им лень да и времени нет. Но кто знает? Из нескольких сот современных политических деятелей, патриотов-депутатов и губернаторов, болеющих за судьбы России, может быть, хоть один-два внимательно прочтут книги Тихомирова, изданные журналом «Москва». Нельзя сказать, что в современной России совсем не издаются нужные и толковые книги. Но фигура умолчания зловеща, хотя и кратковременна...

Л. А. Тихомиров говорил, печатаясь в журнале «Русское обозрение» и полемизируя с русскими либералами еще в конце XIX века (то есть более ста лет назад): «...от варварского очарования внешним блеском культуры у нас обыкновенно оказывались способны отрешаться только крупнейшие наши люди — Герцен, Достоевский, граф Л. Толстой». Этот список, конечно, можно было начать с великого Пушкина, двухвековой юбилей которого Россия пытается праздновать. Почему использовано слово «пытается»? Можно бы всерьез поспорить на эту тему... Отложим спор до лучших времен. А пока отметим, отпразднуем этот величайший юбилей настолько, насколько мы в силах... Беда в том, что русские вообще относятся к юбилеям спущенная рукава.

Поезжайте в любую сторону сильно урезанной современной Руси! Человека, не помнящего, сколько ему лет, вы встретите в любом городе, в любой деревне. Спросишь: «Бабушка, сколько тебе лет?» — «А Бог знает», — скажет она, носом пошмыгает и начнет вспоминать, кто крестил да какая шла война, кто из родных сам пришел домой, а кого привезли, а кто так там и остался. Отец, муж или брат родной тотчас встревожат старухе чуткую, даже острую память, но сколько ей самой лет, она так и не вспомнит. Все ее круглые даты, то бишь личные юбилеи, пролетали мимо нее. Пословица «счастливые часов не наблюдают» произошла очевидно от этого свойства простонародного быта, но сказать, что старуха прожила счастливую жизнь, было б явной натяжкой. Да и что значит «счастливая» жизнь? Сие тоже еще неизвестно... Равнодушие православного человека к своему возрасту непонятно для русских атеистов из «культурной», интеллигентной среды, ежегодно отмечающих свои дни рождения. Иностранцы же, особенно те, что подобно Адольфу Кюстину, приезжают в Россию с неблагоприятными целями, считают такую «забывчивость» признаком «русского варварства». Другой Адольф оказался пострашней Кюстина. Пушкинскую «Капитанскую дочку» этот также вряд ли читал, а если и читал, то ничего в ней не понял. (Один Савельич растолковал бы фюреру о русском характере больше, чем Кант и Ницше вместе взятые.) Да что говорить про закордонных нищиеанцев, если и сами-то русские патриоты подзабыли Савельича, Петрушу Гринева, капитана Миронова! И студентам прославленных университетов, и думским говорунам, и академическим философам простодушно кажется, что все это они давно знают, проходили, дескать, еще в семилетней школе.

Само собой, наплевать бы нам подряд на всех адольфов, но вспомним, что и у «варваров» России, и у «цивилизованных» европейцев отсчет времени идет с Рождества Христова. Не знаю, как считают свои века буддисты, магометане, евреи, а христиане отсчитывают свои века именно так. Сказать иначе, с того момента, когда в пещере, среди домашних животных дева Мария рожден был Богочеловек. (Читай о веках у митрополита Иллариона в его «Слове», переложеном на нынешний язык Юрием Кузнецовым.)

Православный пастух (он же и хлебопашец) в трудовом годовом цикле ориентировался постами. Время именовалось неделями. Горожанин также мерил свою жизнь

неделями, вернее, промежутками между двенадцатыми праздниками. Каждый день в неделе озаглавлен был именами святых мучеников и страстотерпцев. Но поскольку в основании православной веры всегда лежала борьба с многочисленными страстями, то день рождения младенца и называется Днем Ангела. Иногда родители, не соглашаясь со святыми, выбирали ребеночку другое имя, и тогда день рождения не совпадал с Днем Ангела. Однако отмечали всегда не дни рождения, а именины. Имя святого, данное человеку во время крещения, свято читалось и сопровождало каждого до гробовой доски, уж таково наше русское «варварство»... До того ли было христианину — хлебопашцу и пастуху, чтобы праздновать свои круглые даты, считать, сколько прожито лет, отмечать свои юбилеи? Иное дело дни святых либо царствующих монархов.

Унаследовавшему крестьянское отношение к своему возрасту, мне всегда казалось, что празднование юбилеев — занятие суетное. Примерно так думалось и о писательских юбилеях. Ничего бывало не стоило пропустить, не заметить среди будней любую круглую дату, например, толстовскую или тютчевскую.

Только не пушкинскую!

Интерес к русским и зарубежным писателям у меня все время менялся. Так, еще в юности увлечение Салтыковым-Щедриным вдруг исчезло, сменилось полнейшим к нему равнодушием, если не сказать больше. Меняется этот интерес и сейчас, порою довольно резко и очень часто в худшую сторону. Подобная метаморфоза произошла в свое время с Маяковским. (Точнее, со мной.) Место, занимаемое Вл. Маяковским в моей душе, неожиданно занял Есенин. Впрочем, почему неожиданно? Просто после долгого замалчивания и шельмования, Сергея Есенина начали понемножку печатать и пускать на библиотечные полки. Тогда же примерно я расплевался с Беранже, Сельвинским, Багрицким и т. д. Но и к Есенину впоследствии я не то чтобы охладел, а как-то об него... в некоторых местах подзапнулся. С Блоком, Достоевским и Тютчевым вышло как раз наоборот.

В чем причина такого непостоянства?

В детстве смена симпатий зависела от книжного и хлебного голода, от потухшей вечерней лампы, от утреннего угара в зимней избе. Иными словами, от случайностей. Мои сверстники научились, положим, читать и при лучине, если она была березовая. (Соседский мой тезка

Вася Дворцов потерял из-за этого зрение.) Но мы страдали больше не от лучинного едкого дыма, страдали больше от того, что книг вокруг не было столько, сколько хотелось. Добывались они подчас вполне детективными способами. То, что попадалось, то немедленно и поглощалось, независимо от угара в избе. Читалось все, вплоть до родословной колхозных быков-производителей или сельповского прейскуранта. Злополучная история с радишевским «Путешествием» где-то уже рассказана мною, пушкинская статья подтвердила мое детское мнение об этом писателе, и я начал тщеславиться, задрал нос, но Пушкин же меня и одернул позднее:

Зачем же так неблагосклонно
Вы отзываетесь о нем?
За то ль, что мы неугомно
Хлопочем, судим обо всем,
Что пылких душ неосторожность...

т. д.

«Евгений Онегин»

Непостоянство объяснялось не только случайностями южной жизни, принадлежащими детству. В ранней юности читательские интересы менялись уже не столько от все большей свободы книжного выбора, сколько от стихийно крепнувших эстетических устремлений. Одно другому, кстати, не мешало, а как раз друг дружке содействовало, так и просится на язык не русское слово «корреляция».

Одних писателей я уже крепко любил, других так себе, но и любимых авторов, как ветреная дамочка, мог разлюбить в любую минуту. Третьи вовсе не трогали моего сердца и лишь значительно позже становились полновластными его хозяевами. В шестом классе я мог порвать с некоторыми «захватчиками», зарождалось качественно иное чтение — критическое.

С такой возможностью и читались уже все последующие книги. Больше того, началось сопротивление каждому автору. Внутренне, неосознанно, оно ощущалось и до того, то есть в начальной школе. Теперь это сопротивление стало уже осознанным. Виновниками такой перемены оказались многие персонажи, вроде жаровского гармониста (как его? Тимошка, что ли?), горьковского Челкаша.

Маяковский чистил себя «под Лениным». Странный, впрочем, способ интеллектуальной гигиены! Подмял он, Маяковский, меня под себя основательно еще в детстве,

и я с трудом выбирался из-под такого верзилы. Подсобил в этом никто иной, как А. С. Пушкин.

В зрелые (солдатские) годы я был свободным от всех авторов, от всех писателей, даже весьма талантливых. По крайней мере, так мне казалось, что свободным. Померк тогда аж сам Горький. Приходили и уходили Некрасов, Толстой, Лермонтов, Достоевский. Один Пушкин был бессменным постояльцем в моей душе, «оккупантом» моего сердца и головы! Одному ему я почти никогда не сопротивлялся! Он был как воздух или питьевая вода, без которых не проживешь. Сопротивляться Пушкину? Затея вообще дикая, бессмысленная, она не приходила даже в голову. Лишь Александру Сергеевичу я стал вечным рабом, он как Бог владел мною еще тогда, когда меня не существовало на свете!

...Уже несколько лет прошло, как умерла Анфиса Ивановна, а мне все еще кажется, что матушка жива, что с нею мы просто в разлуке, что я от нее уехал и живу в другом городе. Стоит лишь сесть в поезд и приехать к ней, мы с ней опять и поплачем и посмеемся. То же ощущение с Пушкиным, как будто он живет во плоти и можно позвонить ему в любой день, как звоню я друзьям в Краснодар либо в Иркутск...

«Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков», — сказано о герое «Пиковой дамы». Когда-то я боялся и не любил эту повесть... Теперь все воспринимается по-иному. Четкая мысль о рабстве, ненавистная для атеиста (а в этом ранге я прожил половину своих шестидесяти), родилась только теперь, то есть задним числом. И я, не стыдясь, говорю о таком божественном рабстве. Не без помощи Пушкина отделил я и понятие веры от знания!

Человек мыслящий еще не значит, что он уже верующий, веру невозможно проверить мыслью, она, вера, выше мысли и чувства вместе взятых, она ничем не может быть объяснима. Рациональному уму делать тут совсем нечего... Говоря грубо и коротко, с помощью Пушкина я медленно выкарабкивался из-под марксистской тяжести.

* * *

Еще не читана «Капитанская дочка», не говоря про «Евгения Онегина», а «Гавриилиада» уже побывала в моих руках. Заботливо подsunутая Луначарским мальчику-мечтателю, она разумеется сделала свое черное дело. Как это

получилось? Для чего? Далее надвинулась на подростка небезызвестная Ниловна, начали морочить голову смутные сны Веры Павловны. В армейские, самые плодотворные годы, осенила меня злощевая тень Писарева. Наконец явился сам Евтушенко...

Рапповские университеты и заклинания диссидентских писателей, увы, не подсобляли жить нашему поколению. Мы двигались во многом наощупь, лишь сердцем чуя, где свое, где чужое. Интернациональные кандалы не давали ступить шагу, чужебесие ядовитым туманом висело над всеми нами.

Что бы мы делали без Александра Сергеевича!

Подражая Николаю Второму, простившему Пушкину «Гавриилиаду», забудем и мы его юношеский атеизм. Пыл карбонария он умерил в себе сам, без чьей-либо помощи, не предав при этом ни идеалов свободы, ни погрязших в масонстве друзей-декабристов:

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.

Не странно ли, что с годами, с выбором чтения, в том числе и пушкинского, я постепенно превращался в идеалиста? Жаль, что не произошло этого раньше... Если же говорить о свободе, то зададимся хотя бы таким вопросом: кто более свободен, идеалист или материалист? Можно было и не освобождаться из жестких объятий безбожной догмы, которую называли свободой наши менторы. Можно было кое-что делать и будучи скованным истматом и диаматом. Не думать ни о смерти, ни о бесконечности мира. Можно было бы даже кое-что делать, считая себя творцом, сочинять и тешить себя, как тот пушкинский чижик:

Забыв и рошу и свободу,
Невольный чижик надо мной
Зерно клюет и брызжет воду,
И песнью тешится живой.

В этом стихотворении про несвободного чижика всего четыре строки...

Разумеется, в детстве, и даже в юности, нашему поколению Лев Тихомиров с Иваном Шмелевым не попадались. Попадался и довольно часто «Мистер-твистер» либо какой-нибудь «Мойдодыр», либо «Тянитолкай». Хорошо, что у Лукоморья вокруг мощного дуба бродил уже по цепи

кругом ученый кот. Думал я, дивился, какой же большой этот ученый кот, если ходит по цепи. Рисовал я его на газетных полях, потому что тетради себе мы сшивали из газет. Следы невиданных зверей, белку с орехами я дорисовывал в своем сердце, забывая, что все это Пушкин... И тридцать прекрасных витязей уже выходили чредой из моря, и плескалась уже в этом море золотая рыбка, и мальчишка уже возил свою Жучку в салазках, и гусь на красных лапках ступал «на лед, пытаясь плыть по лону вод». Пушкин бесстрашно боролся в моей душе с чуковскими всех мастей. И, разумеется, побеждал.

В детстве испытывал я необъяснимую, неосознанную обиду за умершего от раны Александра Сергеевича. В юности эта обида была осмыслена через стихотворение Лермонтова. Как ни странно, мы даже учили эти стихи наизусть. Традиции русского просвещения были еще не совсем загублены, хотя горечь и гнев против убийц Пушкина враги России искусно направили против царя и «толоконного поповского лба» — русский народ был облапошен. Оказалось позднее, что и царь был облапошен. Иначе почему Николай Первый терпел около себя таких мерзавцев, как Нессельроде? Ведь этого проходимца государь сделал аж государственным канцлером.

В седьмом классе, помнится, учили мы наизусть стихотворение «Песнь о вешем Олеге». Тяжеловесная славянская лексика не мешала детскому восприятию. Однажды мой одноклассник Евсташа Ларионов на большой перемене вбегает в класс и торжественно заявляет: уроков больше не будет. А веселый Коля Задумкин ехидно произносит: «Ох, Ларионов, презреть бы твое предсказание». Евсташку голод и холод, пережитые в детстве, давно загнали в могилу, а Коля Задумкин жив, но ознобленный чернобыльской пургой, мается от радиации где-то на чужбине.

Иногда при случайном чтении стихи Майкова, Баратынского, Фета, Тютчева мы восторженно приписывали Пушкину и даже слегка разочаровывались, когда узнавали об истинных авторах. Так велико было «магнитное поле» вокруг Пушкина! Он, и будучи в могиле Святогорского монастыря, созидал русскую поэзию. Сколько народу эхом отозвалось на его краткую жизнь, ослепительно вспыхнувшую во имя России, звучащую по сие время в иных глаголах!

Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,

Поет ли дева за холмом —
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.
Ты внемлешь грохоту громов
И гласу бури и валов
И крику сельских пастухов —
И шлешь ответ;
Тебе ж нет отзыва...

Нет, Александр Сергеевич, отзыв был, и он никогда не исчезнет...

За Пушкина и сейчас обидно чуть не до слез... Кто провоцировал его на дуэль? Наука не спешит с выяснением. Почему петербургская знать не оценила Пушкина при жизни? Отчего и Вересаев, и Щеголев сочинили не очень чистоплотные книги? Зачем брат Чайковского сам придумал стихи для оперного либретто? Слово в «Евгении Онегине» мало было нужных строк... Теперь широкая публика судит о романе по стихам либреттиста, а не по самому Пушкину. Не такой уж и безобидный этот эпизод в истории нашей культуры. Ведь Александр Сергеевич говорил иначе, чем поется в опере:

Любви все возрасты покорны;
Но юным девственным сердцам
Ее порывы благотворны
Как бури вешние полям;
В дожде страстей они свежеют
И обновляются, и зреют,
И жизнь могущая дает
И пышный цвет, и сладкий плод.
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвый след:
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.

Согласитесь, что это нечто иное, нежели то, что звучит в арии Гремина. Гениальная музыка Чайковского, конечно, созвучна гению Пушкина, однако либретто делает ему дурную услугу.

Миллионам русских и зарубежных меломанов не мешало бы знать наизусть двадцать девятую главу «Евгения Онегина».

Но и при жизни вспыльчивый поэт часто молчал, ког-

да испытывал сердечные раны, наносимые друзьями и родственниками. Он умел прощать даже дальних недоброжелателей, если те подавали хоть малую надежду поумнеть.

Рапповские критики чекистскими способами делали из него ярого атеиста, он же тихо, постепенно внедрял в наши сердца религиозное чувство. Быть может, такими стихами, как строки про двух ангелов, он формировал и собственный нравственный облик? Кто знает... Во всяком случае он и по сей день влияет на нас в этом смысле. Для меня, например, он сам был и лицеем, и университетом. Происходило это незаметно, без всякого напряжения, без обоюдных усилий, нежно и ненавязчиво.

Как это свойственно одному ему: с друзьями он порывист, восторжен («Уже двенадцать часов, а мы ни по рюмочке!»), с женой нежен и откровенен. С царем он так же искренен, как с младшим братом. К любовнице он снисходителен, как снисходителен к не шибко умному вельможе и к не очень удачливому стихотворцу. Пушкин буквально во всем легко находит золотое сечение, верный тон и безошибочное суждение.

Со всеми он говорил достойно и честно: с друзьями, с врагами, с женщинами, с архиереями, с царями и полководцами.

«Какая же ты дура, ангел мой!» — говорил он жене в своем письме, отнюдь не предполагая, что потомки, спасая жандармские традиции, будут читать его семейную переписку.

А какое многообразие психических, даже физиологических состояний! Политические, бытовые, религиозные, философские проявления жизни — и все это пронизано поэзией, умом, чувством. В горячке он стреляется даже с друзьями, с царем говорит правду в глаза, при выяснении обстоятельств великодушно отказывается от дуэлей.

Честь и достоинство, горячность и вспыльчивость так странно уживаются в нем с благородным молчанием при бестактных выпадах недоброжелателей и недоброжелательниц. Не стеснялся он извиниться, когда обижал ненароком своих знакомых. Свойство во что бы то ни стало при любых обстоятельствах быть справедливым не присуще людям средним, хотя и талантливым, один Пушкин обладал этим свойством.

Был однако и для него предел благородной сдержанности: преднамеренных оскорблений он не терпит и презирает доносчиков:

Не то беда, что ты поляк:
Костюшко лях, Мицкевич лях!
Пожалуй, будь себе татарин, —
И тут не вижу я стыда;
Будь жид — и это не беда;
Беда, что ты Видок Фиглярин.

Как легко, как свободно ложился Пушкин в целомудренную, ничем не оскверненную детскую память:

Что ты ржешь, мой конь ретивый,
Что ты шею опустил,
Не потряхиваешь гривой,
Не грызешь своих удиц?

Или: «Сiju за решеткой в темнице сырой».

Или: «Подруга дней моих суровых».

Или: «Сквозь волнистые туманы пробирается луна».

Помню, очень было обидно, если оставляли после уроков. (Надо было топать домой семь километров по бездорожью.) А тут загнали однажды всю школу в один класс, и учительница по литературе Людмила Александровна Перьева начала вслух читать повесть Пушкина «Выстрел». Самые нетерпеливые, самые голодные озоники затихли и надолго перестали ёрзать. Это было нечто иное, чем «Прощай немытая Россия». Как позже выяснилось из статьи Владимира Бушина написана «эта Россия» не Лермонтовым, а неизвестно кем. Автографа во всяком случае не существует.

Меткие «выстрелы» делал Александр Сергеевич, ничего не скажешь! Голодные пятиклассники сидели, как взоруженные. В повести «Выстрел» и всего-то страниц двенадцать. «Рославлев» тоже не больше, а в «Капитанской дочке» — сколько страниц, господа современные критики? Но как прекрасны и точны пушкинские сюжеты, как возвышены чувства, как чист и целомудрен язык! Вот бы так и нынешним писателям...

Целомудрие Александра Сергеевича вообще изумительно, духовная гармония соблюдена даже в самых трагических («пир во время чумы»), иногда и не очень симпатичных сюжетах (как в «Дон Жуане» или в «Скупом рыцаре»).

Даже путевые очерки читаются с захватывающим азартом. Откроем «Путешествие в Арзрум», там южный воздух «кипит» и нравы вооруженных горцев тоже кипят, как в наши дни. Пушкин замечает: «Недавно поймали мирного

черкеса, выстрелившего в солдата. Он оправдывался тем, что ружье его слишком долго было заряжено».

У Пушкина ничего нет лишнего и ничего неуместного, даже в незавершенных рукописях. Всеядным его тоже нельзя назвать, он был разборчив и строг, он безжалостно выбрасывал не только абзацы, но иногда множество страниц, чтобы соблюсти композицию или не дать лишнего повода для зубоскальства неумных и злобных критиков.

Старуха в «Сказке о золотой рыбке», пожелавшая стать папой римским, ограничилась «морскою владычицей» — этот кусок с папой Пушкиным выброшен. Из «Путешествия в Арзрум» автор без сожаления убрал великолепную сцену встречи солдат-земляков. Одни казаки, служившие три года, возвращались домой с Кавказа, другие туда направлялись. Увидав эту встречу, Пушкин интересуется семейными новостями, сочувствует тем, кому жена изменила:

«— Каких лет у вас женят? — спросил я.

— Да лет четырнадцати, — отвечал урядник.

— Слишком рано, муж не сладит с женою.

— Свекор, если добр, так поможет. Вон у нас старик Суслов женил сына да и сделал себе внука».

Кто из современных прозаиков смог бы пожертвовать подобной сценой в рассказе или простом очерке?

Укажите хотя б одного, и я тогда соглашусь, что русская литература еще не совсем опозорилась.

Число пушкинских лицеистов выросло в наше время до грандиозных размеров...

Не институт на Тверском бульваре, а Пушкин выталкивал на писательскую стезю, один он удерживал многих на этой скользкой дорожке. Только все ли мы и денно и ночью помним его бессмертный завет:

Веленью божию, о муза, будь послушна.
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца.

Он же, А. С. Пушкин, божественными но в то же время и земными словами будил сонное сердце во дни унылого малодушия. Не устами ли Пушкина самим Творцом велено каждому, владеющему умом и природным даром?

Встань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей

И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

Притча о зарытом в землю таланте особенно целебна для русских, склонных из самоуничтожения оправдывать собственное бездействие. Не удержусь от скучной сентенции: именно такая жизнь очень скоро становится жизнью ленивой, и тогда вдохновение свыше не слетает ни к прозаику, ни к поэту. А что такое это самое божественное вдохновение? Пушкин тоже, видимо, грыз гусиные перья, но как никто другой изведаль это высокое состояние души.

А. К. Толстой говаривал, что вдохновение является на зыбкой грани яви и сна, в полусне:

Лови ж сей миг, пока к нему ты чуток,
Меж сном и бдением краток промежутков.

А. С. Пушкин сказал бы о вдохновении совсем по-другому, он связывал это состояние с призывом небес:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон...

Вероятно, один Федор Тютчев был самым лучшим охранителем треножника, «в детской резвости» колеблемого толпой.

Как только ни пытались погасить этот треножник, этот чистый и спасительный жертвенник! Коптящий, едкий дым рационалистического прогресса затмил знаменитую оду Гаврилы Державина. Пушкин возродил и обвешивал державинскую стезю, но уже моему поколению пришлось зубрить «Эстетические отношения» Чернышевского. Больше на стеллаже никого не было: ни Достоевского, ни Леонтьева, ни Ивана Ильина.

Русская эстетика, повергнутая ниц еще в XIX веке, возрождалась медленно, туго. Хорошо, что хоть как-то она сохранилась. Л. А. Тихомиров в статье памяти Говорухи-Отрока о возрождении подлинной, то есть эстетической критики писал: «Мерило прекрасного есть вечное... Только ощущая в себе голос «вечного», он (художник. — В. Б.) творит художественное... Ни красота, ни правда не умирают, и только то есть красота и правда, что не умирает. Собственно говоря, и красота, и правда, и жизнь — разные названия одного и того же явления, которое в свою очередь, есть не что иное, как проявление Божества».

Но либералы и прогрессисты и сто лет назад не могли допустить, чтобы русская молодежь читала и перечитывала вслед за Чернышевским Льва Тихомирова. Был, правда, и Лев Толстой, все равно тогдашнее русское общество заражено было проказой чужебесия, которую так презирал А. С. Пушкин. Эстетическими законодателями в русском обществе были и при Тихомирове такие западные писатели, как, например, Эрнест Ренан, который в предисловии к своей трагедии писал: «Не претендуя создавать художественную драму, я хотел только создать нечто в роде драмы. Форма драмы — самая лучшая в литературе».

Можно представить, что сказал бы Пушкин о таком драматурге, примеряющем лавровый венок Шекспира!

А что бы сказал А. С. Пушкин в связи с неумной шумихой, поднятой по поводу слова жид и генерала Макашова? Поэт пользовался этим словом как в стихах так и в прозе подобно Гоголю, Лермонтову и другим классикам. Какова разница между словами жид и еврей? Не грозит ли и слову еврей та же участь, что и слову жид, которое превратилось почему-то в ругательство?

Архип Лысый — доморощенный поэт из «Села Горюхина» мог писать стихи не только правой, но и левой рукой. Подобно Архипу, Пушкин мог бы, вероятно, и левой ногой написать убийственную эпиграмму на кого угодно, хоть на царя, хоть на жида. Даже мата он не боялся (прочтите вторую строфу из «Телеги жизни», если возникнет сомнение). История же Горюхина это история России в нынешних обстоятельствах. Сначала «мрачная туча висела над Горюхиным, а никто об ней и не помышлял». Но вот «въехала в село плетеная крытая бричка, заложенная парюю кляч едва живых; на козлах сидел оборванный жид...»

Далее описывается правление нового приказчика. Приезжий рассуждал так: «Чем мужик богаче, тем избалованнее, чем беднее, тем смиреннее». «Он потребовал опись крестьянам, разделил их на богачей и бедняков...» «Мирские сходки были уничтожены... Сверх того, завел он нечаянные сборы...» «В три года Горюхино совершенно обнищало... Горюхино приуныло, базар запустел... Ребятишки пошли по миру». Чем не ельцинская перестройка?

Перечитайте «Историю Горюхина» и сами увидите... А как таинственна замысловатая птица, начертанная гениальным пером в рукописи вместо заставки! Петух или коршун? Похожа ли она на самоуверенного стервятника, решай сам читатель.

«Горюхино» не было закончено. Рукопись с заставкой

опубликована после гибели Пушкина. Сюжет с историей горюхинского села чисто русский, и завершен он, я думаю, ни кем иным, как Н. А. Некрасовым в поэме «Кому на Руси жить хорошо» в главе о Савелии — богатыре савторусском, который

«...в яму немца Фогеля
Живого закопал...»

Для всех, чувствующих Россию и не поверхностно владеющих языком нашим, Пушкин многолик и неподражаем. Необходим он и для самых малых деток («Белка песенки поет да орешки все грызет»), и для самых старых и мудрых («В степи мирской»), для больных («Я ускользнул от Эскулапа»), для впервые влюбленных девиц («Ты вянешь и молчишь»), для ловеласов («Дриаде»). Незаменим Пушкин для солдат и спортсменов, для студентов и генералов, для депутатов и бандитов, для цыган и банкиров... Нет в мире сословия или ранга, которых он не коснулся бы и не увековечил. Даже гадалки и ведьмы присутствуют в его прозе и поэзии и попробуй их выкинь их пушкинских страниц. Не выкидываются!

За что ни возьмись у Пушкина — все ясно и чисто, хоть сказка, хоть стихи о любви, хоть историческое раздумье...

Не будем сейчас вспоминать его статьи, письма, записи, оставим пока в покое такое произведение, как почти публицистическое гневное обращение к клеветникам России. А «Свободы сеятель пустынный» или «Дар напрасный, дар случайный»? Каждая строчка из подобных пушкинских сочинений взывает к нашему сердцу, к медленным размышлениям. Но зачем отнимать последний хлеб у записных критиков, литературоведов, историков? Нескладная моя статья лишь малая дань великому российскому юбилею...

ГРИМАСЫ ДВУЛИКОГО ЯНУСА

И совсем не случайно к январю, первому месяцу года, прилепилось его бессмертное имечко. Увы, увы, как говорится... Двуликий Янус олицетворял у древних концы и начала. Входы и выходы. Войну и мир. Прошло и будущее. Как видим, все и вся, но обязательно в паре противоположных понятий. (По-видимому римляне были намного ближе к Гегелю, чем нам представляется.)

Обзывая научно-технический прогресс Двуликим Янусом, можно ли избежать той опасности, что тебя самого тотчас не обзовут либо ретроградом, либо мизантропом, либо еще как-нибудь? Очень трудно избежать этой опасности, хотя двуликость научно-технического прогресса очевидна. Человечество настолько заморожено этим научно-техническим прогрессом, настолько оно забыло о прогрессе нравственном, что исчезает, как мне кажется, и само понятие прогресса.

Христианство не зря связывает двуличие с дьяволом. Здесь речь о нравственном двуличии. Математические же и кибернетические свойства пары, плюса и минуса, сочетания и взаимодействия этих пар позволили создать грандиозные компьютеры, способные моделировать самих себя, а заодно и нас с вами. И еще не известно чего в этом больше, хорошего или плохого. Да и как не вспомнить тут апостола Иоанна, его откровение, восемнадцатый стих из главы тринадцатой?

Говорить о взаимоотношениях научно-технического прогресса и христианской (православной) нравственности я могу только с глубочайшим пессимизмом. Оба эти явления представляются мне антагонистами. Симбиоз научно-технического прогресса и христианской (православной) нравственности, на мой взгляд, невозможен.

Не знаю, что думает и чувствует православный глубоко чувствующий патриарх, садясь в «Боинг», чтобы за несколько часов преодолеть расстояние в половину земного шара. Но я знаю примерно, как мыслит сидящий рядом с ним академик-атеист, изобретающий компьютерные системы. Этот наверняка горд за свои детища, он в восторге

от успехов научно-технического прогресса, он смело глядит в будущее человечества и убежден, что останавливать научно-технический прогресс настолько же вредно, насколько и невозможно. Мировоззренческая пропасть, зияющая между верующим и атеистом, по-моему, непреодолима. Их понимание человеческого счастья, смысла и цели жизни — несовместимы и взаимно уничтожаются. Мне думается, что свобода выбора, данная Творцом, до сих пор не осознана человечеством. Люди стихийно, помладенчески наивно избрали легкий, приятный, однако гибельный путь научно-технического прогресса. Чем же был обусловлен этот выбор, ведущий к апокалипсису? Мне кажется, всего лишь одним: стремлением к ничем не ограниченному комфорту. Люди оправдывают такое стремление стремлением к счастью. Но тут сам собой встает новый вопрос: что же такое счастье?

К. Маркс как-то сказал, что счастье в борьбе. С кем и с чем он боролся и как он это делал, понятно теперь многим, хотя и не всем. А друг Маркса Энгельс кликушествовал еще в прошлом веке совершенно в духе фюрера и нынешних демократов, пропагандирующих жандармские свойства НАТО. Вот что он писал когда-то:

«Всеобщая война, которая разразится, раздробит славянский союз и уничтожит эти мелкие тупоголовые национальности вплоть до их имени включительно.

Да, ближайшая всемирная война сотрет с лица земли не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы, и это также будет прогрессом.

...Мы знаем теперь, где сосредоточены враги революции: в России и в славянских землях Австрии... Мы знаем, что нам делать: истребительная война и безудержный террор».

«Славянские земли Австрии» понимались Энгельсом как земли нынешней Югославии... Но Европа, к счастью, знаменита не одними марксистами.

Великий Паскаль, размышляя о счастье, делит людей на три группы. Он говорит: «Одни обрели Бога и служат Ему, эти люди разумны и счастливы. Другие не обрели Бога, но ищут Его, они разумны, но еще несчастны. Третьи не ищут Бога вообще, они безумны и несчастливы». Таким образом, Паскаль отождествляет человеческий разум с верою в Бога и ставит счастье человека в зависимость от веры и разума. Он не говорит о количественном соотношении этих групп, но это нам и так ясно. Ясно, что число людей первой группы ничтожно мало по срав-

нению с количеством людей в двух последующих группах. Разумеется, понятия о счастье у трех этих групп совершенно не схожи. Отношение к комфорту, исходя из этого понимания, тоже разное. Интересно, что люди третьей паскалевской группы зачастую считают несчастными людей первой группы, злятся на них, всячески пытаются «вразумить», переташить их в свою наиболее многочисленную компанию.

Давно и безуспешно пытаются некоторые философы говорить о пользе, необходимости и красоте физического труда, но почти никто их не слушает. Человечество словно бы задалось целью механизировать, автоматизировать да и вообще ликвидировать мускульные усилия. Комфорт и удобство стали главным критерием благополучия... Между тем физический труд (не путать с физкультурой и спортом) — одно из главных условий выживаемости человека. Да и нарастания общественного эстетического и материального богатства вряд ли возможно без такого условия. Труд, каким бы он ни был тяжелым или грязным, всегда духовная категория. Легенда о сизифовом камне лишь подтверждает эту духовность.

Чтобы поверить в эту в общем-то банальную истину вовсе не обязательно вспоминать православных святых, исихастов, подвижников Фаваиды и Афонской горы. Мне к примеру достаточно представить жизнь моей бабушки Александры Фоминишны или одного из моих прадедов — Михайлы Григорьевича Коклюшкина. Обоих явственно помню и осмелюсь сказать о красоте тяжелого и грязного труда. (Например, летняя вывозка навоза.) Эстетическая сторона этой работы конечно же недоступна современному прогрессисту, доверяющему своему носу больше, чем нравственному чутью. Ему не понять, как отраднo, как счастливо чувствует себя отдыхающий после такого труда крестьянин (христианин). Когда весь навоз (говорилось — назем) перекочевывал из деревни в поле, когда в хлеву стало на полсажены просторней и можно затопить субботнюю баню.

Зимой даже у самой бедной избы снег был раскидан и подметен. Граф Лев Николаевич Толстой тоже сам раскидывал снег в Хамовниках. Но вот в нынешней Москве или Оттаве лопату взять не побоятся одни дворники, да и то не все. Зато во множестве пишутся и публикуются статьи о биоритмах, о биоцикличности, защищаются целые диссертации о режимах сна и питания. Медики поголовно твердят о пользе водных процедур и произвольных телo-

движений, то есть физкультуры, призывают ложиться и вставать в одно и то же время, убеждают в том, как полезно человеку не только ходить пешком, но и бегать. И все это преподносится как только что научно открытое и прогрессивное.

Но моему прадеду вовсе не требовалось выписывать журнал «Здоровье», чтобы ежедневно зимой расчищать снег и каждую субботу ходить в баню. И если я добавлю к этому, что Михайло Григорьевич всю жизнь пил после бани ни что иное как хлебный квас и прожил весьма долгую жизнь, то не рискую ли тотчас прослыть приверженцем так называемого квасного патриотизма? Едва начнешь говорить правду о крестьянском быте, как многие начинают ерзать на стульях, беспокоиться и выискивать в словарях синонимы к слову патриархальщина. «Ату его! — кричат идеологические и технические прогрессисты. — Он же идеализирует прошлое!»

Нельзя сказать, что православным сознанием запрещалось стремление к облегчению тяжелого труда, стремление к удобствам. Русский крестьянин, во-первых, никогда не хватался за непосильную ношу. Во-вторых, не отрицал он и многочисленных способов облегчения, применяя смекалку и традиционные навыки. Не брезговал он и удобствами быта, если они не противоречили христианской нравственности. При этом сельский труженик, понятия не имея о юридических законах по экологии, весьма бережно относился к природной среде. Он считал также великим грехом добиваться жизненных удобств не за счет собственного труда, а за счет труда соседа. Ближний или дальний сосед — это не имело значения. (Вспомним, что думают идеологи т. н. «золотого миллиарда».) Ясно, что православное отношение к комфорту отличается, например, от протестантского. Разница тут принципиальная. И хотя говорить на эту тему с людьми третьей паскалевской группы почти безнадежное дело, рискну процитировать высказывание Клода Бернара. Он утверждал: «Как бы далеко ни ушла опытная наука, как бы ни велики были ее успехи и открытия, но она не в состоянии, не переступая собственных границ, ответить о первичной причине всего, о происхождении материи и жизни и о конечной судьбе вселенной и человека».

Может ли опытная наука, не переступив собственные границы, признать свое бессилие, осознать безнравственность безудержного комфорта и опасность научно-технического прогресса, который так стремительно истощает

естественные возможности планеты? Сомневаюсь. Ученые, инженеры, экспериментаторы из третьей паскалевской группы каяться не приучены. О таких ученых как Паскаль они стараются помалкивать. О ненасытных потребностях и научных замашках т. н. «Золотого миллиарда» СМИ тоже говорят либо сквозь зубы, либо совсем ничего.

Недавно по счастливой случайности попала мне в руки книга архиепископа Никона, бывшего когда-то епископом Вологодским и Тотемским. Она называется «Православие и грядущие судьбы России», составлена священнослужителем и писателем Ярославом Шиповым. В одной из статей подробно комментируется труд англичанина Табрума «Религиозные верования современных ученых». Табрум приводит множество высказываний о том, что наука вовсе не противоречит священному писанию, а священное писание только помогает науке. Как говорят, дай-то бы Бог, но покамест подобные мысли не в чести.

Меня могут спросить, а виноват ли научно-технический прогресс, что забегают вперед, что он всегда впереди нравственного совершенствования? И я скажу. Да, виноват. Люди впадают в жестокий самообман, ставя телегу впереди лошади.

Тот, кто захочет полемизировать с такой посылкой, пусть прочтет мои книги «Раздумья на Родине» и «Внемли себе», так как повторяться занятие малоприятное. Эпиграфом к своей статье «Ремесло отчуждения» («Новый Мир», № 6, 1988) я уже приводил слова Н. Федорова: «Эксплуатация, истощение, утилизация вынуждают задаться вопросом: ради чего, на какую потребу тратятся многовековые запасы Земли? И оказывается, что все это нужно для производства игрушек и безделушек, для забавы и игры. Приходить от этого в негодование, конечно нельзя; нужно всегда помнить, что мы имеем дело с несовершеннолетними, хотя бы они и назывались профессорами, адвокатами и т. п.»

Ученые просто жаждут открывать тайны. Открывать просто так, в азарте чуть ли не спортивного интереса. Они говорят примерно так: «Если не я открою эту тайну, то все равно откроет кто-нибудь другой, помимо меня. Так уж лучше открою я». Спрашивается, все ли тайны разрешается открывать нравственным православным законом? Нет, не все.

Что же вы предлагаете, спросят меня прогрессисты, назад в пещеры? Вовсе нет. Все еще существует альтернатива. И человечеству, если оно хочет выжить, все же при-

дется хотя бы слегка попятиться. Не надейтесь, господа, блюстители «Золотого миллиарда», ни на африканскую саванну, ни на сибирскую тайгу или тундру с их минеральными и растительными запасами. Эти запасы если и не совсем исчерпаны промышленностью т. н. развитых стран, то хватит их все равно не надолго. Комфортабельные условия рано или поздно придется урезать, если homo sapiens рассчитывает жить в четвертом тысячелетии.

Всемирная урбанизация по своим глобальным масштабам явление ни с чем не сравнимое, грозное и по общепринятым понятиям тоже необратимое. Но Николай Федоров писал, что «В санитарном отношении города производят только гниль и затем почти не превращают ее в растительные продукты; следовательно, отдельное существование города должно давать перевес процессам гниения над процессами жизни... По мере увеличения городов вопросы санитарный и продовольственный будут принимать все более острую форму, становиться все жгучее и жгучее». Ах, только ли санитарный и продовольственный!

Мне представляется, что научно-технический прогресс идет рука об руку с глобальной урбанизацией и с глобальной милитаризацией, кои ведут человечество напрямую к всеобщей гибели.

Однако, есть ли в действительности альтернатива современному городу? На мой взгляд, она существует, но это тема для отдельного разговора...

Если говорить о политике, то, как мне кажется, перспективна в мире всего лишь одна партия — всемирная партия зеленых. (Имеется в виду не зеленое знамя пророка, а зеленое поле мирного хлебопашца.)

Я призываю пока лишь развеять три популярных мифа:

1. Миф о безальтернативности выбранного нами пути.
2. Миф о несовместимости науки и веры в Бога.
3. Миф о нравственном нейтралитете науки.

АРХИТЕКТУРА И ГОСУДАРСТВО

Помнят ли наши читатели межрегиональную депутатскую группу, наскоро слепленную из разношерстных предателей государства. Пестрая была публика. Как говорится, с бору по сосенке. Сварганили ее поповы и афанасьевы. В ней-то и выбродил, оброс плотным защитным панцирем главный разоритель великой страны. А уже около него сконцентрировались все главные московские плуты и жулики вроде Рыжова, посланного караулить разрушение страны в Париж. Горчаков, да и только! Сделали его не кем иным, как аж полномочным послом.

(Рыжов, как Яковлев, обученный в Канаде, быстренько выучился на средней руки архитектора перестройки. Где-то он нынче?)

Межрегионалы то и дело устраивали в Москве демократические тусовки... И зря, очень зря, «россиянские» подданные недооценили эту сперва жалкую группу! Они, межрегионалы, произвели на свет несчетное число маленьких крокодильчиков, стремительно выросших в зубастых безжалостных аллигаторов. Они-то и начали хватать все живое подряд, выползая на речные и океанские отмели государства, которое совсем не ими создавалось целое тысячелетие.

Тусовки начинающих демократов, возглавленные Поповым, Афанасьевым и еще безвластным Ельциным, проходили почему-то в Доме кино. Вот и в тот раз в этом безблагодатном «доме» собрались только что вылупившиеся архитекторы. Они приняли там так называемую хартию, призывающую бороться за власть. «Эффективное государственное устройство» — так называлась пятая статья этой хартии. Первый подпункт пятой статьи гласил: «Освобождение от культа государства, его верховенства в общественной жизни». Иными словами, долой государство во имя общественной жизни! Для будущих крокодилов важно было не государство, а всего лишь общественность.

Прикарманили демократы и само понятие общественности, словно в обществе никого и не было, кроме Попова, Афанасьева и Ельцина. Можно было тогда представить,

что получится, если они придут к власти, возьмут государственное кормило в свои цепкие лапы. Жалка была попытка ГКЧП предотвратить угрозу государству! Буквально через несколько недель «крокодильчики» захватили власть, чтобы разметать в стороны великое государство, которое создавалось не ими. И началась у нас, так сказать, общественная, а не государственная жизнь.

Вот какие архитекторы-перестройщики стремительно явились в Москве. Какую архитектуру в прямом и переносном смысле повлекли они за собой, это видно без оптики, даже без обычных очков, достаточно заглянуть на Манежную площадь... Боже праведный, чего тут не нагрождено! За одних звероподобных черетелиевских жеребцов (или кобыл?), воздвигнутых у входа в Манеж, надо сажать скульптора, а с ним и градоначальника в холодную!

А кроме дьяволоподобных истуканов на площади громоздятся нелепые полусферы, бетонные переходы, аляповатые барьеры, грозные парапеты. Торчат всюду всевозможные то ли штыри, то ли фонари, и все это наверху, а чего не наворочено еще и под землей! Поневоле припомнишь сдержанную простоту и просторный облик прежнего Манежа, олицетворявшего в соседстве с Кремлем всю столицу и все величие Российского государства...

Нельзя сказать, что горбачевско-ельцинская перестройка в архитектуре началась недавно, с Лужкова и с Черетели. Все началось намного раньше, когда в 20-х годах прошлого века по плану монументальной пропаганды начали по всей России взрывать национальные шедевры: храмы и целые монастыри. О начале такой всемирной перестройки до сих пор вопит мasonicкий обелиск, стоящий в Александровском саду вблизи царского грота. (Ни этот грот, ни обелиск не свидетельствуют о высоком архитектурном вкусе, но выстояли на перекрестках времен.)

Примечательны имена двадцати перестройщиков, запечатленные на обелиске. Эти люди и были, по тогдашним понятиям, архитекторами мировой истории. Попробуем пречислить их имена. Сверху начать или снизу? Лучше, вероятно, начать сверху. Читатель мысленно каждого оценит и прокомментирует тоже каждое имечко. Итак: Маркс, Энгельс, Либкнехт, Лассаль, Бебель, Кампанелла, Телье, Уиншлей, Мор, Сен-Симон, Вальяр, Фурье, Жорес, Прудон, Бакунин, Чернышевский, Лавров, Михайловский, Плеханов. Половина их давно забыта либо совсем неведома столичным жителям. (Некоторые, вроде Вальяра и Уиншлея, не попали даже в Большую совет-

скую энциклопедию.) Последняя пятерка имен пристегнута архитекторами, наверное, в угоду русским: кто бы иначе стал свергать со звонниц многопудовые колокола, вручную сверлить шурфы в могучих соборных стенах, чтобы закладывать динамит, кто бы стал крошить кувалдами колокола и кресты, жечь иконы и книги? Много предстояло труда! Не будут же все это делать кремлевские сидельцы вроде Свердлова или Бухарина! Кто отбирал имена этого «золотого» пятиалтынного? Бог весть... Обелиск, однако, стоит, как стоит на Поклонной горе и церетелиевская игла, а что нацеплено к этой игле, какой комар или иной какой дух поднебесный, никому неизвестно. Москвичи равнодушно ходят и ездят мимо.

Когда начиналась новейшая вакханалия перестройщиков, я, грешный, написал о Москве такое стихотворение. (Эпиграфом к этим стихам служил припев песни о Москве. Я пел ее когда-то в солдатском строю. Запевал, помню, строевую всегда сам старшина, brave фронтовик Кузнецов.) Как давно это было! А теперь? Теперь что?

Заросла ты, Москва, лебедой,
И тебя поделили по-братски
Атлантический холод ночной
И безжалостный зной азиатский.

Не боялась железных пантер,
У драконов не кланчила милость.
Отзовись, почему же теперь
Золотому тельцу поклонилась?

Все заставы сгорели дотла,
Караульщики пьяные глухи,
И святые твои купола
Облепили зловещие духи.

Притомясь в поднебесной игре,
Опускаются с воем и писком
В тишину на Поклонной горе,
В суету на холме Боровицком.

Днем и ночью по жилам антенн
Ядовитая влага струится...
Угодила в египетский плен
Золотая моя столица.

Вот что теперь... Но что же произошло с великим городом, с нашей чуть ли не девятисотлетней национальной святыней? Не все москвичи, но весьма многие глотают ядовитую влагу радио и телевидения, не все, но многие спокойно взирают на церетелиевскую иглу и на церетелиевских дьявольских лошадей, что бешено ржут у самых дверей Манежа, не все, но многие радуются грандиозному истукану, изображающему императора Петра Первого. А чему бы тут радоваться? Претенциозная, дорогостоящая, однако же абсолютно бездарная скульптура... Как жаль, что бронзовые ботфорты не загремят по столичным прешпектам! Уж царь-то Петр распинал бы по грязным канавам всех этих перестройщиков, всех архитекторов. Да и мэров, не жалеющих медных народных грошей. Не зря император в свое время написал собственноручно такой вот указ: «Дошло до нас, что недоросли отцов именитых в гишпанских штанах по Невскому шеголяют предерзко. Господину полицмейстеру указую впредь оных шеголей вылавливать и бить кнутом, пока от гишпанских штанов зело препохоабный вид не останется». В том же указе Петр не пожалел и нежного пола, со всей строгостью и прямо сказал, что вельможны дочери на ассамблеи являются «не зная политесу», в неположенных «робах» и т. д. Нет, непоздоровилось бы нынешней демократической публике, если б царь Петр, словно Пушкинский командор, прошелся по набережным столицы. Досталось бы и мэру, и полицмейстеру... Дабы должностные лица «не чинили мину под фортецию правды». Хоть и стриг безбожный царь бороды купцам и боярам, но государственным ворами и взяточниками потачки не делал. И в архитектуре разбирался, не чета нынешним церетелям. По словам Пушкина,

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник.

Умел он и на троне прочно сидеть, чего бы тут издеваться над этой мощной фигурой скульпторам-модернистам? Нет, им нейдет... Будем надеяться, что нейдет на свою голову по пословице «Кошка скребет на свой хребет». Но скажут: чем тебе не угодил церетелиевский Петр? Эвон, дескать, какая изящная статуя!

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо знать, что величина, грандиозность (также и предельная малость) сами по себе не могут быть эстетической категорией. Чтобы убедиться в этой простой истине, достаточно сравнить

какую-нибудь изящную сельскую часовенку с громадным Исаакиевским собором, что в том же Питере. И далее: почему маленький скромный храм Покрова Божией Матери на Нерли мы считаем архитектурным шедевром? Творения же, например, Гауди, даже по фотографиям, вызывают неприятное антихудожественное чувство. (Это незстетическое чувство могут вызвать не только творения человека, но и некоторые явления природы, например, те же нагромождения причудливых горных пород около одного монастыря под Барселоной. Но природе-то такие причуды простительны. А простительны ли человеку?) Сплошь да рядом бездарные скульпторы или архитекторы компенсируют недостаток таланта собственными причудами, всевозможными антиэстетическими вывертами.

Если уж и говорить о монументальности в ее чистом художественном виде, вспомним, что большинство зданий в Санкт-Петербурге не грандиозны, а всего 2—3-этажны. Их строители достигали монументальности не физической величиной, а художественными средствами. Не хочу я сравнивать сложившуюся архитектуру Москвы с питерской. О национальной Москве говаривал еще Михаил Юрьевич Лермонтов. Питер тоже продукт национального русского гения, но Москва более русский город.

Включилась она, бедняга, в горбачевскую перестройку, и захлестнула нашу столицу эклектика. Кладбищенская и дачная эстетика преобладает нынче по Москве. Неприятательные вкусы торговцев-мешочников, вкусы лабазников — иными словами, всевозможных челноков, биржевых игроков, спекулянтов, шатающихся по всему миру, — перемешали в кучу традиции, национальные пристрастия народов и государств. Перемешались в том числе архитектурные стили, как раз по Лермонтову:

...все промелькнули перед нами,
Все побывали тут!

Нет, у простого народа, у народа-труженика, вкус всегда был вернее и безошибочнее. Какой народ, какую нацию ни шевельни, это везде чувствуется. Да, каждое государство, каждый народ еще и сейчас имеет свой архитектурный стиль, будь то храмовые строения или бытовые, хозяйственные, будь это в деревне или в городе. Даже самый малый народ создал и стремится хранить свой строительный метод, свой художественный облик.

Но на эту тему мы поговорим в другой раз...

АКЦИЗ

Перестроечная действительность, увы, не поддается пока ни религиозному, ни художественному, ни научному постижению. Впрочем, ежели привлечь для такого дела науку, то лучшей отрасли чем лингвистика, на мой взгляд, просто не существует. «Двоевластию надо ложить конец!» — говорит по радио стремящийся в президенты вице-премьер...

Во время политической линьки государственные мужи меняют обычно не одну внешнюю окраску, но и свое название. Секретарь к примеру становится президентом, для чего заимствует за бугром и слова, и рубли, пардон, всякие гульдены. Иначе откуда бы знал православный народ такие словечки как мэр или спикер? Я уже не говорю про ваучер. Есть такая закономерность. Запустило правительство очередное иностранное словечко, жди и очередную беду...

На сей раз мелькнуло французское слово акциз. Правда, оно прилепилось к России еще во времена Витте, но никто кроме парламентских и кабацких сидельцев и поныне не знает толком, что оно означает. Зато обществу хорошо известно, куда уходят потные, только что заработанные и тотчас пропитые рубли. Одним дуракам не ясно, куда они идут. Ведь и при Брежневе и при Горбачеве правительство принимало пьяный бюджет...

Был в крестьянской среде такой обычай. На празднике неспокойного гостя, порывающегося бузить, либо пеленали, словно младенца (связывали полотенцами), либо старались так напоить, что бы он поскорее уснул как младенец. И в том и в другом случае заталкивали куда-нибудь за печку или под лавку.

И железные сталинские большевики, и нынешние мягкотелые демократы, чтобы усидеть на шее народной, превосходно освоили оба упомянутых способа.

В незлобивой, весьма добродушной памяти русского народа, М. С. Горбачев конечно же останется как жалкий хвостун и предатель. Но среди разбуженных Горбачевым бед и несчастий, среди его многочисленных и гнусных

затей было и одно доброе дело. (Думаю, что он сделал его под давлением обстоятельств, отнюдь не по внутреннему убеждению). Речь идет о знаменитом антиалкогольном указе от 15 мая 1985 года.

Представляю, как при чтении этих строк поплывут дьявольские ухмылки по лицам многих даже дружественных читателей. «Ишь, скажут, о чем вспомнил! Разве не известно тебе, чем обернулась вся эта вредная и ненужная антиалкогольная кампания?»

И я отвечу: да, очень даже известно!

«В результате принятых мер в стране реализовано водки в 1989 году на 37 миллиардов рублей меньше, чем в 1985-м. При этом в сберкассы внесено на 45 миллиардов рублей больше, ежегодная продажа продуктов увеличилась на 4,5 миллиарда. Производительность труда повышалась ежегодно на 1 процент, что давало казне 9 миллиардов рублей. Количество прогулов снизилось в среднем на 35 процентов (1 минута прогула в масштабе страны стоила 4 миллиона рублей). В общем итоге прибыль от трезвости в 3—4 раза превысила недобор от продажи алкоголя и табака».

Цитирую не литературные домыслы, а документ, основанный на статистике, с коим познакомились думские депутаты.

К сожалению, большая часть читателей не признает и статистику. Путаает ее с пропагандой. Такой читатель, как говорится, заиклен, он твердо и навсегда уверен во вреде любых антиалкогольных действий. Масштабы народной трагедии ему просто неведомы. Он действительно ничего не знает. Или же, знает, но странным образом не желает думать об этой беде. Ни в медицинском смысле, ни в нравственном, ни в экономическом, ни в политическом смысле не хочет думать. Он зомбирован! (Еще одно чужое словечко.)

Чем же можно воздействовать на человека обманутого? Как разбудить его, не желающего знать горькую правду? Не важно, премьер он или стропальщик?

Попробуем опять же статистикой.

Не знаю, сколько принципиальных трезвенников насчитывалось у Горбачева в ЦК. В Политбюро числился всего один — Егор Лигачев. Согласитесь, что в таких условиях появление майского указа было каким-то чудом... Люди и до сих пор не верят, не знают сколько миллионов человеческих жизней спасено было от гибели, сколько матерей и сестер осушило тогда свои несчастные слезы.

Впервые за много лет страна облегченно вздохнула. (Это легко подтвердить множеством документов, пришедших в Москву со всех концов государства, подписанных тысячами людей).

Но что тут поднялось в демократическом стане! Как взвыли сразу все радиоголоса, как яростно и зловеще по всему государству замерцали электронные ящики! Как перепугались народной трезвости наши тайные и явные недруги! Сонм борзописцев, начиная с юных девиц, пробующих силы в комсомольской печати, кончая великим гуманистом Евгением Евтушенко поспешно кинулись обличать антиалкогольный указ. Само собой, сказывалась тут личная зависимость от содержимого красивой бутылки. Дескать, как это так, на свадьбе да без шампанского? А Новый год? Неужто с лимонадом встречать? (Кстати, ничего страшного... Наоборот).

Дело, однако же, было не в одной личной заинтересованности. С величайшей и полной ответственностью говорю, что осенью 1993 года среди защитников Конституции вокруг здания на набережной я не видел ни одного пьяного. Этим людей обозвали красно-коричневыми и расстреляли, потому что они были трезвы. Они знали чего хотят. (Впрочем, Гайдар и его пьяные лавочники тоже знали чего хотят.)

Не буду говорить, чего хотело ЦРУ, у меня нет для этого документальных данных. Цитировать же решения американского Конгресса и то, что говорили насчет нас Аллен Даллес и Адольф Гитлер у меня нет никакого желания. Эти слова уже набили оскомину. Можно все-таки подвести итог. Задачи, поставленные Далессом и Гитлером, почти что выполнены, с помощью алкоголя и телевизора. То бишь мирным путем. Таким ли уж мирным? Ежедневно вологодские журналисты печатают целые колонки с такими вот бодрыми сообщениями:

В д. Кольцеево Вологодского района тракторист ТОО «Новое», управлял трактором Т-150, выпал из кабины, попал под колесо и получил смертельную травму».

«В с. Анненский Мост Вытегорского района двое 42-летних мужчин решили выяснить отношения. В результате один на почве ревности убил другого топором».

«В д. Подволочье Великоустюгского района 30-летний военнослужащий выстрелом из охотничьего ружья в спину убил своего тестя. Оба были пьяны».

«Недавно в Череповце обнаружился очередной «Джекпотрошитель». Он лишил жизни совсем молоденькую

девушку, отрезав ей голову и взрезав живот. Ну и скотина!»

Не думайте, читатель, что газетчики возмущены или потрясены. Нет, они пишут об этой страшной беде если не с удовольствием, то с каким-то непонятным бесовским юмором. Читатели московских газет и питерских, дорогие любители телевидения, знакомо ли вам нечто подобное?

«Алкоголь может быть полезным организму» — вкрадчиво но крупными буквами и на первой странице вещает газета «Известия» (2.XI. 94). Будто бы и не бывало объективных исследований Павлова, специалистов ВОЗ, новосибирских исследователей Детиненко и Гражданинникова, словно не выходили книги академика Ф. Г. Углова. Полезно, и вся недолга... Академик Углов напрасно взывал к совести Рыжкова, Черномырдина, а также своих научных коллег типа Шаталина. (Вспоминаю с каким пафосом клеймил трезвенников академик Шаталин — лучший экономист перестройки и друг Горбачева.)

Нынче социалистический академик, гроза самогонщиков, не стыдись, цинично укрылся за роскошным рекламным щитом: «Шаталин и К°». Не знаю, может ли однофамилец? Может Евгения Евтушенко спросить, что значит это самый акциз? Но Евгения Александровича вряд ли волнует разница между прямым налогом и косвенным. Он, Евтушенко, прописан сразу в двух земных полушариях. (Кормится в Западном, ордена выписывают в Восточном). Ему не до этого...

Академик Чазов, когда ставили его в министры, тоже не стал отвечать на мои вопросы. Зато Г. М. Руденко, Н. Н. Иванец и В. М. Булаев — все трое высокие специалисты по наркологии, дружно кинулись защищать алкоголь. («Неделя», № 31, 89). Из их слов следовало одно: сивуха, выпускаемая нашей мощной промышленностью, есть обычный продукт. Пейте, мол, граждане, и ничего не бойтесь. И вот Лигачева объявили виновником гибели виноградарей и с помощью Гдяна торжественно изгнали с политического Олимпа. Сахарный дефицит, обусловленный недобором свеклы и простаиванием заводов свалили на самогонщиков. Долой, кустарщину в производстве и потреблении яда, даешь социалистическую индустрию! Конверсию водочных заводов срочно притормозили. Уже при нынешнем президенте, в официальных списках продовольственных товаров появилась такая строка: «Спирт питьевой...».

Демократия победила.

Спросите, а что народ? Народ, который попробовал было встряхнуться и освободиться от семидесятилетней похмельной дремы? А народу опять подсунули перестройку, перемежаемую кровавыми перестрелками... Разумеется, не без допинга (опять словечко).

Если в девяностом году только одной своей водки было произведено 137,5, то в девяносто первом уже 154 миллиона декалитров. Не думайте, что всю эту бездну сивухи демократы хранят на государственных складах. Нет, все выпито. И это примерно десять литров на душу, включая младенцев.

«Данные, — говорится в документе для Государственной Думы — приведены без учета импортной алкогольной продукции и ее аналогов, объем которой по экспертным оценкам, за 1 полугодие 1994 года только по одной позиции — водка — составил около 300 миллионов литров... В представленном на рассмотрение Государственной Думы бюджетном послании облагаемый налогами в 1995 году объем произведенной и импортированной продукции определен в 373,1 миллиона декалитров (без учета контрабанды и «самоделов»). Это составляет примерно 24 литра на душу населения в год».

Далее депутаты, некоторые, может быть, впервые в жизни узнали, что нашему народу в его недалеком будущем грозит вырождение:

«По заключению Всемирной организации здравоохранения при достижении уровня среднедушевого потребления 8 литров в год наступает процесс необратимого изменения генофонда нации, то есть начинается процесс вырождения. Мы уже вплотную подошли к этой ситуации. Создавшаяся обстановка представляет реальную угрозу здоровью населения России и подрывает экономическую безопасность государства».

Почем же Госдума не ткнула носом в эти зловещие цифры ни самого Черномырдина, ни всех его финансистов? Или задача такая: двигаться к гибели?

...Вокруг каждого пьющего по мере его духовного и физического разложения всегда возникает опасная зона. Поначалу родственники любят его, как и раньше. Затем начинают жалеть. Но порою жалость сменяется презрением и даже ненавистью. Жалость и ненависть в одном сердце! (Например, в сердце жены или сына), что может быть взрывоопаснее подобной смеси? Рано или поздно в таких сердцах происходит взрыв. Люди, близкие пьяниц, и те, что около, жестоко страдают, приобретая физиче-

ские болезни. А ему хоть бы что! Он даже не замечает, что родные вокруг него стали больными именно из-за него, что и самому ему давно бы пора на исповедь.

Приходит в голову мысль, что и чеченская мясорубка началась у нас при содействии зеленого змия. Попробую привести некоторые доказательства.

Когда СССР с подачи многочисленных академиков шаталиных продал водочную лицензию (еще словечко!), то в одну из мусульманских стран, молодого и энергичного директора Вологодского «ликеро-водочного» турнули строить этот самый завод. Все вроде бы шло нормально, строительство двигалось. И вдруг от восточного гостеприимства враз ничего не осталось. «Озверел, обозлился народ, и по винтику, по кирпичику растащили весь этот завод». Наш директор еле ноги унес оттуда. Вот и сейчас. С одной стороны сто новоиспеченных генералов. Воевать не умеют, а пить многие мастера. (Что от чего зависит — не мне судить.) С другой стороны мусульмане. Эти все еще почему-то не желают спиваться, не принимают «гуманитарную помощь».

Откроем справочник «СССР в цифрах». С 65 по 81 год население страны увеличилось всего на 13 процентов (отнюдь не за счет русских). За то же время спиртного произведено на пятьсот процентов больше. За сорок лет (1940—1980) производство хлебных продуктов увеличилось на двести процентов, а производство алкогольного пошла на 690! Рост даже по преимуществу мусульманского населения отставал от роста алкоголя в 37 раз! Гайдаровская демократия впустила в нашу страну не одних закордонных бандитов и американских экономистов для обслуживания президента. Вкупе с ними хлынули к нам кабатчики со всего света. Они усиленно потчуют нас австрийской, голландской, немецкой, французской и даже индийской сивухой.

Вовсе не утвеждаю, что Российское государство встало перед чередой грозных явлений лишь по одной этой причине. Есть, конечно, и другие причины. Их не замаскируешь ни горбачевской перестройкой, ни грачевскими перестрелками...

СПАСЕМ ЯЗЫК — СПАСЕМ И РОССИЮ

Разговор о языке — очень серьезный разговор. Достаточно вспомнить Евангелие от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Язык — это народ. Когда я говорю о спасении России, я говорю о спасении языка.

Спасать прежде всего нужно кириллицу, потому что начинается наш разгром с того, что кириллицу в России вытесняет латинский шрифт. Я вам напомню о том, что разрушение Югославии началось именно с этого. Все началось с безобидных вывесок, с безобидных объявлений на латинском шрифте — и кончилось (да еще не кончилось!) видите чем. Страшные вещи происходят: кириллица вытесняется насильно, целенаправленно.

Конечно, язык зависит от уровня общей культуры, народной нравственности прежде всего. Но нельзя забывать, что разрушение русской национальной культуры, языка и музыки было запланировано. Никакой стихийности тут нет, все шло так, как было задумано, — уничтожение нашей государственности, нашей нравственности, нашего языка, нашей культуры. И тут нечего хитрить, нечего бояться, надо прямо сказать, что мы порабощенный народ; может, пока порабощенный не до конца, но порабощенный, надо это признать и исходить из этого. Как освободиться от гнета, от ига, надо думать сообща, соборно. И если мы будем думать, то обязательно придем к тому, что освобождение может быть только на основе православной веры. Символично получилось, что о русском языке речь идет в православном монастыре.

Наша культура, наша духовность где-то во времена Пушкина пошла по двум направлениям: светская культура и культура чисто духовная, религиозная. Они как бы разошлись, и один, — чаадаевский или декабристский путь, а другой — путь наших священнослужителей, духовенства. Это было трагическое и, как мне кажется, искусственное разделение.

Нельзя делить культуру на культуру Пушкина и куль-

туру Игнатия Брянчанинова. Конечно, они и сами в своем роде хороши, но у них один источник. Этот источник — русский народ и Православие. И когда я читаю сейчас аскетические опыты святителя Игнатия — я восхищаюсь чистейшим русским языком. За век с лишним ничего не сделалось с этим русским языком, он такой же чистый и сейчас. Язык Игнатия-святителя — это превосходный язык, в него ничего не привнесено грязного и нечистого, я бы сказал, иностранного. Мысли выражены очень четко.

О плановом уничтожении языка можно говорить очень много. Но достаточно сказать о словарях наших. Словарей должно быть столько, сколько нужно, должны быть сотни самых различных словарей. А у нас же вроде бы какая-то норма существует на них.

И какие это словари?

В словаре Даля 220 тысяч слов, хотя в нем отражена отнюдь не вся русская лексика. Я знаю десяток или два коренных русских слов, которых нет в словаре Даля.

А в словаре Ожегова? Там ведь всего лишь около 80 тысяч слов. Вот как у нас получается: из двухсот двадцати тысяч слов сделали всего восемьдесят. Да и то половина с пометками: «устарелое», «областное», «просторечное», «специальное» или еще какое-нибудь. Так и прививали у нас недоверие к собственному языку.

Но ведь произошли изменения не только в словарном, лексическом составе, произошли изменения в пунктуации, синтаксисе. Ведь язык — это такая разнообразная стихия! В нем нельзя сводить все только к одной лексике. И здесь наблюдаем явное обеднение языка.

Язык обеднен не только по количеству слов, он еще обеднен и интонационно. Он утратил ритмичность и тональность.

Говорить об исключении иностранщины из нашей лексики вполне правомерно. И нечего этого бояться. Надо безжалостно исключать «чужесловы» из нашей речи. Безжалостно выбрасывать. А нам прививают намеренно эту лексику. Я понимаю, когда пишут медицинский рецепт на латыни. Но когда журналисты намеренно всовывают в статьи иностранные термины, нарочно, как бы презируя русский язык, это те журналисты, которые вообще не любят Россию и которым все равно где жить и как говорить, лишь бы было сытно. И сами лингвисты? Они на самом коренном русском слове могут поставить пометку: разговорное, областное.

С В. Н. Крупиным мы были в Японии, оказались в гостях у одного профессора, и он нам показывает сборник «русских» частушек, изданный в Израиле. Забыл фамилию израильского профессора, который писал предисловие. Частушки абсолютно похабные. Весь сборник целиком похабный. Я смею вас уверить — это не народные частушки. Есть люди, которые специально сочиняют эти мерзопакости, а выдают за творчество народа. Или берут действительно народные частушки, но что стоит человеку, искушенному в сочинительстве, переделать текст и из нормальных стихов сделать похабщину? Издают целые сборники большими тиражами и распространяют по всему миру. А на основании подобных сочинений делается вывод, какой русский народ паскудный. И тот же японский профессор воспринимает эти частушки как народные. А нашим доказательствам, что это не народное творчество, по-моему, он так и не поверил.

Что нас ждет дальше, я боюсь и говорить. С таким словарным запасом, как у нашего президента, мы далеко не уедем. Ни одной пословицы русской Борис Николаевич, по-моему, не знает. Ему пишут референты, которые тоже не знают языка. Одним словом — смердяковщина. Она пришла, конечно, не сейчас, но сегодня особенно свирепствует. Бессмертен иностранец Иван Федоров из «Мертвых душ» Гоголя. Вся Вологда и вся Москва завешаны этими «иностранцами», этими вывесками.

Уничтожение русского языка идет одновременно с уничтожением русского народа. Самое главное сейчас — спасение самого народа, который покорен неизвестно кем, какими силами, который идет на поводу неизвестно у кого.

Я не знаю, что получится из закона, который мы предлагаем принять в Думе. Я думаю, что спасение языка не совсем будет зависеть от этого закона. Но все равно не нужно от него отказываться. По крайней мере, закон этот должен разбудить спасительное чувство национального достоинства.

МОЙ ДРУГ ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

Вот и Валентину Григорьевичу Распутину шестьдесят...

Мне живо помнятся те времена, когда многочисленные литературные критики, толпившиеся вокруг «Литературной газеты», не боялись ни цэковских инструкций, ни цензурных рогаток. Откормленная оппозиция вроде Евтушенко пивала чаек с баранками аж с самыми главными цензорами страны. Запанибрата бывала с этими диссидентами и самая высокая советская власть. Такие «оппозиционеры» совместно с коммунистическим начальством то и дело изобретали новые критические термины.

Прозу, например, Виктора Лихоносова такие критики назвали орнаментальной, для писателей вроде Дмитрия Балашова придумали словосочетание «историческая ностальгия». Тогда же было изобретено ругательное сочетание «писатели-деревеньщики». Отнюдь не из благородства придумана!

Валентину Распутину, едва он успел появиться на российском литературном горизонте, сразу было припасено прокрустово ложе «деревеньщика».словно некая загородка, ограниченная определенным пространством. А он взял да и выскочил из этого частокола. Его первые же произведения и последующие смело пошли гулять по миру. Книги Распутина были переведены сразу на многие языки... Критики типа господина Янова открыли рты от злобного изумления...

Может и по этой причине тоже господа яновы дружно побежали за океан? Вряд ли. Просто в р/ст «Свобода» и американских университетах платили в десятки, если не в сотни раз больше, чем... дома.

Где хорошо, там и отечество...

Редакция «Сельской жизни» настойчиво просит юбилейную статью.

Но своего личного друга не лучше ли и поздравить лично, а не публично? Профессиональный журналист конечно возразит, мол, одно другому отнюдь не мешает.

Нет, мешает. Речь Достоевского на столетнем пушкинском юбилее произнесена, разумеется, для публичного пользования, и она была очень даже уместной. Но представим себе живого Пушкина, слушающего эту речь. Невозможно представить...

Демагог-журналист, вскормленный таким органом как «М. К.», скажет, что я приравниваю Распутина к Пушкину, а себя к Достоевскому. Пардон, это не так. (Хотя сами-то демократы то и дело всерьез сравнивают того же Пушкина с Иосифом Бродским.)

И так, уместны ли публичные юбилейные высказывания о живом человеке. Мне что-то мешает ответить на этот вопрос вполне утвердительно. Какая-нибудь свистулька из мощной когорты демократических свистунов с наслаждением уцепилась бы и за эти мои слова, чтобы заявить: «У Белова не нашлось доброго слова для публичных высказываний о юбиляре». А выскажись публично и в полный голос, та же свистулька сразу вспомнит басню Крылова о кукушке и петухе.

Но речь не о демократических свистульках. Речь о Валентине Григорьевиче, который меня поймет. Редакции нужно именно какое-то новое слово о нем. Именно юбилейное.

Ничего нового я не скажу, не потому что о Распутине все уже сказано или о русской прозе сказать нечего, а потому что я вовсе не критик.

Ну, почему бы Анне Лукиничне Харитоновой не поставить в номер «С. Ж» январское 1992 года интервью с Валентином Григорьевичем? Переиздать бы срочное и всю книгу Распутина «Россия: дни и времена.» Уже тогда, задолго до расстрела парламента, он сказал то, что необходимо сказать сегодня. Матерьял пятилетней давности злободневен и свеж. Повторить сказанное им до расстрела Белого дома вовсе не помешало бы. Увы, специфика любой газеты такова, что перепечатать собственные публикации журналисты иной раз и рады бы да не принято. А вот переиздание распутинской книги не происходит совсем по другой причине. Слишком в ней много правды! (Хотя правды слишком много никогда не бывает.) А правду лжецы из демократического лагеря не очень-то любят. Они боятся ее и бегут от нее как черт от креста и от ладана. Если совсем убежать невозможно, они (т. е. черти) просто молчат и делают вид, что ничего не произошло.

Если газетный редактор стыдится повторить собственные слова и свои прежние интервью, то совесть настоя-

шего писателя то и дело вынуждает повторяться. Повторяться не в художественном смысле, а в смысле отстаивания нравственных и даже религиозных истин. А если эти истины с годами в его сердце только крепнут? Если их отстаивание становится гражданским долгом, порою жизненным подвигом? О, в этом случае даже художественный образ становится пусть не обузой, но тем, чем можно пожертвовать. Потому что ради таких истин не жаль ни времени, ни здоровья. Вот почему такие писатели как Распутин то и дело откладывают в сторону романы и повести, стихи и поэмы... Им представляется кошунством заниматься рассказами и стихами, когда надвигается государственный апокалипсис, когда народ разделен, оскорблен и унижен. И хотя писатель вовсе не страдает художественной неврастенией, критики-либералы тут как тут. Они сразу же обвиняют писателя-патриота в недостатке художественного таланта, скажут, что он «исписался», что променял литературу на политику и т. д. Хорошо, если у писателя крепкие нервы и он не обратит внимания на подобные благоглупости.

Почему же я говорю сейчас именно об этой («Россия: дни и времена») книге Распутина, изданной в Иркутске? Значит ли это, что я предпочитаю ее другим его книгам? Разумеется, нет. Придет время, и «Деньги для Марии», «Прощание с Матёрой», «Последний срок» займут свое законное место в хрестоматиях по русской литературе. Но для того чтобы это произошло, чтобы полностью спокойно отдаться любимому делу, нужно как минимум хотя бы одно условие. Необходимо выжить, уцелеть не только русской культуре, но и вообще России как государству. Больше того, надо просто выжить и сохраниться русскому народу, ради чего писатель и тратит свои силы может быть больше на публицистику чем на искусство. И В. Г. Распутин твердо верит в Россию.

Признаюсь, что у меня, например, подобная вера не раз и не два давала трещину, хотя провидение всегда спасало от полного отчаяния. Спасало сначала знакомством, затем и дружбой с такими людьми как Александр Яшин, Федор Абрамов, Василий Шукшин, а теперь и сам Валентин Григорьевич Распутин. С поэтами хотя и было дело сложнее, но и они подсобляли в мрачные дни. Всегда поддерживала поэзия Николая Рубцова, Анатолия Передреева, а из живых Юрия Кузнецова и Станислава Куняева. А художники? Выжить надо было, разумеется, не в прямом смысле, а в литературном, в творческом. Хотя

бывало, что и в прямом. (Помнится, Федор Абрамов чуть ли не в каждом письме не забудет спросить: «Есть ли пятаки? Не послать ли?»)

Все это я к тому говорю, что кроме дружбы существует некий закон взаимозаменяемости что ли. Он не позволяет оборваться неходимой традиции в отечественной культуре. То, что не успело сделать одно поколение, сделает другое. Что не сумела сказать поэзия, доскажет проза. Где промолчит литература, там в полную силу развернется музыка или какой-либо иной вид искусства. Но жизнь национальной культуры ни на минуту не прекращается!

Народная жизнь обладает по-видимому и свойством регенерации, свойством восполнения, как восполняются или даже возрождаются почти что из ничего некоторые растения и организмы...

Да, правдивая литература на Руси ни на минуту не оставалась и не прекращалась. Помню, с каким чувством в детстве читал я «Зимовье на Студёной», или «Серую шейку», или «Детство Тёмы». Иван Катаев, Зазубрин... Разве не спасла в свое время повесть Зазубрина «Щепка» честь всей русской литературы? Сибирская культура это прежде всего русская литература. Литературу Сибири можно сравнить с полками, которые вовремя подоспели на защиту Москвы в 1941 году.

Очень вовремя для России появился в Москве В. М. Шукшин. Наша литература в буквальном смысле всегда подпитывалась Сибирью. Могущество России по словам Ломоносова «прирастать будет Сибирью». Нет, не зря мои вологодские пращурьы так стремились в просторы Сибири. Дела Семена Дежнева и Ерофея Хабарова ох как пригодились России, пригодятся и впредь. И мне не совсем ясен смысл рассуждений некоторых «патриотов» об излишней, якобы, широте русских просторов, а заодно и русской природы.

Если таким патриотам Россия кажется слишком широкой, то что говорить о наших врагах, существование коих нынешние либералы вообще отрицают? Недруги-то чикаться с нами совсем не станут. Они уже выпускают географические карты с названиями сибирских американских штатов (четыре штата или пять, не помню). Эти политические портные давно уже мысленно раскроили Россию на мелкие лоскутки.

Журналисты однажды спросили Валентина Григорьевича, как он смотрит на эмиграцию. Можно было и не спрашивать, это было и так ясно. Добровольный отъезд

из России Распутин считает предательством родины. «А если тюрьма?» — не унимался журналист.

Смешно рассуждать с автором «Последнего срока» относительно эмиграции, т. е. бегства с родины! Даже самый забулдыжный архаровец отнюдь не всегда и не каждый по доброй воле согласится жить на чужбине. А тут с легкостью необыкновенной согласны жить где угодно, лишь бы было тепло и сытно, лишь бы не пахать, не сеять, не стоять у станка.

Нет, в «этой стране» еще далеко не все судят по себе, не всем все равно, где жить и где небо коптить. В таких случаях всегда вспоминаю песню Исаковского:

Летят перелетные птицы
Ушедшее лето искать,
Летят они в жаркие страны,
А я не хочу улетать.
А я остаюсь с тобою,
Родная навеки страна.
Не нужно мне солнце чужое,
Чужая земля не нужна!

(Не ручаюсь за стихотворную точность, но мысль Исаковского понятна из этих слов.)

Уже много лет не слышно что-то этой песни ни по радио, ни по телевизору, зато сколько раз «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз».

А что сейчас поют эти перелетные птицы? Боже мой! Нынешние сирины и телевизионные коты-баюны внушают слушателям нечто противоположное тому, что говорит в своих книгах В. Г. Распутин, сумевший облагородить даже отрицательный термин. Вовсе не из благородства и не из хороших побуждений критики придумали термин «писатели-деревеньщики». А нынче он везде употребляется уже в положительном смысле.

Правда берет свое...

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ ХУДОЖНИКА

Что такое талант? Отвечать на такой вопрос люди пробуют тысячи лет. Пробуют все: философы и художники, грешники и святые, люди грамотные и не очень, люди всех племен и народов. И спрашивают они и отвечают на этот вопрос тоже со всех мыслимых и немыслимых, порой фантастических позиций.

Но талант — какое-то удивительное, ускользающее, избегающее определенности явление. Такое ускользающее, что никому тысячи лет не удастся вполне четкий, однозначный, как теперь выражаются, ответ. Невольно напрашивается вопрос на вопрос: да надо ли отвечать? Тайна есть тайна. А тайна, на мой взгляд, категория Божественная. Все ли тайны следует открывать человеку, не лучше ли оставить хоть чуточку на «потом»? А то ведь будущим людям будет совсем нечего открывать, и скучно им станет жить...

Есть слово «дар», а к нему есть прилагательное. Дар Божий. Вот и дело, казалось бы, с концом...

Быть может, мои читатели накинута сейчас на философские словари в поисках ответа на наш вопрос. Не ищите определения слову «талант» у Брокгауза — в превосходной энциклопедии — около этого слова одна сплошная торговля, а составитель отошлет вас к слову «гений» (но ведь мы-то говорим не о слове «гений», а о слове «талант»). Отыскивая определенный ответ на вопрос, что такое талант, вы обязательно наткнетесь на слово «талмуд» и запутаетесь в определениях. Мне скажут, что так же написано и у Даля, обвинив в очередной раз в антисемитизме. Так и у Даля, не спорю, так да не совсем так. Почитайте и сами увидите, какво народное (далевское) определение этому таинственному явлению. Можно лишь по тысячам пословиц и поговорок понять, что значит талант (талан). Именно так — талан! Так и говаривала о девичестве и жизни семейной Мария Ерахина, моя землячка из Тигинской волости Вологодской области:

*Не скажу, чтобы я красавица,
А талан дак был, люди славили.*

Русское народное представление о таланте как о природной даровитости обусловлено прежде всего нравственной стороной дела: «люди славили»... Быть женщиной тоже, оказывается, был нужен талант, как он был нужен быть мужчиной. Лишь деткам талант был не обязателен...

А разве не так? Художественный образ в книге «Лад» я называю «рожденным неповторимым». Хотя назвать неуловимым художественный образ никак нельзя, особенно в живописи или архитектуре.

Об условиях рождения художественного образа говорилось не раз. Тысячи лет люди четко отличали, подразделяли художественный образ в живописи от других образов, например, от музыкальных или же, например, от лицедейских (театральных). Для того и понадобились древним грекам девять муз, чтобы разбираться в образах. Иное дело, что некоторым талантам были покорны одновременно две, а то три-четыре музы, как это случилось, например, с Микеланджело. Не к тому говорю, чтоб сравнить талант Владимира Александровича Игошева с талантом великого флорентийца, нет (надеюсь быть правильно понятым). А почему бы и не сравнить? Ведь есть же у них нечто общее, например, талант и совесть? Можно по-разному держать мастихин и палитру, но талант есть талант. Корни его у того и другого уходят в народную толщу. Нравственная народная стихия одинаково присуща всем подлинным, а не фальшивым художникам. Даже сумасшедшему Врубелю и эстетическому шалуну Пикассо нельзя было обойтись без этой стихии. В ослепительных полотнах Сарьяна мы слышим древние армянские напевы, в сарьяновских красках чувствуется экономная народная мудрость. Неподлинным художникам высокая народная нравственность, присущая в той или иной степени каждому народу, часто просто не нужна или противоречит ему.

В проспекте для выставки, проходившей недавно в московском «Новом Манеже», скороговоркой упоминаются августовские события. Автор проспекта говорит, что Владимир Александрович Игошев стал последним по счету народным художником разрушенного Союза. Александра Шатских намекает на то, что по возрасту и заслугам в живописи В. А. Игошев все еще лишен академического звания. Спросим и мы, чем объяснить такой феномен? Художника В. А. Игошева знают по всему белому свету, его работы во многих музеях и частных собраниях Европы и Азии. Ценят его в Японии и в других азиатских

государствах. На полотнах Игошева Греция, Турция, Египет. А сколько их, этих полотен, в отечественных музеях?

Дорога, пройденная художником почти за восемь десятков лет, поистине долга и трудна. Образы, созданные в пути по этой нелегкой дороге жизни, — прекрасны. Особенно вдохновенно рождались они в поездках по российскому Северу, например, в Ханты-Мансийский округ. Взгляните на «Наташу Папуеву» (1992 г.). Или на ту девочку, что в окружении чаек и белоснежных лаек в картине «На краю России» задумчиво глядит в безбрежное пространство. Картина создана в 1991 году, в семидесятилетнем возрасте. Тогда в стране стоял оглушительный «демократический» гвалт и уже начиналась кое-где стрельба. Тогда многие только и думали о перестройке (в свою пользу, разумеется, а не в пользу России). А художник В. А. Игошев создавал философский шедевр, в котором человек чист и безгрешен и окружающая его природа одинаково благоклонна для всех живых существ. Чиста она, эта природа, вместе с человеком самодостаточна и щедра.

Портретная и пейзажная живопись В. А. Игошева одухотворены в равной мере, они как бы одно и то же. Рыбаки и охотники всех возрастов и разнообразных характеров так слиты, так неразрывны с природой и друг с другом, что при нынешних темпах цивилизаторских перестроек, люди, запечатленные игошевской кистью, будут казаться через несколько лет людьми из другого, поистине «райского» мира! Не осознанная человечеством угроза Апокалипсиса ощущается лишь после того, как поближе познакомишься с этими северными художественными образами.

Кто водит рукой художника, когда он нежно, еле заметно касается крохотной частицы ультрамарина, едва выдавленного из тюбика? Почему потребовался как раз этот легкий, огненный мазок пронзительного кобальта именно в этой, а не в иной плоскости холста, именно в этом, а не в ином красочном соседстве?

Если выразиться по-старинному, тайна сия велика есть... Не будем и мы касаться таких, прямо скажем, Божественных тайн.

Взгляните хотя б на графический портрет оленевода (1980 г.). Он выглядит как русский крестьянин, хотя он вовсе и не русский. Бесконечное терпение и непоколебимое мужество в его облике. Или взять портрет матери художника Ольги Филипповны Игошевой (1972 г.). Она такая же, как и моя, например, мать, хотя и не моя мать...

Не так уж трудно убедиться, что существует тут действительно какая-то непостижимая тайна.

КОРОЛЬ ГОЛЫЙ...

Православие, как любое могучее и необъятное национально-религиозное явление, конечно, имело немало пороков, противостоящих самой сути христианства. Но что из того? Из частных, вернее, неглобальных недостатков церковной жизни нельзя делать обобщающих выводов, например, заявить, что Серафим Саровский и Иоанн Кронштадтский не были святыми...

Либеральные демагоги на протяжении веков намеренно ставили знак равенства между верой и мракобесием... Но даже официальная церковь боролась против суеверия!

Да, настоящая вера и суеверие отнюдь не одно и то же. Последователям Маркса — Энгельса пора бы понять эту непреложную истину. Православная вера не противоречит грамотности и глубочайшим научным познаниям. Напротив, она помогает науке и грамотности, способствуя их расцвету. Неужели так трудно осознать всем сердцем, каждой жилочкой почувствовать этот факт?

Размышляя о счастье, француз Паскаль, ученый, представляющий фривольную, т. е. на наш взгляд несколько легкомысленную нацию, делил людей на три группы: «Одни обрели Бога и служат Ему, эти люди разумны и счастливы. Другие не обрели Бога и не ищут Его, они разумны, но еще несчастны. Третьи не ищут Бога вообще, они безумны и несчастливы». Мнение весьма близкое православию! Лучше Паскаля, пожалуй, не скажешь...

Но в какой группе больше всего людей? Я осмелюсь утверждать, что самая многочисленная по счету ученого и философа — третья! Те, кто и безумны, и несчастливы. И преобладает в этой группе, конечно же, молодежь... Вероятно, это касается не только современной России.

Сейчас разрушение русской семьи, «Русского Дома» (название нашего журнала) происходит не столько словом, сколько музыкой. Речь идет о разрушении музыкальной культуры... Прошу отнестись к моей фразе как можно прямолинейней! Говорю именно то, что говорю...

Не стоит сейчас разглагольствовать, что для русского дома, иными словами для русской семьи, важнее: слово

или музыка, слово или песенная (певческая) народная стихия, музыкальная культура. Убежден, что в нынешнюю «ненастную» пору для спасения и возрождения нашего народа важнее всего музыка...

Разумеется, даже смутно верующий, мало воцерковленный человек, даже неграмотный громило нашего христианского дома, скажет, что слово важнее. Христос! — это слово. Бог — слово. Скажет так даже инаковерующий. Может, согласится с ним и атеист, ведь дух злобы тоже использует слово... Вопрос, какое слово? Мат, вылетающий из уст пьяного, жутко ставить в один логический ряд со словом Иоанна Златоуста или, к примеру, со словом иного Иоанна — покойного митрополита Ладожского и Петербургского... Да куда деться? Логика — вещь серьезная. Наука хоть и не богословская, но наука. На земле звучащее слово не всегда Бог... Книга, лицедейство, радио, телевизор в этом мире служат обычно не Богу... Вот почему я снова и снова утверждаю: русский народ в наше время страдает, ослабевает, сокращается, гибнет не столько от сатанинского слова, сколько от сатанинской музыки. Об этом я говорил еще много лет назад. И вот спрашивает один мой, кстати, верующий читатель: «Рана, похоже, уже и не гноится, а почернела и смердит, и... кости обнажились. Так уместно ли, действительно ли врачевание по прежней методе?»

На мой непросвещенный взгляд, годится любой метод, если речь идет о врачевании живого человека или целого, несдающегося народно-государственного организма...

Как же мы допустили, что наше завтрашнее будущее, наши многотысячные молодежные аудитории попали во власть воплощенных бесов? Рок завладел безбожными сердцами наших детей, внуков и правнуков. По родственной любви к ним мы и сами, т. е. родители, деды и бабушки, уже готовы слушать такую «музыку»... Бесноваться на жутких молодежных тусовках, на этих безбожных многочисленных сборищах, конечно, не станем, но слушаем, а некоторые родители уже и «плясать» осмеливаются...

Скажут, молодость, избыток сил... Дескать, тот избыток надо куда-то истратить. Русь, мол, и раньше плясала... Конечно, плясала! Молодые, здоровые плясали и раньше. Не только работали, но и веселились. Помню сам, как десятилетним подростком верст за десять-пятнадцать ходил на гулянья в другие волости и деревни. Девичьи часами плясали под игру на гармонии. Но как на Руси веками плясала молодежь и подгулявшие в гостях пожилые люди

обоего пола? Пляска была индивидуальна, разнообразна, однако же не теряла традиционной красоты и эстетики. Красиво плясали, что говорить, далеко не все. Но стремились-то к такой красоте и приличию буквально все, осмеливающиеся выйти на круг. «На круг» — это значит на всеобщее обозрение, на народный, общественный суд! Пьяные, а также подвыпившие хлебного пива, плясали тоже — кто им запретит? Однако же в глазах общественности ценились больше плясуны трезвые, тем более и плясуньи. Они лучше и плясали. (Эстетика русской пляски, хоровода и песни не вмещается в эту статью, она ждет серьезного изучения и посильного внедрения в народный быт.)

Наверное, каждый нормально думающий согласится, что слова бывают и мерзкие, и похабные... А бывают ли мерзкие и похабные звуки? Дурные «музыкальные» звуки? Отвечая на такой вопрос, многие либо скажут «нет», либо задумаются... Но мне хочется сказать определенно и коротко: да, такие звуки бывают и в музыке! «А что это за звуки?» — спросит какой-нибудь пристрастный дотошный читатель «Русского дома». Я уже говорил когда-то и об этом. Повторяться нет смысла. И резонёром-моралистом быть не очень-то приятно... (Замечу лишь, что существует обычная музыкальная какофония. Существует и обычная децибельная агрессия, которую не выдерживают даже крысы... Сами по себе два этих примера являются доказательством существования музыкального неприличия.)

Продолжим разговор вопросом: а бывают ли неприличные движения? Увы, тоже бывают... Игра бедрами, обнаженными ногами и торсами... Имитация бесстыдного полового экстаза... На глазах у всех... Многотысячная толпа визжит, орет, конвульсивно дергается. Иные девицы совсем теряют рассудок и падают в обморок. Это и значит рок-музыка! Не следует путать ее с некоторыми национальными танцами, не стоит переводить и в разряд физкультуры. Но все называют такое сумасшествие музыкой...

Музыка ли? Всего вероятней, антимузыка. Вред этого зловещего явления доказан врачами и искусствоведами в Японии и в западных странах. Русский читатель не знает этих научных работ, они скрываются разрушителями национальных культур, пропагандистами рока. Мы ничего не знаем о медицинской стороне дела, наши медики или молчат, или им не дают места на страницах печатных органов. Форсированная почти на государственном уровне пропаганда антикультуры обнаруживает себя как раз в от-

ношении к року. Композитор Андрей Петров, отвечая одной ленинградской корреспондентке, не видит в рок-музыке опасности... Вероятно, А. Петров не читал Платона, который утверждал, что «отвращения от общенародной музыки надо остерегаться больше, чем нарушения любого закона». Тот же древнегреческий философ говорит, что «нельзя изменить форму музыки, не внося расстройств в нравственность». Другой философ, в другом конце мира и в иное время говорит почти то же самое: «Покажите мне, как поет народ, и я скажу, как народ управляется и какова его нравственность» (Конфуций).

Государственным делом считал музыку Л. Н. Толстой. Циолковский писал в своих дневниках: «Музыка есть сильное возбуждение, могучее орудие, подобное медикаментам. Она может и отравлять и исцелять. Как медикаменты должны быть во власти специалистов, так и музыка».

Во многих странах введены либо вводятся государственные ограничения на музыкально-звуковую, обладающую наркотическим свойством обработку беззащитного подросткового сознания.

В нашей стране наоборот: идет активная пропаганда рока. Эта пропаганда прикрывается потребностями молодежи. Пока не вся молодежь попала в сети. И не все органы информации осмеливаются напрямую оправдывать новейшие нравственные и физиологические пороки, явившиеся в Россию за последнее десятилетие. Звучат косвенные оправдания, вроде того, что во всем виноваты взрослые, родители, создавшие целую систему лжи и неискренности. Следуя этой логике, если говорить о лжи и обмане, разве сами родители не были обмануты?.. Ведь и родители — это всего лишь вчерашние юноши и девушки. И потом, какой же смысл старшим обманывать собственных детей и внуков? Явно тут концы с концами не сходятся. А дело лишь в том, что версия о лживости родителей убивает сразу двух зайцев. Во-первых, молодежь отделяется и затем противопоставляется обществу, во-вторых, маскируются истинные причины общественных неурядиц.

Все разглагольствования об отдельной, так называемой молодежной культуре, насквозь пропитаны демагогией. Когда общество раскроет глаза и поймет, наконец, чем грозит так называемая массовая культура, тогда меры запретительного характера станут неминуемы...

Можно ли назвать подобные необходимые меры покушением на права человека? Нет! «Музыкальный» король голый! Надо во всеуслышанье прямо сказать об этом...

КОЕ-ЧТО О РОЖДАЕМОСТИ

«Сами евреи как будто предназначены возбуждать страсть в среде тех, в контакт с кем они вступают, так что бесстрашие по отношению к ним встречается редко. Действительно, для некоторых евреев одно только признание существования еврейского вопроса уже служит доказательством существования антисемитизма...»

H. W. Steed: the Hapsburg Monarchy, 1913, p. 179.

Взрывоопасная смесь лингвистики с критикой суфражизма! Выдерут дамы последние волосы... И ни за какие деньги, ни за какие «коврижки» не взялся бы я за этот материал, если б не трагедия генерала Рохлина... Меньше всего хотелось вновь говорить о женской эмансипации и разжигать страсти вокруг рождаемости. Давно всем известно, кто виноват и что делать! Пресловутый треп о том, кто лучше, мужчина или женщина, всегда казался мне смешным и даже оскорбительным для всего человечества. Полемизировать с вечными суфражистками не было никакого желания. Неблагодарное и суетное это дело!

Скажут: при чем здесь убийство Рохлина? Но помянем его перед Богом, вспомним историю его жизни: политическое и военное его возвышение, его мужественную борьбу с Ельциным, его трагическую кончину. Наконец, подумаем, отчего такой для многих, особенно для женщин, неожиданный финал судебного процесса? Суд над вдовой и матерью больного ребенка... Уже сам этот факт не вмещается в нашем правосознании. Связана ли вся эта детективная история с общей трагедией России? Заявить хочется во всеуслышание: безусловно, связана! Везде существует взаимосвязь, даже на бытовом и религиозном, политическом и военном уровнях. Подумаем сообща и убедимся, что эта взаимосвязь, корреляция, как выражаются медики, буквально во всем, куда ни копни...

Сначала вспомним, на сколько миллионов человек ежегодно сокращается население страны, прежде всего русское. Вспомним, что говорил Федор Достоевский о русском народе и русской женщине. Спрошу в первую

очередь верующих девушек, всех бабушек и вообще всех вологжан: откуда, к примеру, на улицах Вологды взялось так много курящих дам?

Никогда до 90-го года не осмелился бы я употребить публично циничное мужское высказывание: «Все женщины делятся на дам, не дам и продам». После чтения «Пятачка» осмеливаюсь. Курящих девушек я давно называю «курицами», обижаются не многие. Стоят иной раз по двое-трое где-нибудь на задворках и беседуют, у каждой в одной руке бутылка пива или «колы», в другой вонючая сигарета. Почему бы и курительной трубкой не обзавестись, или, как Черчилль, сосать сигару? Можно привыкнуть. Привыкли же ходить в двадцатиградусные морозы в мини-юбках, едва прикрывающих ягодицы. Не зря в очередях к урологу одна половина мужики-аденомшики, другая — женщины, часто весьма юные. Этих девушек Господь уже не сделает мамами, а если и сделает, то назовет больным ребенком...

...В 1999 году, в кои-то веки (в прямом смысле в минувшем веке), и то на базаре, заметил я миловидную беременную женщину. Она была совсем для меня чужая, не знакомая. Но я так ей обрадовался, что хотел тут же все бросить, купить гвоздику и преподнести ей. Именно за беременность. Пока шарашился, искал деньги в карманах, женщина затерялась в толкучке...

Восьмого сентября 2000 года ездил к сестре за ягодами, и на углу улиц Горького и Добролюбова, на троллейбусной остановке увидел еще одну беременную. Да, Вологда город литературный... Эта женщина вела себя весьма странно: то разглядывала, что продают в киоске, то совсем пряталась за киоск. Словом, явно стеснялась своего живота. Троллейбуса не было, и народу тоже мало. Я украдкой подошел к ней и произнес чуть ли не шепотом: «Можно вопрос?» Она как побежит от меня! И опять чуть ли не за киоск! Но я же хотел ее просто поздравить и сказать, чтобы она не стыдилась, что люди должны кланяться ей в ноги за предстоящий подвиг рождения нового человека! Она же отбежала от меня еще дальше и повернулась ко мне спиной...

Дома я кратко записал на перекидном календаре эту непонятную мне сцену. В чем дело? Почему она испугалась даже ответить на мое приветствие? Может, она не замужем? Как говорится, «нагуляла»? Всего скорее так. Но я хотел лишь поздравить ее с предстоящим рождением нового человека, сказать, что родить ребеночка это уже

подвиг, внушить ей простую мысль, чтоб она никогда не стыдилась беременности. Неужели и моя мать, родившая в голодный 35-й мою сестру, в страшный 38-й моего брата, тоже была такой? Нет, моя мать, родившая шесть раз, своей беременностью не стыдилась. Сестра, которая дала сегодня ягоды, собранные на родине, была в 42-м году младенцем. Я качал ее в зыбке, когда бабушка носила скотине поило. Уже через год, в 43-м, мы все пятеро осиротели. Отец погиб на фронте, но все мы, и дети, и мать, и вся наша родня, долго не верили этому. Ждали мы от тяти вестей, бегали за почтальонкой. Не дождались...

Оставим биографические подробности, оставим и драму в семье Рохлина, вернемся к нашей теме. К теме? Что за тема, спросит читатель газеты «Завтра». Тема простая: почему русские исчезают, сокращаются едва ли не на миллион в год.

Недавно (этот случай тоже помечен на листочке календаря) один мой приятель всерьез, чуть ли не до развода, поругался с женой: «В чем дело?» — спрашиваю. Он говорит: «Не поделили бл...» Последовало, как считают, непечатное слово. (Хотя почему непечатное? Оно вполне литературное, еще протопоп Аввакум с амвона громил Никона этим словом, это запечатлено в житии.) Мне стало смешно. Приятель-то человек прямой и никогда не меняет добротные русские слова на синонимы иностранного происхождения. Убийцу называет убийцей, а не киллером.

— А чего их делить-то, — подначиваю я приятеля. — Проституток-то... Их и делить нечего, тем более с женой...

— О, ты знаешь, в мою семейную жизнь вмешался Пушкин!

— Как? Александр Сергеевич? Что-то не верится...

— А помнишь, что он говорил о женщинах? Не помнишь... Вот, а я сказал, что думал Пушкин о женщинах своей жене. Не дословно, конечно, приблизительно... Она как понесла и меня, и Пушкина! Чуть не матом. Такой крик открыла... а началось-то все из-за этого дурацкого пятачка...

— ?

— Газета так называется! — буркнул мой знакомый и побегал по делам. Ему всегда некогда.

Забыл бы, наверное, я этот случай, но вопрос о том, что говаривал великий поэт о женщинах, застрял в голове. Что-то когда-то я читывал, но где? Кажется, в журнальных статьях Пушкина. Давай искать... Вот он, пятый том серии «Огонька», 1954 года издания.

Начал читать и зачитался, забыл, что мне надо от Пушкина. Нет, вру, еще до этого я открывал два словаря: в одном искал слово на букву «б», в другом посмотрел, как пишется английское «киллер». У Ожегова нужного слова, конечно, не оказалось. Там и всего-то 52 тысячи слов. У Даля их было более 120 тысяч. Но что толку? Слово «боа» и там и тут, а того русского нет словечка! Надо глядеть в дореволюционном, то есть в царском издании Даля. Там-то оно наверняка имеется. Впрочем, не знаю, дореволюционного издания у меня нет. В другом словаре на все буквы сплошь — одна иностранщина! Этим и до Ожегова весьма далеко, не то что до Даля. А тираж убойный. (Побольше моего-то, если говорить о «губернаторских» вологодских книжках...) Готовили словарь почему-то в Назрани, а печатали в Туле... Ничего себе! Я поспешно отбросил словарь, так как влезешь в него и не выпутаешься. Сколько раз так и было.

Поспешно перелистал начало пятого пушкинского томика, начал читать и так увлекся, что забылось про все на свете.

Какое дивное чтение! К примеру, несколько строчек о цыганах, что на двенадцатой странице. Или взять заметку о собственном пушкинском стихотворении «Демон». Так и хочется выписать целиком.

«...сердце, еще не охлажденное опытом, доступно для прекрасного. Оно легковерно и нежно. Мало-помалу вечные противуречия сущности рождают в нем сомнения, чувство мучительное, но непродолжительное. Оно исчезает, уничтожив навсегда лучшие надежды и поэтические предрассудки души. Недаром великий Гете называет вечного врага человечества духом отрицающим». (Два последних слова выделил Пушкин петитом.)

Ну кто из нынешних критиков осмелится и сможет сказать так: «поэтические предрассудки души»? Или: «Москва девичья, Петербург прихожая», «Сумароков лучше знал русский язык, нежели Ломоносов...»

Сколько всего на одной тридцать девятой страничке! Но вот и то, что поссорило моего знакомого с женой:

«Браните мужчин вообще, разбирайте все их пороки, ни один не подумает заступиться. Но дотроньтесь сатирически до прекрасного пола — все женщины восстанут на вас единодушно — они составляют один народ, одну секту». (Как евреи, добавил бы я сейчас, но дело не в евреях. Речь пока о женщинах.)

Вот от каких слов Пушкина едва ли не разрушилась семья моего приятеля! Да что там о других говорить, и у меня бывали подобные стычки, и не только с женой, но и с дочерью, и с родными сестрами. (Каялся даже на исповеди.) Не было таких стычек лишь с родной матерью Анфисой Ивановной и покойной тещей Марией Васильевной. В тем тут дело? Неужто дело в разнице воспитания? Но Мария Васильевна в молодости носила наган на бедре, выданный как активистке. Анфиса Ивановна всю жизнь прожила рядовой колхозницей. Значит, было у них нечто общее... В каком смысле? Обе, и мать и теща, олицетворяли русскую женщину. Мне представляется, что и Пушкин, говоря о женщинах, исключал няню свою, Арину Родионовну, из этой «секты». Представить няню Пушкина курящей трудно, хотя сам Александр Сергеевич иногда и покуривал. Когда-то, излагая свой опыт бросания курить, я говаривал курильщикам, что мужик, не имеющий воли бросить дурную привычку, слабее любой бабы... Похоже, в наше время многие женщины перешагивали мужчин в курении и публичном поглощении пива. (Надо знать, что алкоголизация населения как раз и начинается с дешевого и доступного пива.)

Кажется, что я уже готов сделать литературоведческую статью с названием «Пушкин и наркомания». Но нет, с самого начала я задумывал этот материал как статью (даже памфлет) о политике и рождаемости. Но что получится, то и получится...

Дня за два до встречи с приятелем я послал в Краснодар телеграмму:

«Многоуважаемый Николай Игнатьевич! Наберитесь мужества и отзовите Ваш отказ баллотироваться на предстоящих выборах губернатора. Этого шага ждут от Вас не только Ваши земляки, но и все простые труженики нашей Родины, оскорбленной и униженной либеральными реформами. Несомненно, Кубань под Вашим водительством подсобит встать с колен всей России».

Ответа не было. Кондратенко промолчал. Может, не получил мою телеграмму? Были ведь у тебя и подобные случаи. Например телеграмму Шолохову перехватили. Да ведь губернатору и необязательно каждому отвечать.

Кондратенко ответил выступлением в газете «Советская Россия» от 23 октября, как раз в день моего рождения. Надеюсь, многие вологжане читали этот номер. Но еще большее число вологжан получили упомянутый выше бесплатный «Пятачок», потому что у многих нет

средств не только на подписку, но даже на покупку одного номера. Этот «пятак», откормленный объявлениями, силой запихивали в мой почтовый ящик. Сначала мы подзревали почту, однако почтальоны в этой диверсии не участвуют. Как видите, слово диверсия пишу без кавычек, поскольку один «пятак» действует намного хуже тротила. Сколько раз я ругался с разносчиками и разносчицами этой рекламной заразы! Посулят, скажут, что не станут больше забивать ящик, нет, снова пихают...

«Пятачок» гигантскими буквами публикует вот какие поэтические шедевры:

«Мы выполним все ваши желания. Всегда у нас пять бутылок пива и шампанское бесплатно».

Заметьте, постоянное дьявольское слово, употребляемое разнообразными бесами: «бесплатно». Мамона-то знает, что делает...

«Пристрастившись к деньгам, — говорит Иоанн Златоуст, — неизбежно бывают и завистливы, и склонны к клятвам, и вероломны, и дерзки, и злоречивы, и хищны, и бесстыдны, и наглы, и неблагодарны, и исполнены всех зол». По слову того же святителя, жившего много веков назад, такие люди идут на обман даже в языке, все добродетели кличут на свой лад: «скромность неучтивостью, кротость трусостью, справедливость слабостью, смирение раболепством, незлобие бессилием».

Под проститутским воззванием стояла знаменательная подпись: «Гармония». Подумалось: уж не гимназия ли? Только что я послал туда сказку в стихах. (В сказке действует медведь, кот, лица и еще кое-кто.) Если ребяташки поставят по этой сказочке школьный спектакль, то я с радостью пойду в гимназию «Гармония» вместе с Ольгой Сергеевной — потомственным педагогом. Отнес я сказку и в кукольный «Теремок», ведь здесь ни разу не удосужились меня поставить, хотя живу в Вологде почти пятьдесят лет, и ставить было чего... Не вспоминаю о Государственном драматическом и о ТЮЗе. Нехорошо пропагандировать самого себя. Значит, я не подхожу вологодским лицедеям по таланту.

Вернемся к пресловутому «пятачку».

Гигантскими черными буквами и не менее крупной цифирью телефонов уляпана вся вторая страница, да и на третьей имелась добавка. Чьих телефонов? Да тех самых бл..., как их много веков называл русский народ! У Чехова есть рассказ о том, как друзья обучают студента ходить в публичный дом. Так вот, меня поразило то, что в тог-

дашной Москве этих заведений было меньше, чем в нынешней Вологде. Судите сами:

«Ночное randevу». Остановка по требованию для тебя и твоих друзей. 24 часа(+) 30 минут. Приглашаем на работу».

На какую работу? Ничего не понимаю, такой уж дурак уродился. Не понимаю, и все тут! До сих пор не знаю, о какой работе идет речь в «Пятачке». Особенно умиляет этот «плюс». А почему не «минус»?

Читаем «Пятачок» дальше: «Империя страсти», без комплексов. Приедем к вам», «Магис» (по латыни), «Дикая орхидея», «Эммануэль», «Шалунья», «Сандра» (опять по латыни), «Фея», «Красотка» и т. д. В серединке скромненько сообщение насчет шинного монтажа...

Слово «любовь» в русском народе никогда не употребляли для обозначения сексуального совокупления, которое называется обычной случкой. Да, это случка, если мужчина и женщина не были под венцом, на худой конец хотя бы в сельсовете или во Дворце бракосочетаний. На Западе даже Хемингуэй называл случку любовью. Но мы-то не Запад! Мы же православные люди. Многие из нас крещеные, хотя полно и нехристей, как говорят в народе.

Хотелось выйти на улицу и кричать на всю нашу Вологду: «Какой позор!!!» Какая мерзость, какая гадость для всего нашего прекрасного Севера, для всей России, для всех русских и нерусских женщин, живущих в Вологде! Какой позор для журналистов, учителей, всевозможных писателей, артистов, художников и художниц, для всех бюджетников и администраторов, коих ведут к новым рынкам наши губернатор и мэр! Какой позор и для поющих на храмовых клиросах, для всех выступающих в Домах культуры...

Почему все молчат? Ни звука, словно так и должно быть... Впрочем, говорят, что прощещено что-то самому Путину, конечно, прощещено на бумаге...

Иду на улицу, чтобы успокоиться, но на троллейбусной остановке около ТЮЗа висит красочная афишка, а на афишке малыш в возрасте первоклассника и взрослая девица спортивного вида. Мальчик оттянул у девицы подол выше пупа и рассматривает, что там имеется. Наверное, на афише коллаж, но все равно — гадкое зрелище... Вот это свобода! Демократическая, дорогой Вячеслав Евгеньевич. Разрешается делать все, что не запрещено законом. Не так ли, господа демократы?

«Стыд объявляется «отрицательным эмоциональным со-

стоянием», вина и раскаяние — тоже», — говорит О. А. Кольчугина в статье «Даешь секспросвет?!» (журнал «Свет», № 9). Но так называемое сексуальное воспитание малышей — это не мода, это прямое действие бесов. Жертвы моды рождают и дальше таких же жертв. Несть конца всему этому! Ни мужчины, ни женщины просто не думают о здоровье. Прочитайте, что говорит один ученый, автор статьи «Падение» в том же номере упомянутого журнала. Хотя в том же журнале «Свет» печатается множество всякой дьявольщины, почитайте эту статью. Как известно, дьявол маскируется и соседством с добрыми, то есть православными публикациями.

«Конечно, — скажет депутат-демократ, защищенный депутатской неприкосновенностью, — это и есть подлинная свобода». Неприкосновенность и начальнический ореол защищают подобного законодателя не хуже брони. Осмелюсь заявить: это совсем не свобода. Это порабощение. Это служение мамоне, иначе дьяволу. Почему, спросят, дьявол с маленькой буквы? Спросите у владыки Максимилиана...

И вспомнились мне покойные теща с матерью. Эти слова (теща — это Богом данная вторая мать) следовало бы писать с заглавных букв, что я почти никогда не делал... Вспомнились мне и строки в поэме «Мороз, красный нос», посвященной сестре Некрасова:

*Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц.
Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдет — словно солнцем осветит!
Посмотрит — рублем одарит!»
Идут они той же дорогой,
Какой весь народ наш идет,
Но грязь обстановки убогой
К ним словно не липнет. Цветет
Красавица миру на диво,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива,
Ко всякой работе ловка.*

...Перечитайте некрасовскую поэму, вологодские и все остальные женщины! Ей-Богу, это не помешает ни вам, ни вашим мужьям, ни сыновьям. Совсем не обязательно

каждой женщине входить в горящую избу или на скаку останавливать коня. Для этого есть мужчины (мужья, сыновья, внуки, деды). О них разговор нужен отдельный.

На этом я и хотел бы закончить свою статью. Но случилось это в субботу 5 ноября, в день праздника. Об иконе Казанской Божией Матери знают, наверное, все. То, что говаривали о русской женщине Н. А. Некрасов вкупе с Ф. М. Достоевским, тоже все знают. Но одного Пушкина иной раз достаточно, чтобы пересилить сразу двух классиков. Иной раз даже два-три русских классика не могут потягаться с одним абзацем из Пушкина. Поэтому не торопитесь, читатели, с выводами. Да и Николай Игнатьевич Кондратенко — могучий кубанский казак — тут слегка подсобил Пушкину. Сделаем небольшую выписку из его интервью «Советской России»:

«Не надо думать, что сионизм отступит. Нас на миллион каждый год меньше — это уже победа сионизма. Это значит, что завтра не будет детей у тех, кто сегодня не родился и умер раньше срока... И вот мне хочется сказать: врете вы, русские, что не знаете, что с вами происходит! Когда у вас завелись диссиденты, то каждую листовочку передавали из рук в руки, читали, верили, питали интерес. Это и было то, что называется — политическая активность масс».

Читайте и дальше страницу «Советской России» «Шапкой о зелье». И не торопясь думайте, только думайте головой, а не шапкой... Сами решите, ладно ли поступил Николай Игнатьевич, отказавшись от выборов, и правильно ли сказал А. С. Пушкин о женщинах «вообще».

ПОХВАЛА СОВРЕМЕННОМУ ДЕПУТАТУ (Вместо рецензии на книгу Л. А. Тихомирова)

Отчего в мире так много желающих стать хоть маленьким, но депутатом? Что двигает человеком в его стремлении к власти? Пытаясь разгадать эту загадку, читаю собственное депутатское удостоверение: ОБ № 11, 1989—1994. Сплошь гербы и печати. На голубом фоне мелкая неразборчивая горбачевская подпись. Чернила тоже голубенькие... С запоздалым тщеславием штудирую вставную карточку, подписанную Лукьяновым: «...пользуется правом бесплатного проезда...» Стоп! Вот, наверное, в чем дело. Да нет же... Перед своим депутатством я об этом не думал. Ни сном ни духом не ведал о таких привилегиях. Объяснение бесплатной ездой не подходит. Деньги, чтобы летать и ездить, были тогда свои. (Позже, правда, вошел во вкус, начал ездить, верней летать, бесплатно.) Нет, не то. Тогда что же дало первый толчок? А вот что: гостиница! Вспомнил про нее и... не стал противиться обстоятельству. Сколько трачено сил, сколько проглочено обид из-за этих столичных гостиниц! Приезжая в Москву, найти приличный ночлег было не так и просто. Ездить же приходилось частенько, литератора и тогда, как волка, кормили ноги. Получив депутатский мандат, я вздохнул свободно... Конечно, повлияло и некоторое тщеславие: надо же — депутат! Мать и жена во всяком случае гордились... И все же, главное было не в этом. Наивный человек, я искренне верил, что смогу сделать что-то полезное хотя б для крестьянства — самого терпеливого, самого забитого, но и самого надежного в государстве слоя. Не зря реформаторы его так активно вымаривают. Вот что двигало мною. По той же причине согласился и на членство в Верховном Совете. Открывался доступ в ЦК. Не по своим нуждам ходил я в Совмин, Н. И. Рыжков не даст соврать. Ну, а что двигало, к примеру, Шеварднадзе или же Соб-

чаком? Сие мне неведомо... (Но представить можно, кому и для чего дозарезу нужна была власть.) Вспоминая свою колхозную жизнь, исчезающие русские деревни, представляя погибших в годы раскулачивания, родного отца, лежащего на Смоленщине в **трех** могилах, наконец, припоминая сцены из повести Зазубрина «Щепка», я с тревогой проголосовал за отмену шестой статьи... Позднее выпросил у Лукьянова ротацию и навсегда покинул роскошный Кремлевский зал. «Почему? — спросит читатель. — Ты вот покинул, а другой занял...»

Потому, во-первых, что профессиональная деятельность никак не увязывалась с депутатской. Литературные планы трещали по швам. Потому, во-вторых, что надвигались новые, отнюдь не крестьянские времена. На мои выступления перестройщики то и дело шикали. Горбачев со спикером не допускали порой ни к трибуне, ни к микрофону. Суетливый «защитник» народа Черниченко не пригласил даже на свой дилетантский «крестьянский» съезд.

Сидел я в одном ряду с Ельциным — на переднем. Перемогал дни под самым носом у хищной птицы, называемой телекамерой. (Сия птичка, командующая целыми государствами, опасней, пожалуй, целой стаи «фантомов», которые нацелились бомбить беззащитных сербов.) Она планомерно, с дьявольским терпением водила своим носом по депутатским рядам. Положим, я ее не боялся, но надоела она до тошноты!

Нынешние депутаты не хуже меня знают об этих птицах... Наши «народные», такие, как Собчак, готовы были и ночевать вместе с телевизионщиками. Есть, вероятно, и сейчас эдакие. Они то и дело лезут прямо под ядовитую оптику, аж треноги с места сдвигают. «Но не все же в таких клетчатых пиджаках, как Собчак! Имеются в Думе и порядочные», — утешаю себя.

Нет, депутатам я не завидую. Не сладко ни прежним горбачевским, ни теперешним ельцинским, разделившим Думу на фракции, как во всяком европейском конвенте. Вон Анатолия Ивановича Лукьянова объявили натовцы лучшим европейским спикером (не будем спрашивать, за что). Но, когда пришло время, они же его и упрятали в «Матросскую тишину». Что хотят, то и творят.

Чему тут и завидовать? Лишь хасбулатовские депутатские пенсии смущают иной раз мою грешную душу. Но хасбулатовцы, хотя и не все, но выстояли под еринскими автоматами и грачевскими пушками. Слава таким! Так что пенсии **этих** депутатов можно считать заслужен-

ными. Признаюсь: я гослауреат, почетный академик каких-то трех академий, эксдепутат (и тэдэ, как говорится, и тэпэ) хасбулатовцам иной раз слегка завидую, потому что наша депутатская **генерация** пенсий себе не выхлопотала, а стариковская «стипензия», как я ее называю, тянет на один купейный билет до столицы. Правда, туда и обратно. Если ехать в общем вагоне или в плацкартном, то остается еще и на какую-нибудь книжку, вроде сборника Льва Александровича Тихомирова. Этот автор так интересно, так ясно пишет о русской государственности! Искренне советую **каждому** кандидату в депутаты прочесть хотя бы одну книгу Льва Тихомирова. Замахивающийся на президентское кресло (трон по-теперешнему) обязан прочесть две: одну про монархию, другую о демократии. Читал ли эти книги, например, господин Брынцалов? Очень сомневаюсь. Боюсь, что и другие пропустили...

Читатель «Парламентской газеты», вероятно, уже заметил, что автор переходит иной раз на иронический тон. Это отличительный признак перестроенной публицистики. Усвоили его и многие депутаты. Только кому нужны наши слова? Требуются дела. Митковы и киселевы, орудующие в телевидении, так нас заморочили, что для многих Россия стала вроде мачехи, и мало кто знает, что делать. У депутатов времени читать Тихомирова нет. Миллионы обычных людей только о том и думают, как бы прокормиться и одолеть еще одну зиму. Ах, сколько тысяч заброшенных деревень исчезнет опять с лица родной земли! Сколько стариков перемерет в промерзших деревянных домах! А черномырдинский газ течет да течет в Европу, отапливая жилища немецких и австрийских бюргеров. Сынки этих бюргеров, уже пристегнутые к сиденьям, наладились бомбить сербские города. Отцы этих летчиков-молодцов не забыты уцелевшими русскими вдовами. Что ж, неужели такова участь полуголодных русских вдов: обогревать европейские виллы, самим замерзать в дырявых избушках? Спивающимся их сыновьям тоже нет времени защитить своих матерей от холода-голода. Сыновья без усталости качают газ из Ухты в Европу.

Бюргерам — газ, нам — газировку и спирт «Рояль». Плюс жвачку и всякие сникерсы. Дело идет бойко. А я-то, дурак, будучи депутатом, однажды публично похвалил Черномырдина. Этот грех случился еще в ту пору, когда ЧВС только-только нацеливался на газовую промышленность. Выходит, накаркал я на свою же шею. Читатель «Парламентской газеты» позволит ли привести несколько

стих Пушкина? Эти строки пришли на ум, когда я снова думал о Черномырдине:

В лесах во время ночи праздной
Весны певец разнообразной
Урчит и свищет, и гремит,
Но бестолковая кукушка
Самовлюбленная болтушка
Одно ку-ку свое твердит.
И эхо вслед за нею тоже
Накуковало нам тоску!
Хоть убегай. Избавь нас, боже,
От элегических ку-ку!

Сравнивать Черномырдина с «певцом весны разнообразным» — соловьем — никто, наверное, не осмелится. Элегические трели Виктора Степановича известны за рубежом и дома. Этот Мирабо поразил нас всего лишь одной удачно сказанной фразой: «Хотели как лучше, получилось как всегда». Такой, право, шутник Виктор Степанович... Да и то, вероятно, выпрыгнуло случайно. Ничего он не хотел «как лучше». Депутаты показали ему на дверь — молодцы! И на том спасибо.

Что ни говори, а нынче мудрее пошел депутат. Хоть и на ходу, а научились и начали думать. Даже Владимир Вольфович не желает больше мыть сапоги в индийских водах.

Думает Дума, думает, хотя Черномырдин, не умея связать и двух слов, все еще метит на самую высшую должность. Пардон! И другие политики, примеривающие свои торсы к президентскому трону, тоже не менее косноязычны. Боже, «какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний». Опять вспомнился Пушкин. Не хватало нам еще брежневского отпрыска, объявившего себя генсеком новой непонятной партии. Этот, вроде бы, хоть в президенты не метит. Но поди знай. И мерещится каждому, что избиратель его поддержит... «Электорат» же, как теперь кличут нашего брата (рядового митковско-киселевского зрителя) опять в растерянности. За кого голосовать хоть бы и в 2000 году? А вдруг Ельцин каким-либо «непредсказуемым» способом оставит согретое место?

Друзья-депутаты, а не пора ли и отменить заемную у Запада конституцию, вычеркнуть из нее нерусскую президентскую должность? Не пришло ли время и об этом подумать?

Но теперь не тут-то было. Товарищи из межрегио-

нальной группы зря что ли совершали переворот? Не с бухты-барухты они вводили всяких префектов, мэров, президентов. Смердяков, — извечное чадушко Лизаветы Смердящей, живет и здравствует... Чужебесие, особенно в таких столицах, как Москва, Киев и С.-Петербург, по-прежнему главная язва в нашем характере (менталитете, как принято говорить у реформаторов). У нас, как заметила одна старушка, «то коммунизма, то капитализма». «Не время ли России уж и по-своему жить?» — добавил бы аз грешный. Сколько же еще попугайничать? Сколько лет еще прискакивать на запятки трясучего европейского тарантаса?

Думаю, что еще долго будем цепляться за сей тарантас... Прежде, чем оставить дурную подражательскую привычку, надо избавиться хотя бы на время от митковых и киселевых, то есть от электронного Смердякова. Без этого нам не научиться беречь матерей и мужественных генералов, каким был расстрелянный Рохлин.

Увы, полуголодный и полубоморочный «электорат» часто предпочитает иных генералов, кои сродни кукушкам. Эти даже военную службу называют работой. Можно ли представить Суворова, Багратиона, Скобелева **на работе**? Они **служили** Отечеству! Работали мужики, крестьяне и мастеровые, они и генералов своих содержали худо-бедно сытыми. А главное — в чести. Теперь вот и прокормить мы не в силах своих защитников. Глядя на птичьих генералов, лейтенанты, к удовольствию киссинжеров и бжезинских, начали палить в собственные виски. Солдаты, по примеру старших, тоже не служат, а **работают**, хотя и под бдительным оком собственных матерей.

До государственного ли строительства в таких условиях и членам Федерального Собрания? Тихомирова им читать нет ни времени, ни желания. Хоть с «кукушкой» управились и то добро... С другими птицами справятся ли?

Думаю, что и более образованные, чем господин Брынцалов, не ведают, что такое **три вида верховной власти** и в чем разница между ними. Я тоже узнал об этом лишь недавно: книги Тихомирова о государственном строительстве достать не так-то и легко. Это сексуальные опусы в удручающем изобилии лежат на каждом углу. Глава комитета Говорухин ни в какое «отхожее» место эти шедевры реформированной нравственности не загнал и, судя по всему, не законит, хоть и посулил.

Сулить-то мы все мастера. Чего только России не посулил Б. Н. Ельцин еще тогда, когда он президентом не

был и командовал сошедшей во мглу истории депутатской группой (Афанасьев, Попов и прочие). Однажды я попросил у Бориса Николаевича аудиенции для краткого разговора. Последовал широкий жест: «Пожалуйста!» Я простодушно сказал, что хотел бы поговорить с ним о крестьянстве и сионизме. Лицо его вытянулось. Борис Николаевич замолчал, как рыба. Я понял, что встреча откладывается и, вообще, вряд ли состоится. (Если б она состоялась, может, и моя «стипензия» была бы примерно такая же, как у Марка Захарова. А то и побольше. И я издал бы сразу шестнадцать томов.) Господь спас. Да и зачем бы мне сразу шестнадцать? На такую кучу у меня и матерьялу не хватит, а для поддержки штанов достаточно бы и одного тома, который хотя и издадут, да почему-то не издадут.

Похоже, опять жалуясь. Прикусить бы язык! Что значит моя персона, если... Не будем уточнять, что следует за этим «если». Все, кто смотрит на мир не птичьими глазами телекамеры, а своими очами, о происходящем в стране и в Москве знают великолепно.

Недавно я, подобно господину Тополу, который увещевал банкира Березовского, обратился с увещеваниями сразу ко всем столичным жителям. На мое обращение Москва и ухом не повела. Чего уж с банкиров-то спрашивать? Банкиры не внемлют предостережениям...

За что почти все мы так любим Москву? Перечислю, за что я лично беззаветно любил ее. Ну, первым делом за то, что она была столицей. За университет, за ее высшие учебные заведения, за обилие музеев, за ее удивительную архитектуру. Да мало ли за что мы любили столицу? Чего стоило одно добросердечие московских теток. «Просвирни», у которых учился когда-то русскому языку А. С. Пушкин, живут и в нынешней Москве. «Ну, а за что ты ее разлюбил, Москву-то?» — спросит веселый циник из какого-нибудь «Телеграфа» или «Общей газеты». Во-первых, за попытку предать Родину, отделиться от России, обособиться. Иначе зачем бы Москве свое, отдельное т. н. **правительство**? Хорошо ежели Лужков пресечет эту попытку. Но позволят ли олигархи сделать это благородное дело?

Как легко сбиться с благодушного и даже иронического тона среди сплошной купли-продажи, среди нескромного изобилия забугорной лексики, среди жалких челночных толп, милиционеров, бандитов, иностранных шпионов, журналистов, проституток. И... собак. Особенно разлюбил я столицу за латинский шрифт и рекламу. Мы забываем, что

Москва строится,
Москва торгует,
Москва пресмыкается,
Москва хамит...

Так за что ее нынче чествовать и любить нынешнему провинциалу, т. н. «россиянину»? Ведь иному реформатору произнести слово «русский» — и то головная боль. У Ельцина во всяком случае язык никак не поворачивается выговаривать это ненавистное для космополитов слово. У него эта болезнь еще с тех времен, когда он сидел в обкомовском кабинете г. Свердловска. Подражая Борису Николаевичу, и москвичи слово это не то что бы разлюбили... Подзабыли. Не все, конечно.

Москва-то действительно строится, пожалуй, не хуже, чем во время строительства коммунизма. Роскошные жилые дома с гаражами и башнями для новых миллиардеров, банки с причудливыми архитектурными излишествами, памятники а-ля Церетели, подземные и наземные дворцы. Бульвар километра на два (Сиреневый) как по мановению волшебной палочки, огородил ажурной чугунной оградой, бетонируют, асфальтируют, сажают цветы и деревья (бюджет целой области на один такой бульварчик). Средняя пенсия больше, чем вологодская, платят, по-моему, всегда в срок. Гонконг? Государство в государстве? Похоже на Гонконг. Свои законы, свои адвокаты-судьяжники, свои банки и банды. Горы арбузов и дынь. Кавказ командует не на одних только базарах. Он, Кавказ-то, стреляет, поет и пляшет лезгинку. Благодарит генерала Лебеда за отрыв от России Чечни и Молдовы. Или наоборот: Россия отделяется от Чечни и Молдовы?

О фокусах, которые вытворяет московская пресса вкупе с телевизией, и говорить стыдно. Жену А. С. Пушкина, например, называют «мадмуазель Натали». Как, наверное, трепетала и кипела душа великого поэта, когда на конкурсе десятиклассников калужские культуртрегеры и корреспондент ОРТ переименовали Наталью Николаевну в «мадмуазель», сделали ее француженкой! Проглатывает Дума и другие сюрпризы. Как не вспомнить гневные строфы Лермонтова, которого по-прежнему, как огня, боятся «надменные потомки известной подлостью прославленных отцов». Но таких тонкостей слушатель т. н. «русского» радио просто не замечает. Словом, господа-реформаторы пыгаются хитростью отобрать у русских Москву... Сопротивляется ли мэр Лужков? Вроде бы, да. Но банки-

ры с двумя подданствами (может, у иного и три подданства?) лицемерно празднуют 850-летие русской столицы.

«Как вы относитесь, например, к рекламе?» — спрошу я незомбированного, т. е. нормального человека. Хотя депутатский корпус и опирается на западное отношение к этому новейшему для нас явлению, реклама у нормально-русского вызывает рвотное чувство. «Как? — тотчас завопит реформатор. — Весь мир нуждается в информации и рекламе, реклама — двигатель торговли, а без торговли нет никакого прогресса». Однако лишь круглому дураку неясно, что информация и реклама совсем не одно и то же. Разница между ними самоочевидна. Пошлая, иногда и развратная реклама с дьявольской хитростью маскируется, прячется за информацию и беззастенчиво лжет, дезинформирует человека. Это орудие дьявола, а не Бога.

Вся Москва заляпана рекламой, не жалко кому-то ни дорожкой бумаги, ни лучших красок. Щиты, пропагандирующие табак, торчат на улицах повсеместно. (Жалкие приписки о вреде курения выглядят лицемерно.) А какой высокой чести удостоена в Москве алкогольная отравка человеческих нервов и крови! Венечке Ерофееву ставят сразу два памятника. Нет, не напрасно демократы сделали алкоголь орудием оглушения наравне с телевизором. Весь мир везет на Русь-матушку ядовитую жидкость, а президент преследует генерала Николаева, пытавшегося останавливать и возвращать восвоися цистерны с ядом. Генералу пришлось погони и спрятаться в Думе... Со всем недавно реформаторы в числе продовольственных товаров числили «спирт питьевой». Эх, сколько душ не досчитала Россия, угощающая своих граждан таким продуктом! Призывы академика Углова и других ученых депутаты покамест не слышат. По-видимому у них, как у девушек из пословицы, «уши-то завешаны золотом». Забота пока одна: доллары! Помню мужика, просившего в долг денег в соседней избе. Топилась маленькая печка. Мужики, сидя у этой печки, решили закурить. Просивший в долг свернул сигарку, вытащил коробку спичек и чиркнул спичкой, прикурил. Хозяин говорит: «Нет, парень, не дам я тебе в долг». Кочергой выкатил из печки уголек, взял в задубелые пальцы и прикурил свою сигарку. Хотя и спички в кармане брякали...

Вспоминаю этот эпизодик при каждом западном транше...

И ВОЗНИКЛА МОДА

При отмене властью обряда крещения люди сами стали давать имена младенцам. Возникла мода на некоторые христианские имена. Кое-кто из ярких безбожников начал имена выдумывать, конструировать, но фантазия иногда отказывала родителям, и новорожденный нередко получал самое нелепое имя. Не имя — кличку! Мерзость язычества соприкоснулась с русским народом... Грешный я человек, хоть и знаю кое-какие молитвы Господу... Сравниваю я моду с проказой человечества. Она ядовитой ползущей плесенью покрывает весь земной шар. Можно ее сравнить и с чумой, которая еще в древности выкашивала миллионные толпы. Бродит эта чума по всем островам и материкам. Она не щадит никаких народов. Кроме религии ее ничто не страшит, ни века, ни тысячелетия...

В минувшем столетии ее вежливо называли «отблеском нравов известных времен...» Всего лишь отблеск времен! Ни больше, ни меньше. На глубоко религиозного человека мода не влияет, тут ее вирус не действует, но и в среду миллионов верующих она проникает. Примеры? Пожалуйста! Межконфессиональная борьба никуда не делась. Мода на чужебесие преследует русских, может быть, от времен Александра Невского до дней Путина.

«Как сладостно отчизну ненавидеть!» — взывает поэт Печерин, подражая самому Смердякову, хриплому рупору общего врага человечества. У Печерина до сего дня имеются подражатели. Мода на дьявольщину не исчезает.

Народная, то есть национальная жизнь чужда моды, такая жизнь буквально во всем естественна. Мода, проликая в народную жизнь, подобна червю, оставляющему за собою гнилое выеденное пространство. Мода противоречит народной жизни во всем буквально: в искусстве, в еде, в музыке, в одежде. Особенно в одежде, и особенно в женской одежде. Трудно преувеличить в этом деле влияние на народ средств массовой информации, т. е. телевидения, красочных газет и журналов, выпускаемых доморощенными и привозными бесами в громадных количествах. За какой-то десяток перестроечных лет отучена,

к примеру, от национальной одежды целая нация. Русские женщины перестали быть русскими, превратились как бы в китайнок. Они не обращают внимания на то, что дешево и красиво, что дорого и нелепо, что хорошо, что плохо... Лишь бы выглядеть «модно». Для кого, для себя или для мужчин? По-моему, для иных женщин... Они убеждены, что ходить в брюках удобно, значит, можно. Женская подражательность в одежде потрясающая: тут мода просто свирепствует, не признает ни такта, ни здравого смысла. Например, откуда взялась мода на пиво и курение? Даже верующие женщины и девушки иногда забывают, что в Библии сказано четко и ясно: «На женщине не должно быть мужской одежды и мужчины не должны одеваться в женское платье, ибо мерзок перед Господом Богом твоим всякий делающий сие».

Какой «отблеск нравов» останется от нас хотя бы через тысячу лет? Разбираться, что такое хорошо, что такое плохо в национальной, т. е. народной жизни мы до сих пор не научились. Находимся, так сказать, в детском возрасте... Под влиянием дьявольских сил наш народ заигрывает с бесовской властью, нет у нас четкого понятия об иерархии духовных и прочих наших врагов! Четких понятий о соращениях, об искушениях. Увы, нет. Процесс апостасии не остановлен, хотя и построен в Москве грандиозный храм во имя Христа Спасителя.

Надо бы еще и признать, что существует просто мода на моду... Автор не богослов, он обычный верующий, но осмеливается утверждать хотя бы, откуда пошла «мода на моду», какого она родства, кто ее породил, нашу духовную разногласицу... Итак, «мода на моду». Что это значит? Знать бы звучную, незаменимую латынь, я тут же сказал бы еще короче. И быть может, это выражение стало бы пословицей, его поняли бы даже студенты техникумов. Но латынь названа мертвым языком и убрана из программ просветительских. Русский язык от этого ничуть не выиграл, смею думать, французский тоже... Латынь дисциплинировала все европейские языки. А реформирование русского привело в конце концов к его обеднению. Уже ителлигентские дамочки, торгующие породистыми шенками, отменили русские слова кобель и сука, назвали одного мальчиком, другую девочкой. Такие, право, блюстители нравственности! Они не прочь бы смелить и кириллицу на латынь (что и происходит на Балканах), да народ пока не готов к такому закону.

Мода менять родную веру на чужую, мода отказывать-

ся от собственного алфавита существует даже у некоторых «крутых» мусульман. Я вижу в такой моде некоторую подпитку межконфессиональных свар и даже чеченской войны. Точь-в-точь, как с народной музыкой! Не знаю, есть ли у меня право обличать, кажется, есть. (Не буду выписывать страницу из Иоанна Златоуста, чтобы подтвердить право на обличительство.) Впрочем, одного обличительства, когда говорят о моде, явно маловато. Не мешало бы присоединить к нему и эстетику. Художественная грань «магического кристалла» затронута в моей заметке, напечатанной в «Русском доме».

Мода на чужеземные обычаи, несомненно, сильна и, на мой взгляд, весьма зловредна для православного, воцерковленного человека, это не надо и доказывать. Но говорить о моде в политике приходится то и дело... О моде на инородную экономику надо писать отдельно, хотя суть ее та же, что и прочего чужебесия.

К несчастью, появилась уже и мода на бесстыдство. Что может чувствовать здравомыслящий человек при виде целующихся на улице, да еще демонстративно? Наверное, отвращение, больше ничего. Понятие стыда никому, наверное, не надо объяснять и разжевывать. Увы, кое-кому надо и объяснять, и разжевывать, поскольку мода на бесстыдство внедрилась каким-то образом в человеческий быт и даже в профессиональное искусство, а не только в стихийно-народное. О народной музыке и музыкальных инструментах мне уже приходилось и говорить, и писать. (Не буду повторяться, хотя и следовало бы, потому что разложение общества и разрушение государства происходит сейчас больше именно через музыку, нежели через печатное слово.)

Однако бесстыдство, в том числе музыкальное, не ходит по миру без помощи печатного слова. И тут сразу приходит на ум реклама. Моде на потребление наркотиков, к примеру, на женское курение и на молодежное пиво, моде на проституцию подвержены больше женщины (словечко «проститут» еще не вошло в быт, но «сутенер» давно в действии). О рекламе и средствах массового оглупления граждан следовало бы создавать целые научные диссертации, достойные самых престижных премий. Только даются-то награды, скорее, наоборот, т. е. тому, кто самый нахальный. Судите сами: все ведь теперь на виду...

Конечно, с позиции либерализма всех рассуждающих подобным образом следует называть не менее как духовными санкюлотами, мизантропами. Стоит сказать против

дурной моды, — хотя все моды подряд дурны, и вас тут же те же газетчики «МК» обзовут мракобесом. Либерал-демократ готов обвинить в обскурантизме любого, кто осмеливается проявить голос, кто думает не по-сатанински, а по-христиански. В глазах либерала ханжой выгладит и монах, и священник. Возьмем женскую, особенно русскую женскую приверженность к чужебесию. Стоит хоть слово сказать о коротеньких, едва дотягивающих до ягодичек юбчонках, и тебя тут же обзовут отсталым, некультурным либо обскурантом, то есть противником прогресса вообще. Между тем такие юбчонки, да еще на широте, коя соответствует отрицательной среднегодовой температуре, приводят миллионы прекрасных здоровых девушек в урологические кабинеты. Такие моды, игнорирующие зимний мороз, лишают миллионы людей счастья деторождения и здорового супружества. Увы, либерал за такие слова сочтет по меньшей мере противником женского равноправия. Но какое же тут усмотрено равноправие? Право на продолжение рода принадлежит не одним женщинам-суффражисткам, но и мужьям нормальных женщин.

Оставим пока не только нравственную, но и медицинскую сторону нашего разговора. Не дай Бог, могут приписать автору «сексуальную озабоченность», кто-кто, а либералы-то приклеивать ярлыки мастера. Умеют, ничего не скажешь...

ДРЕВО ЗЛА

Однажды отказалась Россия от обычного двенадцати-месячного, то есть годового, отсчета времени. Решительно перешла она сразу на пятилетний отсчет. Размах получился необычайный!

Пятилетка, пятилетка,
Пятилетка, молодежь.
Из-за этой пятилеточки
В сыру землю уйдешь.

Так пели девчонки, которых заставили рубить и возить тяжелые бревна, ночевать в лесных бараках вместе с мужским полом. Примерно тогда же родилась и другая девичья песенка:

Задуманная подруга,
До чего мы дожили,
Из-за честности на девушек
Налог наложили.

Пятилетки пташками полетели над нами. «Сократились века!» — говорили православные люди. Пятилетние порции отсчета быстро устарели, и Россия, подтверждая правоту Иоаннова откровения, быстро перешла на семи-летний отсчет.

Да, время — философская, вернее, религиозная категория. С такими понятиями шутки плохи...

Почему я говорю об этом? Еще в начале 80-х годов в статье «Против зеленого змия» пытался я сказать, какое великое древо зла вырастает на русской земле, как быстро и глубоко пускает оно в нашу землю свои корни, как много мерзких плодов цветет на его ветвях, овеваемых безбожными вихрями. С тех пор проскочили три пятилетки. Интернациональная власть и ее троцкистское окружение не только не рубили зловещие корни дерева зла, но всячески удобряли безблагодатную почву. Зеленый змий с каждым годом все комфортнее устраивался в кроне, укреплялся на мощных его ветвях, и русский народ не знал, каким топором рубить это могучее древо зла и страданий.

И впрямь с какого боку подступиться, чтобы срубить и спастись? Нельзя говорить, что не было опыта, что народ сам виноват. Неправда, опыт был! И этот опыт всегда исходил из православной веры. Впрочем, еще до святого креста, поставленного на киевских горах апостолом Андреем Первозванным, — у русских язычников не было пиетита перед хмельными напитками. Эту истину доказывают былины и народные песни, дошедшие до нас из глубочайшей древности. И напрасно приписывают св. Владимиру высказывание по поводу пьянства, дескать, с него пошло это «веселие на Руси» есть питье. Клевреты зеленого змия изощрены в демагогии. Они намеренно забывают, что св. Владимир, говоря о красоте и веселии, говорил о вере не зря же он и избрал для русских как раз Восточное Христианство. Не позарился он на латинскую веру или на мусульманскую, позволявшую объявлять джихады. И тем более не мог позариться он и на иудейскую. Знал он или только чувствовал разницу между иудейским законом и благодатью? О той потрясающей разнице между законом и благодатью, о которой так вдохновенно и так ясно сказано митрополитом Илларионом в своем «Слове», многие православные не знают и до сих пор, особенно те верующие, которые склонны к экуменизму. А в более поздние (передние) времена разве не боролся народ со своим губителем — зеленым змием и с древом зла? Припомним хотя бы созданную русским народом убийственную сатиру на пьяниц, сатиру на тех, кто способствовал — спаиванию: о власти ли предрежущих речь, о монахах ли, о белом ли духовенстве, допуславшем пьяные праздники. Так что не надо сваливать свою собственную личную беду на народ. (Это я говорю о пьяницах-патриотах, о пьяницах-демократах, о любой власти, начиная с монархической, которая держится на пьяном бюджете. Нет, народ испокон веку как раз боролся с любым зельем, табак это или водка, или гашиш, или новейшая наркотическая химия.

Всегда пили? Чушь! Во-первых, не всегда и далеко не все, во-вторых, и сами пьющие проклинали зеленого змия, как соловья-разбойника, угнездившегося в кроне дерева зла. В этом смысле не лишним будет сказать, что происходило в народе и государстве русском, когда шла война с Германией и царь Николай, ничуть не боясь за государственный бюджет, разрешил бороться с зеленым змием самому народу. И народ разделался со своим мучителем по-своему, жестко и определенно: то есть установил сухой закон. А как было иначе?

Вот как говорилось в своде морских правил поморов — Устьянском правильнике: «Всем ведомо и всему свету давно проявлено, какая беда пьянство. Философы мысль растрясали и собрать не могут. Чины со степеней в грязь слетели. Крепкие стали дряблыми, надменные опали. Храбрые оплошали, богатые обнищали. Вняться надобно всякому мастеру, какова напасть — пьянство. Ум художному человеку губит, орудие портит, добытки теряет. Пьянство дом опустошит, промысел обгложет, семью по миру пустит, в долгах утопит. Пьянство у доброго мастера хитрость отымает, красоту ума закоптит. А что скажешь пьянство ум веселит, то коли бы так кнут веселит худую кобылу».

Как раз так, а не иначе рассуждала вся Русь! Но бесы в образе интеллигенции не были бы бесами, если бы согласились с «Устьянским правильником». Именно они, бесы, водят руками талантливых поэтов и тянут за язык известных лицедеев-актеров:

Водка что ли еще? И водка!
Спирт горячий, зеленый, злой!
Нас качало в пирушках вот как,
С боку на бок и с ног долой!

Другой поэт осмелился задать вопрос целой России:

...Почему сыны твои, Россия,
Больше всех на свете водку пьют?

и сам же отвечает:

Не надо удивляться,
Наши деды по нужде, поверь,
Пили столько, что опохмеляться
Внукам их приходится теперь.

Увы, такому поэту верить нельзя, он пьющий! Как ловко свалил на дедов! Можно и не ходить на исповедь... Оба цитируемых поэта и все лицедеи принадлежат русской интеллигенции. Их деятельность известна всем, а вот «Устьянский правильник» упрятан был так плотно, что его и сейчас не найдешь. Спасибо покойному Борису Шергину, он вспомнил про опороченных пьяницами дедов.

Более пятнадцати лет тому назад автор этих строк в статье «Акциз» говорил, что вокруг каждого пьющего по мере его духовного и физического разложения всегда

возникает опасная зона. Поначалу родственники любят его, как и раньше. Затем начинают жалеть. Но порою жалость сменяется презрением и даже ненавистью. Жалость и ненависть в одном сердце! (Например, в сердце жены или сына.) Что может быть взрывоопаснее подобной смеси? Рано или поздно в таких сердцах происходит взрыв. Люди, близкие пьянице, и те, что около, жестоко страдают, приобретая физические болезни. А ему хоть бы что! Он даже не замечает, что родные вокруг него стали большими именно из-за него...

Кому не ясно, что зеленый змий вонзает свое жало прежде всего в семью? Но пьющие генералы и лейтенанты, пьющие депутаты и министры, пьющие врачи и банкиры не замечают этого именно потому, что они **пьющие**. Они никогда не защитят институт семьи. Жены и матери напрасно надеются на пьющих, потому что для пьющих не существует понятия личного греха пьянства.

Змий жалит безжалостно и беспощадно. Дерево зла, как пушкинский анчар, брызжет ядом. Через болезни, через спид, через наркотики сеет это дерево смерть в нашем народе. Его мощные отростелья раздваиваются, разветвляются на десятки и сотни более гибких, но таких же ядовитых ветвей — и каждую веточку бережно холят либералы и демократы, покоровившие нашу прекрасную родину!

Но вот появились у народа такие подвижники, как академик Федор Углов, новосибирские профессора, такие совестливые борцы против змия, как Вл. Жданов. Деятели православной культуры, науки и экономики, искусства сомкнули ряды на основе православного христианства. Наши враги, конечно, сразу почувствовали опасность... Всколыхнулись все сатанинские силы, завопили все бесы, вплоть до Евтушенко: «Как? Новый год и без шампанского? Долой их всех, красно-коричневых заступников нравственности!» Все газетчики, все телевизионные оракулы просто взвились, завопили и завизжали. Дивно ли то, что о «сухом законе» 16 года во время войны до сих пор мало кто знает. А если и знает, то не верит, что народ вводил этот закон повсеместно.

Уже при Горбачеве либеральная шпана превосходно знала, что Россия, обольщенная и покоренная бесами, нехотя прослужившая им лет сорок, может в любую минуту очнуться. Дьявольская задача была в том, чтобы не дать ей отрезветь. Ведь, очнувшись, народ снова будет служить Богу. Скрытые троцкисты и их новые последователи потому и подсунули народу горбачевский указ

1985 года. Народ уже открывал глаза на троцкистскую революцию, на масонов и мировой заговор против России. Не дать отрезветь до конца! Не позволить самим русским распорядиться своей судьбой! Своей верой! Своими идеалами! И явилась тут так называемая перестройка. В этом был смысл и самого Горбачева, и его указа по борьбе с пьянством...

Горбачевские перестройщики — наследники Троцкого — сплывали государственную власть пьянчуге Ельцину, предали и продали все, что можно продать. И началась вакханалия, разруха. Началось еще **большее** государственное спаивание всего населения, «процесс пошел». Спости ельциноиды уже и многих женщин, даже они, женщины, вернее, многие из них, махнули рукой сами на себя... И война, и спид, и проституция, и бездарные генералы, и безработица, и секты, если говорить о религиозном сознании, — все связано, все выросло на дереве зла! Наркотикам дает дорогу дешевое молодежное пиво, безработица плодит новую безработицу, сидельцы-кабатчики плодят бандитов и думских сидельцев. В Федеральном Собрании много ли трезвенников?

Чтобы осмыслить все, что происходит в нашем Отечестве, надо прежде всего выбраться из безбожного электронно-мозгового телевизионного облучения. Выключи телевизор, если не можешь поставить телевидение на службу народу, а не против народа! Способны ли мы сделать это? Если судить по трем президентам, Федеральному Собранию, по депутатскому корпусу, то пока не способны. Бог пока не простил нас, слишком долго кланялись бесам, которые во плоти. Потому и послал Он нам испытания...

ОКОПЫ ТРЕТЬЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Жутковато произносить эти слова, но их надо произносить снова и снова. Произносить открыто и честно: в России в разгаре третья Отечественная война. (ВОВ, как выражаются уцелевшие ветераны второй Отечественной в своих письмах и жалобах.)

Эта зловещая аббревиатура (3-я ВОВ) скользит пока по поверхности общественного сознания. Народ прячется от нее разными способами. Кто втягивает голову как от летящего булыжника, кто нарочно подставляет ее под алкогольные еще более меткие удары.

Не очень-то прилично ссылаться на авторитеты, но, насколько я помню, впервые мысль о третьей Отечественной публично высказал академик И. Р. Шафаревич. Озвучена, как любят говорить депутаты, эта мысль кинорежиссером Антоном Васильевым в кинофильме «3-я Отечественная».

«Когда же она началась по вашему просвещенному мнению?» — ехидно спросит какой-нибудь демократ. Мне думается, началом ее можно назвать государственное предательство нашей незабвенной троицы: Горбачева, Шеварднадзе и Яковлева. (Впрочем, питерский кинокритик Марк Любомудров считает, что Отечественная война идет с 17 года. При таком отсчете борьба России за выживание в 41—45 годах становится как бы частью общей полувековой борьбы. Скорее всего так и есть.) Однако Великую Отечественную из истории не похеришь никакими ни патриотическими, ни демократическими чернилами.

Историкам давно бы пора разобраться в событиях российской истории хотя бы восьмидесятилетнего периода.*

«Ну, а чем вы докажете, что третья Отечественная война уже идет? — снова скажет нынешний либерал или

* Мужественные попытки такого осмысления делает в своих работах К. Г. Мяло. Нынешние года она называет завершением т. н. «Петровского периода», увенчанного нашим государственным поражением. («Москва», № 11, 96 г.)

демократ. — Это бездоказательное заявление, а за слова надо нести ответственность...»

Господа либералы, демократы и благодушные патриоты, откройте же наконец глаза! Протрите их каждый своим знаменем, будь оно красным или белогвардейким, или триколором «незалежности»! Или вы нарочно закрываете свои очи, чтобы не краснеть от стыда? Распечатайте тогда хотя бы уши, заложенные густым враньем телевизионных оракулов.

Академик И. Р. Шафаревич называет нынешнее состояние России третьей Отечественной войной. Конечно, демократы, обладающие тотальной властью не только в нашей стране, а чуть ли не во всем мире, сделали все возможное, чтобы слова всемирно известного математика остались никому не известными.

Даже самый беспомощный лепет какой-нибудь демократки типа мадам Новодворской стремглав несколько раз облетает вокруг Земного Шара. Или взять худосочные мысли «специалиста» по правам человека, известного русофоба С. А. Ковалева. Этому в эфире зеленая улица и говорить позволено все что взбредет в голову. (Не так давно, отвечая на вопросы Сванидзе, Ковалев назвал белорусского президента ничтожеством, т. е. приписал ему собственные свойства.) Девятостолетнему академику Лихачеву тоже почему-то разрешалось говорить не только на всю Россию, но и на весь мир, а вот Шафаревичу не разрешается.

Но ведь фигура умолчания сама по себе красноречива! Она бывает красноречивей вслух сказанного...

Все это уже давно ясно и нечего сто раз про себя твердить отчего так происходит. Но может в сто первый раз хоть кому-нибудь стоит напомнить, что цензура большевистская (сталинская) и цензура нынешняя (демократическая) это одно и то же — обе из одного корня, из западного. Пожалуй демократическая-то будет похитрее, поизощренней. Задушить правдивую информацию трудно, однако, возможно, если не с помощью автоматов, как это было у Останкина в 1993-м, то с помощью долларов или немецких марок, что и происходит.

Но не так уж сильна цензура, если академик все же сказал, а режиссер даже снял целый фильм, и многие люди смотрели этот фильм. (Я, например, видел эту ленту в Иркутске.) Так почему же не бьют в набат наши новые и старые колокола? Почему не скачут нарочные по проселкам на взмыленных конях? Отчего вместо плаката

«Родина-мать зовет!» на каждом шагу торчит реклама да еще и на чужом языке? Отчего пусто у подъездов областных и районных военкоматов? Ни очердедей, ни женских слез, ни материнских, ни девичьих... Впрочем, слезы-то есть. Но есть и КСМ*. Или Россия уже погибла, оставила только след по себе в газетных названиях?

Нет, Россия покамест жива... И русский народ сопротивляется очередному нашествию. Просто люди все еще не желают верить в то, что случилось. Они отмахиваются от слова «война» как от надоедливого комара. Не верят в эту военную действительность, боятся признаться, что надвигается катастрофа. Благостные иллюзии все еще витают над нашей страной. По-детски жмурятся люди, чтобы не видеть страшной картины. Другие более активны, пытаются бастовать, т. е. не ходить на работу и тыкать в буржуев портрет Ленина. Третьи уцепились за европейскую форму протеста — за голодовку. Четвертые пьют горькую либо вообще кончают самоубийством.

Этот последний способ совсем уж непостижим!** Безденежный офицер, по праву закона обладающий оружием, вместо того, чтобы, защищая семью, стрелять во врага, стреляет в свой собственный висок. А дьявольский рык голосами журналистики внушает самоубийце: какой героический поступок, как это благородно, покончить с собой, как это мужественно... Выходят даже книги о способах самоубийств, и тут цензура бездействует, дескать, у нас свобода, каждый, дескать, имеет право добровольно уйти из жизни...

Какая чудовищная ложь! Недавно один известный писатель доказывал мне, что человек имеет право на самоубийство. Типичное мнение атеиста. Нынешняя патриотическая вроде бы «Правда» вешает, пропагандируя дьявольскую романтику: «Какая еще там жизнь? Он уже все решил, мгновенно пришло решение... С начинающим полетит. С начинающим станет прыгать. Но... камнем пойдет».

* Еще одна аббревиатура, немыслимая ни в первую Отечественную, ни во вторую. Комитеты солдатских матерей наводят на многие мысли.

** «...Технологи холодной войны сумели, используя достижения психологии XX века... побудить страну в лице ее общественного мнения к прямой самосатанизации, к восприятию себя как олицетворения всемирного зла ("империя зла")...» — пишет К. Г. Мяло. Она называет подобное действие «побуждением к самоубийству», если говорить о «межчеловеческих отношениях» и добавляет, что не видит «причины называть подобные действия в отношениях между странами иначе».

Вот и шел бы камнем сам автор повести «Рок» или сам журналист, и то это было бы величайшим грехом. С точки зрения православного русского они бы продали душу дьяволу. Настоящие русские даже хоронили самоубийц за пределами церковной ограды. В православном, т. е. в русском сознании, что убийца, что **само** убийца, — одно и то же. Разницы нет!

Но вернемся к теме третьей Отечественной. Сколько времени она продлится? Ретроспекция здесь вполне уместна, поскольку речь идет о жизни и смерти Российского государства. Возможно, страшно сказать, третья Отечественная станет для России последней и гибельной. Возможно, мы снова устоим на ногах. Первая Отечественная продолжалась всего шесть месяцев. Вторая тянулась без мала четыре года. Сколько продлится третья — известно лишь Богу.

Но что такое Отечественная и что значит вообще война? Философский словарь под редакцией И. Розенталя (1975 год издания) от понятия Отечественная война демонстративно уклоняется, словно таких войн в природе никогда не существовало. Обычную войну философы-марксисты трактуют как вооруженную борьбу между государствами или классами (государство уподоблено одному классу). Тем не менее все войны марксисты подразделили на «справедливые» и «не справедливые». Они толкуют об агрессивной природе империализма и говорят о вечном мире, который наступит при коммунизме.

Что ж, спасибо и на том.

Советская историческая энциклопедия упомянутого словаря щедрее. Тут помимо набивших оскомину классовых противоречий можно уловить кое-что еще. Политическую, экономическую, идеологическую борьбу авторы считают **составными частями борьбы вооруженной, т. е. войны**. «Война есть испытание всех экономических и организационных сил нации», — цитируют марксисты В. И. Ленина, который, как известно, что было мочи старался перевести войну с Германией в войну гражданскую, т. е. способствовал не своей, а вражеской стороне. (Представим себе такого национального лидера во времена наполеоновского либо гитлеровского нашествия.)

Недавно я случайно познакомился с книгой Александра Ивановича Михайловского-Данилевского «Война 1812 года».

«Слыхали вы про такого историка?» — спросил я студентов, причастных изучению российской истории.

«Нет, — откровенно ответил один. — Впервые слышу». Второй молодой человек спросил: «Монархист? Я что-то читал о нем. А что?» — «Да так, ничего...» Мне расхотелось беседовать со студентами.

Но я вскоре завелся... Монархист ли историк А. И. Михайловский-Данилевский? Конечно. Кем же он должен был быть? Генерал-лейтенант, кутузовский, а позднее и царский адъютант. Не мог он был немонархистом, т. е. дурным по тогдашним понятиям человеком. Захотелось выяснить, что еще мог прочесть второй студент да и сам я в БСЭ про Михайловского-Данилевского — русского генерала, раненого под Тарутином, ставшего членом Академии наук и, как выяснилось, автора многих книг, по стилю мало уступающих карамзинским. Ко времени моего разговора со студентами я уже прочитал книгу Михайловского-Данилевского. (Читал я ее всегда перед сном, пока не уставали глаза. И можно сказать, три ночи совсем не спал. Не мог оторваться от книги.) Я взял с полки сразу две советских энциклопедии. Как прав был грибоедовский Фамусов, воскликнувший: «Все врут календари!» Конечно не все. Но кое-что явно врут не только календари, но и энциклопедии. БСЭ утверждает, например, что историк Михайловский-Данилевский «использовал обширный документальный и мемуарный материал, но подошел к нему **некритически**, ограничившись без какого-либо анализа военного искусства».

Меня поразил не столько корявый стиль, сколько эта махровая ложь относительно главной книги историка. Не зря ведь статья в энциклопедии даже не подписана. Да, она анонимна. Заметка в Исторической энциклопедии подписана каким-то Г. Б. Карамзиным (Ленинград), но тут ложь еще более выставляла свои уши. Отметив опять же наличие большого фактического материала, автор говорит, что очерки историка «не дают достаточного критического анализа стратегии и тактики», мол, «Михайловский-Данилевский неверно приписывал главную роль в руководстве Отечественной войной 1812 года Александру I, отводя М. И. Кутузову роль простого исполнителя воли императора, считал дворянство решающей силой в войне, недооценивал партизанское движение».

Тут что ни слово то и вранье. Прочтите «Историю» и убедитесь. Превосходные описания патриотического движения, охватившего в 1812 году всю Россию, советский историк ловко назвал «некритическим анализом стратегии и тактики». Противопоставление Александра I и Кутузова,

якобы присущее историку, особенно лживо, поскольку этого противопоставления в книге нет. Так же полностью лживо и утверждение о недооценке Михайловским-Данилевским партизанского движения. Ну, а пассаж о роли дворянства в первой Отечественной войне? Оставим его в покое, поскольку авторы энциклопедии в силу идеологических штампов своего времени просто не могли даже и мыслить иначе. Могли ли они назвать дворянство да еще русское дворянство движущей силой в Отечественной войне против Наполеона? Нет, разумеется. Это было бы равносильно тому, что, говоря об основной движущей силе во второй Отечественной, не упомянуть о роли компартии.

Что же было «движущей силой» энциклопедической лжи? Почему так сильно хотели опорочить в глазах потомков Михайловского-Данилевского? Откуда столько к нему ненависти? Почему авторы хваленых советских энциклопедий глгали так беспардонно? На эти вопросы ответить мне пока не под силу...

О «движущих силах» в обеих Отечественных войнах я заговорил потому, что хочется поразмышлять, а что является этой силой в нынешней, то есть в третьей Отечественной, о которой вслух говорил академик И. Р. Шафаревич?

Читая «Историю» Михайловского-Данилевского, то и дело ловишь себя на мысли о сходстве всех трех Отечественных. Сходство это поразительно как в материальном так и в духовно-религиозном смысле борьбы. Бросается в глаза прежде всего интернациональный характер всех трех нашествий. Наполеон пришел в Россию с грандиозной многонациональной армией. Более двадцати европейских государств участвовало в антироссийской коалиции. Гитлер объединил против России еще большие силы. А разве нынешние покорители русских уступают Наполеону и Гитлеру по своей грозной многочисленности? Но особенно поражает сходство русофобии во всех трех трагических для России периодах. За что до сих пор так ненавидит Россию Европа? Пропагандистские приемчики Наполеона, Геббельса и нынешних русофобов до смешного схожи...

Наполеон уже помышлял о бегстве, а в своих парижских бюллетенях он все еще бодро хвалит русский климат. В бюллетене № 25 он говорит, что «выступил из Москвы, но оставил гарнизон в Кремле и идет на зимние квартиры». Даже после победы русских при Малоярославце

император-хвостун так сообщал в Париж: «Русская армия рассеяна». 25 бюллетень заключается следующими словами: «Погода прекрасная, как во Франции в октябре, даже немного теплее... Пехота поправилась в Москве и находится в отличном состоянии...»

В каком состоянии очутились захватчики всего через две недели — общеизвестно. В Европе и до сих пор думают, что Гитлер был побежден не русским солдатом, а всего лишь русским дедом-морозом. Однако нынешнее механизированное электронное вранье наших недругов не идет ни в какое сравнение ни с наполеоновским, ни с геббельсовским!

Как ни обширен, как ни велик художественный гений Л. Н. Толстого, однако роман «Война и мир» конечно же несоизмерим с грандиозной трагедией Отечественной войны 1812 года. Толстой отразил лишь малую часть этой войны. Его еретические религиозные перехлесты, его сарказм по отношению к монархическим чувствам героев не могли не влиять и на художественные образы гениального романа.

Между тем, почти все судят об Александре I и об этом периоде нашей истории всего лишь по роману Толстого. Читая «Историю» Михайловского-Данилевского, то и дело наталкиваешься на значительные исторические события, факты, цифры, либо завауалированные, либо искаженные советскими историками. Книга весьма познавательна, она пронизана острым патриотическим чувством. Сколько событий, сколько исторических сюжетов пригодилось бы даже сейчас для нынешних духовных и светских писателей!

Тема «Европа и Россия» для нас и для наших оккупантов так же злободневна, как и 185 лет назад. Господа бжежинские и киссинджеры ненавидят православное сознание русского народа, его религиозно-монархические устремления. Они, эти устремления, как кость в горле для всего Запада.

Стратегические, материальные, духовные и прочие свойства двух Отечественных войн необходимо срочно осознать и осмыслить каждому, кто хочет добра Отечеству и кто желает победы в третьей Отечественной. Лишь прочитав книгу Михайловского-Данилевского, начинаешь понимать, куда завела Россию западная демократия и что значит Отечественная война. Но в советских, а затем и в демократических университетах по таким книгам нас не учили. Такие книги просто сжигали...

То, что началась третья Отечественная, миллионам российских людей пока не приходит в голову. Они одура-

чены электронными средствами информации, запутаны лживой демократической пропагандой и ждут, ждут... Тем временем героически и не очень героически гибнут наши солдаты и офицеры, преданные такими генералами как Семенов, Грачев, Лебедь.

Россия вымирает в прямом смысле.

Пусть посчитают в Думе и в «комитете матерей», сколько жертв принесла Родине горбачевская перестройка! Предположить, что ждет Россию при таких министрах и генералах не так уж трудно. А если сравнить наши территориальные потери 1812, 1942 и 1992 годов? Разве не ясно станет, что Отечественная война в третий раз полыхает в России!

Несмотря ни на что, даже самая ответственная, самая размышляющая часть русского общества до сих пор не видит нового **иностранный нашествия**. Она **зомбирована**. Я не люблю иностранных слов, но как иначе назвать то состояние, когда люди не желают смотреть правде в глаза? (Одна из моих статей называется «Так хочется быть обманутым».)

Современная смердяковщина внедрилась в нашу жизнь не без помощи иностранного языка. (Язык — это народ, во множественном числе — народы.) Народы слабеют именно со ослаблением своих языков. Исчез язык и народ исчез. Покорение Югославии начиналось именно с внедрения латинского алфавита, хотя кириллица все еще сопротивляется. Москву пробуют покорить также с помощью латиницы и не родных слов. Попробуем переводить на русский язык существительные «рэкетир», «проститутка», «киллер», «шоу-мен», «экстрасенс» что получится? А гамбургеры, пиццы и сникерсы?.. Не говорю о жутком засилье иностранных слов в торговле и экономике. Та же судьба у народной музыки, национальной архитектуры, еды, одежды и т. д.

Зомбированный скажет: «Но это еще не война и тем более не Отечественная. Война это когда льется кровь...» А что, разве она не льется? В испокон веку русских местах и землях не льется ли наша кровь? Льется она и другими способами, например, когда матери **продают** собственную кровь, чтобы спасти детей от голода.

Разве это не Отечественная война, когда инвалиды, больные пенсионеры и молодые пытаются выжить без еды и лекарств? (Иная таблеточка стоит 5—7 тысяч при трехстах-то тысячах пенсии.)

Нет, война есть война, холодная она или горячая. Запад ведет войну по всем классическим правилам, не

брезгует ничем для победы над русскими, а сами русские до сих пор понимают войну как Сталинградскую или Курскую битву... Увы, битвы можно выигрывать и одним банковским росчерком или одним законом о «покоренных нациях». Нынешняя Отечественная связана с комбинированным нашествием на Россию: тут и танки с автоматами, тут и стаи тимов гильдиманов, тут и наркотики, и простая невыплата зарплаты, телеодурманивание и прямой грабёж, тут и потеря обширных территорий, и навязывание чуждых стереотипов, и простое вымораживание обычным тридцатиградусным холодом. «Сидите, мол, вы на своих атомных бомбах как куры на яйцах, а мы вас все равно доконаем с помощью ваших собственных генералов. Доконаем и будем забирать вашу нефть, рубить ваш лес, выкачивать газ и отапливать европейские города...»

На этом месте я вспоминаю нынешний холодный январь. В квартире 13 градусов, сижу за столом в валенках. Пошел по начальству. Один начальник сказал: «Сделаем все возможное!» После моего визита к нему стало в квартире не 13, а 11 градусов...

Визит к мэру (каково словечко!) подтвердил мои худшие предположения: ведомство Вяхирева и Черномырдина просто слегка завернуло для Вологды газовый вентиль! Оказывается, город задолжал газовикам деньги, и Черномырдин с Вяхиревым слегка завернули газовый кран. Надо же отапливать немецких бюргеров!

За что воевал и погиб мой отец, неужели чтобы нашим газом отапливать немецкие города?

Сколько вологодских старушек умерло за зиму от холода и болезней, тех самых вдов, которые живут в деревянных безгазовых избах? Не счесть... Могилы на русской земле роют пока вручную. (На Кавказе давно роют экскаватором, я сам видел это в Моздоке в 1960 году.)

Меня удивляет неспособность патриотической журналистики и депутатского корпуса договаривать до конца и делать сами собой напрашивающиеся выводы из своих же высказываний. Так и чувствуется желание увильнуть, спрятаться от серьезной оценки событий. Уже давно в патриотической прессе используется терминология, характерная именно для Отечественной войны. А сказать прямо о такой войне авторы почему-то боятся, прячутся от такого названия событий. «Народовластие или паханат? — чуть не по-блатному называет свою очень серьезную статью Александр Фролов («Сов. Р.», № 7). «Как остановить терроризм» — вторит профессор Качановский в другом номере «Советской России». При чем здесь такие част-

ности в глобальной атмосфере третьей Отечественной? Конечно, терроризм зло. Но сам автор признает, что «масштабы угрозы не меньше чем 22 июня 1941 года», что «из государства Россия превращается в беззащитное и безжизненное пространство!» Разве не признак Отечественной войны все факты, приведенные в статье профессора?

Такая война ведется во имя спасения государства. Мafia лишь часть, пусть и немалая, вражеской коалиции, подобной той, которую сколотил против России Наполеон Бонапарт. Говорится у Качановского о «чрезвычайных, карательных мерах против врагов государства», а дальше... дальше о Наполеоне в положительном смысле. Наполеон конечно брал ответственность на себя, когда двинул свои полчища на Москву. И почему бы, говоря о расправе Бонапарта с разбойничьей средой, не сказать о самом Бонапарте как о главном разбойнике? Говоря о Столыпине, профессор почему-то все свалил в одну кучу: и военно-полевые суды, и речь в Думе, и масона Милюкова, и агента охраны Богрова, и революцию, которую автор называет народной. «Режим Наполеона был прочным, тесно сплоченным вокруг Бонапарта. Режим Романовых, которых Столыпин пытался спасти, предал своего спасителя». «Советское правительство со своими противниками вначале пыталось обходиться по-хорошему». «...Террор начала другая сторона».

Какая там другая сторона, обе стороны были против русских. Ах, профессор, все ведь было совсем по-иному. Напрасно вы идеализируете и Бонапарта, и большевистскую чрезвычайщину.

Но дело не в этом. Иногда вы правильно говорите, что «...к России мир стал беспощадным, и она должна научиться защищать себя, иначе ей придется погибнуть».

Разве это не Отечественная война? Впрочем, быть может, вы и согласны со мной. Не знаю. Но то, что хотели сделать с Россией сначала Наполеон, а затем Гитлер так похоже на нынешние планы Европы. Даже фразеология сходна. Поэтому сначала надо сказать о государственном терроризме, то есть о третьей Отечественной. По той же причине говорить о мирном и конструктивном выходе из опасной ситуации просто нелепо.

НАТО по маршрутам Наполеона и Гитлера вплотную двигается к нашим границам.

Пользуясь бездарностью и государственной изменой наших правителей, ЦРУ устроило нам Чечню и расстрел главного органа власти.

Мать городов русских Киев грозит Москве натовскими войсками.

А долговая петля международного валютного фонда?

Внутренние наши враги под видом реформ распинают Россию, тут и там потрошат ее священную землю.

Разве не ополчилась против России вся Европа плюс американские штаты? Но Кутузова до сих пор что-то не слышно, не видно. Одни лебеди вместо державных орлов, одни березовские и рыбкины. Да еще старчески покрхтывающий «чеченский рыцарь чести»...

А господа телевизионщики поют и поют одну и ту же песню, отвлекая народ от надвигающейся беды! НТВ, ОРТ, Сванидзе со своим кривым «Зеркалом», вкрадчивые Киселев и Доренко. Сколько их! Они не боятся, что их повесят по законам военного времени. Они считают, что Россия повержена и бояться им уже нечего. Не рановато ли?

Когда наполеоновские кирасиры шарили в московских каретниках (их особенно интересовали коляски), им тоже казалось, что Россия повержена, и Москва никогда больше с колен не поднимется. А чем все обернулось? Неужели нынешние покорители России настолько недалёковидны, что в азарте покорительства уже ничего и не чувствуют? Или надеются на русское всепрощенчество?

Да, такие надежды не бесплодны. Россия отходчива. Она все еще христианка и говорит словами Христа: «Господи, прости им, не ведают бо, что творят». Но бывают в истории моменты невыносимые...

Наполеон упрекал Александра I в варварских способах ведения войны. Словно война это всего лишь нечто вроде офицерской дуэли или рыцарского турнира, словно существуют какие-то комильфотные, джентльменские способы спасения, когда государство берет за горло и безжалостно душат. Варварство европейской цивилизации в полной мере проявилось как в оккупированной французами Москве, так и при гибели наполеоновских полчищ.

О «цивилизованной» войне фашистов с русским народом говорить тем более просто смешно. Демократы старшего поколения на собственном опыте извели такую «цивилизацию». Почему бы им не поведать юному демократическому поколению, что творилось в столице зимой 1941 года?

Нынче они, и старшее и младшее поколения, без устали оплевывают государство, в котором живут, паскудят и разлагают армию, лгут подобно Геббельсу и наполеоновскому министру Марэ. (Этот сумел так запутать союзни-

ков Бонапарта, что многие из них узнавали о разгроме великой армии лишь при появлении русского арьергарда).

Почему наши демократы всегда стоят на стороне НАТО, мятежной Чечни, чванливой Прибалтики, незалежающей Украины, но против дружеской Беларуси?

Ни один французский журнал, ни одна газета не осмелилась бы выступить с нападками на свою армию, когда Бонапарт терпел поражения в России или в Испании. Такой журналист знал, что его сразу повесят. Возможны ли были в немецкой прессе нападки на германскую армию во время Курской или же Сталинградской битвы? Нет, это немыслимо!

А мы сейчас смирились с подобными нападками на армию, на государство, вообще на Россию...

Да, идет война. И война именно Отечественная. Налицо общие, главные признаки именно Отечественной войны, потому что решается судьба не колониального государства. Россия терпит нашествие. Кроме вооруженной борьбы, вспыхивающей то там то тут, в этой войне задействованы главным образом деньги. Банковский капитал ощерил перед Россией острые зубы. И он не брезгует никакими иными средствами. Захватчику все равно, как покорить Россию: экономическим, этническим ли, административным или идеологическим способом. Или просто военным, на который наши враги пока лишь только прилаживаются. Но драконовы зубы русофобии сеют как раз пресловутые СМИ... Всходы после такого посева ужасны.

Разруха и гибель? Нет и еще раз нет! Покорить можно только безрелигиозное государство, нацию, отрекшуюся от Бога. Вторая Отечественная война, как и война 1812 года, война чуть ли не с целой Европой, была прежде всего религиозной.*

И сейчас все силы мирового зла нацелены прежде всего на Россию, Сербию и Болгарию. То есть на православных славян.

Объявлена война православию...

* К. Г. Мяло, касаясь т. н. «холодной войны», пишет: «Признание правоты Запада в этой войне означает вовсе не отказ от коммунизма, а признание неправоты всего русского исторического замысла о мире и о себе, всего своего, начиная с Александра Невского..»

...Выдержать натиск католицизма с его неоспоримой культурной мощью и обаянием, одолеть страшный «сумрачный германский гений», и все для того, оказывается, чтобы теперь покорно — и даже с радостью — принять увольнительную из рук «попсовой Америки»! Еще одна гримаса пародийной постмодернистской реальности, в которую погружена современная Россия».

ТАК ХОЧЕТСЯ БЫТЬ ОБМАНУТЫМ...

«...к нему нашло доступ и побеседовало с ним лукавое слово, он сначала принял его внешним слухом, потом оно проникло в сердце его и объяло все его существо».

Из бесед св. Макария Великого

Нынешнее состояние Отечества нашего ужасно, а окружающий мир с каким-то непонятым злорадством наблюдает за стремительным и поспешным расчленением нашей еще недавно здоровой и мощной государственной плоти. Судя по прессе, десятки правительств и даже целые народы ждут не дождутся, когда Россия испустит, наконец, дух, разложится и станет политическим и экономическим перегнившим для произрастания каких-то новых и, по их мнению, уже окончательных образований.

Подлость и предательство наших собственных постбольшевистских правителей по своим масштабам, конечно же, не уступают нахальству и разрушительной энергии западных премьеров, президентов и канцлеров. И тут ничего нет удивительного. Удивительно то благодушие, с коим европейские и не только европейские народы смотрят на судороги нашей государственности. С горькой иронией наблюдали мы, как лидеры наши с супругами и в одиночку в Америку и Европу «на время приезжали» и как на бульварах Старого и Нового Света

Кричали женщины «Ура!»
И в воздух чепчики бросали.

Чепчики над столицами взлетали в прямом смысле, звучало «ура» могильщикам единства России. Какое трагическое заблуждение!

Казалось бы, что одно лишь чувство самосохранения должно бы насторожить европейцев, поскольку микробы государственного разложения одинаково опасны для всех.

Заразу нельзя ведь удержать в пределах национальных границ. А тут и границы почти исчезли, не нужны стали ни таможи, ни пограничники. Началась гуманитарная помощь, которую никто, кроме предателей, не просил. Увы, совесть оболваненных не меньше нашего европейских народов молчит, как молчала она прежде, когда европейские правители пропускали в Россию plombированные вагоны с международной шпаной, когда платили деньги нашим доморошенным башибузукам. Молчала совесть народов и тогда, когда Гитлер морил голодом наших военнопленных, а «Смерш» вылавливал русских по всем западным закоулкам, когда английские солдаты по приказу из Лондона штыками отгораживали от обреченных на смерть хваленую западную свободу. Чуть не полвека прошло, а мы и не знали об этом. Только сейчас начали узнавать про такую западную свободу, про такую европейскую совесть. Да и что толковать о том, что было полвека назад? Совесть народов не проснулась и во время недавней «бури в пустыне» от грома международных ракет, обрушенных на иракских детей, женщин и стариков.

«Внемли себе, чтобы знать тебе здравие и болезнь души», — говорит православный святитель и продолжает: «Праздной и беспечной душе свойствен этот недуг — в бодрственном состоянии тела видеть сны».

Увы, не внемлем. Совесть и на Западе, и у нас молчит, души беспечны, они витают во сне. Чтобы не пробуждаться, людям хочется быть обманутыми. Одна шутивая строчка А. С. Пушкина говорит об этом просто и ясно: «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад».

Поэт шутит. Конечно, это шутка, поскольку никогда и ни в чем он не хотел обманываться и быть обманутым. Иначе спокойно бы выбросил гнусный анонимный листок и сделал бы вид, что все ерунда и не стоит внимания. Но душа Пушкина никогда не была беспечна...

И, размышляя о совести европейских народов, равнодушно, а то и с ехидством взирающих на российские беды, я снова вспоминаю слова святителя: «...перестань со тщанием наблюдать порок в другом, не давай занятия помыслам испытывать чужие немощи, но себе внемли, то есть обрати душевное око на собственное исследование себя самого».

Быть может, это высказывание обращено только к отдельной личности и слова о внутреннем внимании неприемлемы к народам и государствам? Но разве неправда, что жажда общественного самообмана свойственна не од-

ним нам, что она характерна для любого общества? Это она, жажда самообмана, родила и вынянчила диктатуру вселенской лжи. Но то, что ложь всемирна и что у целых государств и народов совесть в дремотном состоянии, никак не оправдывает мою личную ложь, не облегчает моей души, моей собственной совести. Такие слова как совесть и ложь не употребляют во множественном числе. Они, эти понятия, не имеют ни степеней, ни градаций. Вселенская ложь и ложь персональная — не одно ли и то же? (Ведь соль одинаково солонна, что в многопудовом куле, что в крохотной отдельной щепотке.) Совесть¹ у человека либо есть, либо ее нет, либо она спит, либо она разбужена. Но разбуженная, она требует от меня немедленных и вполне определенных действий, действовать же в этом дьявольском мире бывает страшновато. Либо вообще лень. И вот я снова возвращаю себя в прежнее, дохристианское, состояние, я самоуспокаиваюсь, самоусыпаю свою совесть, иными словами, совершаю самообман.

Восторженные любители домашних животных (тоже своеобразное проявление неязычества) знают, что делает блудливая кошка, пытаясь на виду у всех стянуть лакомство. Она тянет лапку, закрывая глаза. Ей кажется, что если не видит она, то и никто не видит. Она занимается самообманом. Точь-в-точь так же и я закрываю свое духовное око, прощая себе дурной поступок. В этом случае я обманываю себя сам. И оттого еще тщательнее гляжу на других, сваливая свою же вину на них, оправдывая свое поведение внешними обстоятельствами.

Как хочется спросить молодую раскрашенную даму, что у нее на уме, когда она, уронив на цементный пол банку сметаны, ретируется на улицу. Неужели так трудно убрать за собой хотя бы осколки? Другая женщина, поскользнувшись, падает на эти осколки. Дама не внемлет ни себе, ни другим. Она уходит. Но, обвиняя ее, я если не забываю, то затуманиваю собственные дурные поступки. Говорят, что однажды Л. Н. Толстой, мучимый совестью, так и не осмелился войти в келью оптинского старца. По другим слухам, старец сам не пожелал встретиться с великим писателем. Один нынешний не великий, но, как говорят, большой писатель, вернувшись из какой-то поездки, с восторгом рассказывал, как лишил невинности де-

¹ Слово образовано по тому же способу, что и «со-гласие», «со-трудник», «со-глядатайство», «со-размерность» и т. д. Какая вещь, чья вещь подразумевается, догадаться не столь трудно (*Прим. автора.*)

вушку. Что было делать нам, его друзьям? Присоединиться к его восторгу? Промолчать? Обличить? Михаил Булгаков, создавая могучие дьявольские образы, осмеливаясь на интерпретацию Евангелия, наверняка знал, что он делает. Но как быть верующему христианину, читающему роман? Неужели надо прощать? Или просто не читать?

Внемли себе, говорит православный святитель...

* * *

Существуют, вероятно, два вида лжи: когда ты обманут другими и когда обманываешь себя сам. Если ты обманут другими, совесть твоя не страдает... Она точит твое сердце тогда лишь, когда ты допускаешь самообман. Опасность и состоит как раз в том, что, заглушая свою совесть, ты незаметно для себя впадаешь вначале в самообман (как та самая кошка, которая, воруя лакомство, жмурит глаза), а затем легко позволяешь уже и обмануть себя, и даже втайне от себя тебе хочется быть обманутым.

Тогда мы не внемлем себе... Совесть наша молчит, мы закрываем глаза на правду, нам кажется, что так легче жить, что все другие живут не иначе... И уже не хочется верить в то, что человек, живущий по совести, счастливей тебя!

Не знаю, можно ли говорить об иерархии, о степени самообмана. Конечно, дитя, которое скорей-скорей забывает про свой нехороший поступок все же одно, а взрослая девушка, убегающая от разбитой кефирной бутылки, другое. И уже совсем иное — мужчина, ворующий с места работы автомобильную часть, заглушающий совесть и оправдывающий воровство житейскими трудностями, малым заработком, дефицитом в торговле и т. д.

Ложь есть ложь, в каком бы возрасте ни проявлялась. Я лгу сам себе, когда из-за лени после завтрака оставляю посуду невымытой. (Да, да, все начинается с оторванной пуговицы, с грязной сорочки, с нечищенных башмаков, с неметеной лестницы.) Заменяв глагол «воровать» глаголом «уносить» (так в советской печати внедрилось безобидное словечко «несуны»), работник прячется от собственной совести. Жена, покрывающая мужнино воровство, делает самообман уже семейным явлением. Такая семья, не задумываясь, простит соседней семье такой же, а то и больший грех, и вот самообман с торжеством начинает свое паскудное шествие, и, может быть, целый народ становится жертвой самообмана, когда прощает себе дурные привычки. Читатель жаждет «конкретики» (словечко из

горбачевского словаря?). Что ж, вот она: русские, например, прощают себе пьянство, цыгане — воровство. Не будем вспоминать, что прощают себе евреи, поляки, армяне. Примеры заглушенной национальной совести при нынешних межнациональных сварях особенно обильны. У всех на виду вспышки национального эгоизма, окрашенного и пропитанного кровью. Всеобщий самообман присутствует и в безудержной гонке за комфортом. Люди обманывают сами себя хотя бы и теми же успехами так называемого прогресса. Никто, в сущности, до сих пор не знает, что такое прогресс! Если это техническое, научное движение к какому-то техническому, научному самоустройству мира, то мы на такое движение уже нагляделись. Научно-технический Янус не однажды оборачивался к людям своей хиросимско-чернобыльской образиной. Поистине дьявольский вид! Его медицинские, к примеру, ухмылки не лучше технических. Генная инженерия и создание в колбах живых существ, искусственное размножение людей, эксперименты с пересадкой чужих органов и переменою пола не вызывают почему-то отвращения, они поставлены в один ряд с истинно человеческими, нравственно оправданными достижениями науки. Большинство ученых, даже самых гениальных, во имя научного прогресса изо всех сил отстаивают свое нейтральное положение относительно нравственного закона. Если же прогрессом называть духовную либо религиозную поступь народов, то и в этом случае понятие «прогресс» самоуничтожается. Далеко ли продвинулось человечество, то есть велик ли прогресс в религиозном, например, христианском, смысле? Сравните нынешних верующих с первыми христианами. Тот, кто бывал в римских катакомбах, по одним лишь настенным рисункам легко может уразуметь разницу в мироощущении воина Иоанна и папы Павла II. Поставив знание впереди веры, люди за две тысячи лет не только не приблизились к Богу, но, кажется, вообще от него отвернулись, и лишь малая их часть, по преимуществу православные верующие, понимает, кто придумал и подсунул им это понятие: прогресс.

Не лучше судьба и у знаменитого слова «свобода», которым и по сей день козыряют все проходимцы мира. Эти ходатаи «угнетенного» человечества, конечно, знают о двойственности понятия (свобода от греха или свобода от совести?). Знают, но в газетах об этом не пишут.

Своеобразный дуализм, двойственность многих терминов сбивают с толку: мы не замечаем, как меняются места-

ми добро и зло. Отец лжи с успехом для себя использует при этом эффект зеркальности. (Не зря зеркало применяется во всевозможных гаданиях.) Чтобы обнаружить упомянутую зеркальность, хотя бы свой собственный ненатуральный, обратный, иными словами — фальшивый образ, достаточно подойти к зеркалу, где правая рука становится левой, а левая — правой.

«Вот и говори о своих руках, а папу Павла II не трогай!» — скажет читатель и будет прав. Размышлять о совести всего человечества — дело рискованное, поскольку подобные размышления касаются уже божественных промыслов. Покушаясь на великую тайну, человек, даже верующий, как бы прощает себе самонадеянность, гордыня тут как тут. Но гордому и самонадеянному не хочется думать о своей собственной совести, это давно известно.

Что же, выходит, совестливый человек должен сидеть и помалкивать? И что лучше: быть обманутым и молчать или обличать обманщиков? Прощать ближнего (и дальнего) или сдачи давать, когда покушаются на твой дом, на твою землю, на твою родину? Ответить на удар или терпеливо ждать второго, поскольку наглость нападающего во многих случаях зависит от безнаказанности?

Русские люди бьются над этими вопросами, как рыба об лед. И. А. Ильин в споре с Л. Н. Толстым сделал мужественную попытку ответить на них. Большевики изгнали его из России. Он умер на чужой стороне. Но постбольшевистская сотня все еще не пускает философа и публициста обратно на родину. Не дошел он еще до русского читателя, не допустили. Когда дойдет — никому неведомо. (Пока солнце взойдет — роса очи выест.) Да и не один И. А. Ильин застрял на подступах к русскому самосознанию. Запад и наши внутренние враги то и дело подсовывают нам совсем иные ценности, то в виде рок-музыки и сексуальной революции, то в виде рыночной биржевой экономики. На Ильина у перестройщиков не оказалось ни эфирного времени, ни бумаги.

Осмелюсь сказать, что для России после свержения марксистов мало что изменилось в лучшую сторону. Произошла просто дьявольская «смена вех», и напрасно так радуются, приезжая в Россию, русские эмигранты. Враги России бесчинствуют под русским трехцветным флагом, как бесчинствовали под красным. Ничего не стоит для них сменить даже герб или снести на московской площади двух-трех истуканов: пусть, мол, порадуются Иванушка-дурочок. Да и с истуканами они в общем-то не торо-

пятся. На кремлевских башнях по-прежнему светят по ночам кровавые пентаграммы, на поклон к «мошам» главного беса идут многонациональные толпы одураченных марксизмом и запутанных перестройкой обывателей.

Одурачены и запуганы не только одни русские... Сытый и одетый Запад, Американские Штаты со своей гуманитарной помощью тоже запутаны и обмануты прессой и телевидением. Недалеко от нас ушли, а может, и совсем не ушли. Однажды на экранах перестроечного советского телевидения случайно мелькнули кадры кинохроники тех времен, когда писали такие стишки:

Камень на камень,
Кирпич на кирпич,
Умер наш Ленин
Владимир Ильич.

Белое тело
Зарыли в земле,
Жалко рабочим,
Жалко и мне!

В этой кинохронике проскочил эпизод с похоронами Ильича, а на одном из лозунгов стремительно, на какую-то долю секунды мелькнуло: «Гроб Ленина — это колыбель человечества». Нет, не приостановил, не запечатлел эти слова режиссер, который монтировал передачу. Больше того, он пропустил их, видимо, по ошибке... Ныне «империя зла», как выразился президент Рейган, стремглав повернула к подножию «золотого тельца». Теперь этому кумиру служит не только западный обыватель, но и наш — бывший советский. Раньше кланялся Ильичевым антимошам, теперь американскому доллару, на котором изображена усеченная пирамида со всевидящим глазом. И вот в новой кумирне, как прежде, запахло паленым...

Откуда так много способов овладеть сознанием людей и целых народов? Почти все эти способы основаны на зеркальности, на мертвом отражении живой и полнокровной действительности. Злобствующая бездарность ворует у этой истинной творческой действительности все подряд, даже газетные заголовки. Полистайте «Московский комсомолец» или «Комсомольскую правду». Единственное,

¹ Не уверен в том, какое тело, белое или какое-то иное, потому что цитирую по памяти. Мы учили стишок наизусть в третьем классе. Дело было еще до войны.

что у журналистского беса есть своего — это цинизм, желание все на свете вывернуть наизнанку, ирония по отношению даже к себе. Впрочем, бульварные, так называемые левые, журналисты редко издеваются над собой, предпочитая издеваться над читателем, со всей искренностью приписывая ему свои же гнусные свойства. Если же у читателя этих свойств нет, надо их привить, что и делается.

Человек, собою не владеющий, себе не внемлющий, сам охотно ступает во власть обманщика. Такие симплициусы кормят-поят не одних журналистов. Целый сонм объявившихся во времена перестройки демократических колдунов, политических знахарей и экстрасенсов паразитирует ныне на неприкаянном нашем народе, лишившемся за годы большевизма православного мирозерцания.

Надо признать, что церковь уступила своим гонителям все, что у нее было, даже обряды и христианские таинства. Конечно же все было использовано в своем зеркальном дьявольском смысле. Монастыри превратились в тюрьмы, церкви — в мастерские и общежития, часовни стали кандейками. Чудотворные моши преподобного Сергия от народа спрятали, а взамен... что взамен? Взамен ленинский труп да позаимствованный у огнепоклонников вечный огонь. В придачу миллион каменных и бронзовых истуканов. У клеветов врага человеческого никогда не было ничего своего, все уворовано. Они паразитируют на подлинном и органичном. Вспомним простой пример: литературную пародию. Что творческого у пародиста? Большевицкие богоборцы не создали ничего, они лишь разрушали и пародировали то, что было до них.

Вдосталь надругавшись над мощами русских святых, они заменили кресты на кремлевских башнях кровавыми хасидскими пентаграммами. (В Большой советской энциклопедии не стоит читать объяснение этого слова, там нет ничего, кроме геометрии. Надо читать хотя бы Брокгауза.) Взорвали они в Москве самый большой православный храм, взамен решили воздвигнуть Дом Советов, с фигурой вождя — одна ладонь в несколько метров.

Замены сплошь! Вместо сердца — пламенный мотор, как взывал эстрадный певец. Извечное стремление человека к сильному и потому здоровому физическому труду они подменили пафосом физкультуры и спорта. Сельский почти праздничный сход — многочасовым собранием с нудным докладом и грозным тупым президиумом, веселые православные праздники — пьяными днями шахтера и колхозника, учителя и работника торговли, милиции

нефтяника (разделяй и властвуй). За что ни хватись — везде произошла подмена. Смертельно опасной для России оказалось государственное упразднение традиционной народной, особенно песенно-хоровой и музыкальной культуры, она уничтожалась особенно яростно, что продолжается и сегодня. А разве не продолжают в наши дни и прочие духовные и религиозные подмены?

Взять хотя бы православное таинство исповедания. Жажда исповеди никогда не стихала в душе русского человека. Большевики придумали очень простой способ ее утоления: «письма трудящихся». Не только во времена Ленина, Троцкого, Сталина, но и во времена Горбачева и Брежнева принимались специальные решения «О работе с письмами трудящихся».

Сколько бумаги изведено в стране на эти постановления и на сами «письма трудящихся»? Никто не подсчитывал. Тайна церковной исповеди во многих случаях обернулась тайной доноса. Желание излить душу, высказаться, облегчить страдания и до сих пор выражается не в тайне исповеди, а в публичных излияниях, в бесстыдном выворачивании собственной души перед всем миром.

Лозунг «Печать — самое острое и действенное оружие партии» не устарел. В «письмах трудящихся» в парткомы и их печатные органы, на радио и телевидение и сегодня истинный клад для политических проходимцев. Во-первых, выпускается «лишний пар». Во-вторых, власть знала (и знает) о народе буквально все, народ о власти не знал (и не знает) ничего. Работа с «письмами трудящихся» напоминает улицу с односторонним движением...

Что изменилось после изгнания коммунистов, после того, как их кресла заняли демократы? Почти ничего, если не считать того, что не берут под белые руки и не отвозят в кутузку. «Письма трудящихся» хлынули теперь в бездонные резервуары «плюрализма и гласности». В газеты, на радио и ТВ пишут все от мала до велика, там отбирается то, что требуется демократам, и пускается в ход. Разумеется, с разными целями. Вот чем заполняет свои страницы бывший орган Вологодского обкома комсомола:

«Дорогой мой сосед! Когда же ты заметишь меня и заговоришь? Часто ты стоишь с друзьями в подъезде, когда я прохожу мимо, но не обращаешь на меня внимания. Я видела тебя с девчонками, но они же не для тебя, пойми это наконец. Пойми, ты мне нужен. Тебе же стоит только подняться с первого этажа на третий. Юля, г. Вологда».

«Хотим передать привет Лёхе К. Ты знаешь, Леша, когда ты приезжаешь, все девчонки только о тебе и говорят, а ты ни на кого не обращаешь внимания. Но все-таки — должен же тебе кто-нибудь нравиться? И, пожалуйста, не ставь себя выше всех и не обижай девчат. Все твои друзья уже давно гуляют с подругами, и только ты один ходишь «бобылем». Пожалуйста, найди себе девушку, и никто не будет о тебе ничего говорить. Доброжелатели, г. Вологда».

«Я хочу познакомиться с высоким симпатичным юношей. Мне 15 лет, рост 172 см, глаза голубые. Люблю хорошую музыку, веселые компании, а также люблю кататься на мотоцикле. Лена, г. Вологда».

«О себе: 12 лет, поклонница В. Цоя. Люблю читать фантастику и детективы, люблю животных и еще многое другое. Обещаю: отвечу всем. Наташа, г. Череповец».

«Родилась под знаком Близнецов в год кролика. Люблю слушать музыку, неплохо вяжу, много читаю. Подруги есть, но нет сильного, верного друга, который может защитить от всех превратностей судьбы. Светлана, г. Кадников».

Итак, «отвечу всем», а Светлана «родилась в год кролика»...

Вологодская газета, подражая столичным, пробует свои силы сразу на нескольких поприщах. Она выступает в роли и классической сводни, и в роли исповедального органа, а потерявшим стыд Наташам и Ленам пока не до судеб Отечества. Долго будут они податливым воском, из коего можно лепить любые фигуры. Оглушенные ударниками рок-ансамблей, денно и ночью бьющими по их бедным головам, ослепленные бесстыдными образами совокуплений, гнусных дерганий, драк, увиденных в кино и по телевидению, эти ребята и девушки даже не подозревают о наркотических свойствах слуховой и визуальной продукции. Долго еще не будут они самими собой, многие вообще никогда не будут. Им нет дела до мондиализма, они равнодушны к тому, что страна становится экономическим пространством, что сами они превращаются в дешевую, самую дешевую в мире рабочую силу...

Ложь обычно не рассчитана на длительное хранение и пользование, поэтому способы массового оболванивания постоянно приходится обновлять: то навязывается комму-

низм, то рыночная экономика, то коллективизация, то приватизация, то алкоголь, то секс, то рок-музыка.

Можно только гадать, чем наградят нас, что преподнесут голубые экраны (а то и голубые береты), если мы не пожелаем сдаваться на милость.

* * *

Как же все это произошло? Почему русский народ с более чем тысячелетним опытом государственного строительства и длительным духовно-религиозным опытом не может очнуться, стряхнуть с души сонную одурь? Да по тем же причинам, что и весь остальной мир. Царскую Россию ненавидели за то же самое, за что ненавидели когда-то королевскую Францию. Почему же так безжалостно отрублена голова Марии Антуанетты? По тем же самым причинам, из-за чего брошена в шахту беспомощная вдова великого князя Сергея Михайловича. Кто стрелял в детей и женщин в подвале екатеринбургского дома?

Катехизис можно продолжить на многих страницах. Но далеко не всем в мире и в современной России понятно, что продолжается многовековая борьба с христианством. Многообразия форм этой борьбы очевидно. Нынче вовсе не обязательно быть Данилевским или Леонтьевым, Достоевским или Ильиным, чтобы предвидеть ход этой борьбы. Россия долго (отнюдь не с 17-го года) несла крест во имя спасения своей православной души. Нынче нашу Родину распинают на этом кресте, и суждено ли ей воскреснуть, зависит от нас самих. Для того, чтобы выстоять, чтобы выдержать страдания и муки, внемли себе. Выключи радио и телевизор со всей его видеотехникой. Отбрось в сторону лживый газетный лист, выбрось его на свалку, если не хочешь быть обманутым. Но в том-то и беда, что тебе (ну, хорошо, не тебе, а мне) хочется быть обманутым... Ты ищешь правду не внутри себя, а где-то на стороне. Подражая кому-то, я отрекаюсь от самого себя...

Почти все декабристы, будучи масонами, обманутые словом свобода, понимали это слово только на якобинский, т. е. на чужой, лад. Свергая самодержавие, они искренне желали России добра. Да не с того ли «добра» началось разрушение русского государства.

Даже для обыденного сознания должно бы быть ясно, чтобы править миром, надо было разрушить нравственные, религиозные оплоты государственности, выкорчевать из народного сознания саму мысль о монархах как зем-

ных наместниках Бога. Не напрасно же Вольтер, этот кликуша мирового прогресса, призывал: «Раздавить гадину!» Фальшивый порыв, приведший французскую нацию к гильотине, ничему не научил полковника Пестеля. Россия очертя голову бросилась в объятия прогресса и так называемого освободительного движения. От кого освобождалась, стреляя в царей? Конечно же, от самих себя. Пророчество Достоевского пропущено было мимо ушей.

Федор Михайлович в молодости тоже попадался в сети обмана. Мы знаем, каких усилий стоило ему разорвать эти духовные путы. Он не пожелал оставаться обманутым и написал пророческую для своей родины книгу «Бесы». У русского «передового» общества было достаточно времени, чтобы остановить движение России к пропасти. Но кто поверил писателю Достоевскому? И что думали на стыке марта и февраля 1917 года, например, начальник штаба генерал-адъютант Алексеев и генерал-адъютант Рузский — командующий Северным флотом? Или тот же Гучков с Шульгиным? Обо всех этих предателях государя нам до сих пор ничего неизвестно, как неизвестно о предателях патриарха Тихона — Введенском и Красницком. Даже в художественно-исторических книгах такого вроде бы совершенно независимого автора, как А. И. Солженицын, ощущается какая-то то ли полуправда, то ли недосказанность. (Читателю «узлов» представляется, что автор знает значительно больше, чем говорит.)

Радость подлинных ревнителей государственности в среде русской эмиграции по поводу нашей нынешней гласности явно преждевременна. Очередной обман не сразу заметен, информационный голод утолен фальшивой пищей, с виду очень питательной, на самом деле пустой и вредной. Подлинная же, не поддельная пища выдается такими мизерными частицами, так мало и редко, что не может пока влиять на духовное здоровье народа.

И снова вертится на языке модное нерусское слово — геноцид. Известно оно всем, только не доярке-пенсиинке в деревне Тимонихе. Откуда ей знать нерусские термины? Газет и журналов она не читает, да в демократических газетах о выкорчевывании русской нации и речи нет. Но то, что в деревне уже несколько лет не слышно детского голоска, ей понятно и без газет. Помнит она и названия исчезнувших с лица земли деревень, остались в ее памяти имена погибших во цвете лет родных и знакомых. Объяснить причину гибели русских людей и пропажу тысяч русских селений она не может, поскольку в духовной

пище не разбирается. Зато разбирается кое в чем другом, что у нее на виду. Она говорит кратко: «Всю Россию сподили!» — «Что ж, — говорю, — возьми и не пей». — «Да как не пить-то, — смеется она, — ежели эдак потчуют?»

Действительно, антинародное правительство вот уже семьдесят пять лет в открытую потчует, то есть спаивает, русский народ. Защищать от этого страшного бедствия могла лишь церковь, но духовенство и православные храмы были уничтожены. Большевики сразу же позаботились о том, чтобы вырвать язык у миллионов русских колоколов. В прямом и переносном смысле они лишили Россию голоса и только после этого начали активно ее спаивать. Статистика продажи алкогольного яда и до сего дня под запретом. Народ и сейчас не знает, столько лет и чем разбавлял он свою не пролитую на войне кровь. Десятки миллионов убитых во время войны, умерших в лагерях Европы и Азии, в застенках Ленина-Сталина и подавно не знают, чем закончилось большевистское похмелье. А закончилось оно (впрочем, почему закончилось, оно продолжается) тем, что поколения, зачатые в пьяном угаре, вступают в жизнь ослабленными, не способными к сопротивлению. Духовные и физические вирусы косили и косят русский народ, а когда Россия сделала одну лишь слабую попытку отрезветь, как встрепенулась стая демократических академиков, политологов, газетчиков! Аганбегяны, шаталины, заславские, евтушенки взвыли от возмущения. На единственного в Политбюро трезвенника Егора Лигачева были спущены сразу два юридических чербера — Гдлян с Ивановым. Пошли в атаку журналисты и поэты из когорты откормленной оппозиции. Как ни таила цензура алкогольную статистику, ужасающая цифирь на свет все-таки вылезла, народ ужаснулся и снова пробовал было очнуться, но за рубежами государства, предупреждая пробуждение, уже готовилась новая опохмелка...

* * *

Итак, началась горбачевская мондиалистская перестройка. Мондиализм! Опять никому не известный, совсем новый термин... Не знаю, знаком ли смелый захватчик главной писательской печати и сейфа с этим термином, но представляется мне, что новый член Пенклуба Виктор Астафьев с этим словцом пока не очень знаком. Иначе бы он не стал почем зря громить своих же недавних друзей и единомышленников.

«Великое было время!» — скажут когда-нибудь ветераны баррикадных завалов, построенных Моссоветом за счет налогоплательщиков в ночь с 19 на 20 августа 1991 года. Алкоголь и закуска, поглощенные на броне бэтээров, выдавались длинноволосым существам среднего рода тоже бесплатно (я видел это своими глазами). Успевали эти существа пить, тренькать на гитарах и обниматься, другие успевали кричать и еще кое-что. Но когда возникла угроза Свердлову и Дзержинскому, лидеры новых демократов сдрейфили, заговорили о варварстве и культурной значимости истуканов... Увещевать толпу у бронзового Дзержинского попробовал было Б. Н. Ельцин. Но ему ничего не оставалось, как пристроиться к общему делу. Спасти железобетонного Свердлова не смог даже всемирно известный музыкант Ростропович. Конечно, все, что произошло в августе, было ново, захватывающе интересно, только во всем этом восторженный обыватель даже не подозревал очередного обмана. Глаза раскрылись сейчас, да и то не у всех, поэтому тайные правители мира рискнули на еще более нахальные меры. Они уже делают все еще сопротивляющегося медведя.

Какая старая песня...

Русский народ переболел-таки марксизмом и коммунизмом (разве это не европейские вирусы?), переболел и сохранил свою государственность. Коммунизм в России был на последнем издыхании, но тут-то и всполошились враги России. Под видом борьбы с коммунизмом они начали войну против самой России, против самих русских и их государственности. Им показалось, что ослабленная чуть ли не вековой борьбой нация не будет сопротивляться. Им представлялось, что мы уже спились и выродились, забыли свою тысячелетнюю историю. И теперь, дескать, можно легко разделить государство на мелкие части, расчленив тело России с помощью национальных чувств малочисленных народов, живущих в ее пределах.

Что ж, планы наших врагов во многом осуществились. Обманутые антирусской пропагандой, народы шарахнулись от России в разные стороны, наивно предполагая выжить без нас. Заокеанские доброхоты готовы и впредь подсоблять им не только через посредство «media», джинсов и говяжьей тушенки, но и с помощью ооновских голубых беретов. От первого, еще марксистского, президента президенты начали плодиться, как степные сурки. Уже и Заонежский край, и Печорский требуют собственной государственности. Более ста двадцати народов и народ-

ностей, веками живущих под крылом государства российского, с помощью радио и газет были заражены сепаратистским вирусом, и теперь их интеллигентные лидеры с младенческой наивностью требуют государственной самостоятельности, отделения и т. д. Лучшего способа национального самоубийства, вероятно, никто еще не придумал. Ложь о российской тюрьме народов, ловко подкинута Ильичем для маскировки интернациональной империи, конечно, когда-нибудь обнаружится. Но будет поздно: десятки малочисленных народов настигнет судьба, напоминающая судьбу американских аборигенов.

Что же делать теперь нам, русским?

Терпеть и каяться, говорят богословы и академики. Насчет терпения не знаю, надо подумать. А вот о покаянии можно поразмышлять не откладывая. Все дело в том, перед кем каяться. Покаяние перед собственной совестью (т. е. перед Богом) нельзя подменять каким-либо иным покаянием. Нынешние бесы требуют от русских покаяться прежде всего перед другими народами, внушая нам ложную вину, словно русский народ не был изморожен интернациональной шпаной одинаково с прочими. (И не одинаково даже, а пострашнее.) Нет, не существует коллективного покаяния. Каяться за несуществующую вину тоже нельзя, это было бы тоже лживо. Но покаяние за свои личные истинные грехи русский человек, пусть далеко не каждый, уже приносит, и как раз это-то обстоятельство больше всего и бесит наших врагов. В их планы не входит возвращение русских людей к православию.

Допустим, что уже миновали времена полковников в рясах. Допустим, что все епископские панагии, носимые поверх голубых погон, перекочевали в антикварные лавки мира, на Руси приняты, наконец, Законы о свободе совести и правах верующих. Но легче ли стало русской православной церкви в новых условиях, уменьшается ли число ее злобствующих разрушителей? Увы, их стало не меньше, а больше. Тайные обязанности по разрушению православия, исполнявшиеся до этого спецслужбами, успешно легализованы в деятельности некоторых депутатов, но того лучше выполняются эти обязанности с помощью циничных средств масс-медиа. Поспешно внедряется неоязычество! И что всего удивительнее, православные иерархи, как зарубежные, так и в Московской патриархии, за немногим исключением, спокойно взирают на затянувшийся в России бесовский шабаш. Некоторые из них, соблазненные экуменизмом, потворствуют врагам правосла-

вия. Хуже всего заискивание перед властями. Власти же тем временем преподнесли полную свободу действий католикам, протестантам, всевозможным сектантам, хлынувшим в Россию со всего света. М. С. Горбачев не напрасно шнырял по лестницам Ватикана...

Что ждет православных верующих, их детей и внуков при встрече только с этой богатой, механизированной, снабженной всеми необходимыми средствами антирусской стихией? Государство наше, отдавшее себя во власть доллара, не жалеет для этих новых «просветителей» ни грандиозных залов с водоемами для псевдохристианских крещений, ни земельных участков для строительства католических, протестантских, буддийских и прочих храмов. От всего этого в русском народном сознании подспудно, неосмысленно копится горечь, которая рано или поздно прорвется. Знаменитое русское терпение, кажется, уже совсем на исходе, но бесы с еще большим нахальством, заглушая свой страх отчаянной решимостью, продолжают испытывать это терпение. Увы, читатель, дело с покаянием, как все остальное, тоже запутано интеллектуальными знатоками. Представим себе такую сцену: бандит, угрожая наганом, отбирает у тебя кошелек да на тебя же и орет: «Покайся, такой-сякой!» А ты, ограбленный и униженный, должен благодарить мерзавца за то, что он всего лишь ограбил тебя, а вообще-то ведь и убить бы мог.

И благодарят, вот что обидно, а политические бандиты наглеют все больше. Нашим врагам представляется, что разорванная революциями связь времен невозможна (дескать, колесо истории и прочее), что с помощью интернационализма и атеизма русские навсегда утратили национальное (то бишь имперское) самосознание, а если не утратили, то их (этих фашистов и шовинистов) надо образумить любой ценой и любым способом. Сгодится для этого и кнут и пряник, еще надежнее газеты и телевизор.

«Внемли себе!» — предостерегает святитель, но миллионам избирателей так не хочется вылезать из уютного кокона демократического самообмана. Им нужны не дни, а целые годы, чтобы понять, что Жириновский, к примеру, и Черниченко никакие не антиподы, что по сути своей оба одно и то же. Разница между демократами и коммунистами тоже только в названиях, но как тяжело осмыслить сию простую истину обывателю, начисто заштампованному такими терминами, как «демократия», «цивилизованные страны», «права человека», «гуманитарная помощь», «экономическое пространство» и т. д. Мысль о лживости

этих и подобных понятий даже в голову не приходит, потому что люди не себе внемлют, а митинговым оракулам и телевизорам. Как и кем запускаются в массовое производство мыслительные болванки и обманные штампы, можно понять на примере выражения «образ врага».

Кто придумал эту болванку: Шеварднадзе или Яковлев? Где подсказали: в Оксфордском университете или в Принстонском? Теперь это, пожалуй, все равно. Выраженьице обнаруживает вроде бы первоначальную тупость и мыслительную ограниченность. Но для тех целей, для которых оно было создано, гениальности и не требуется. Нужно было просто количество повторений, то есть миллиарды почтовых и телевизионных ящиков. Ленинские слова о том, что газета это не только «коллективный агитатор, но и коллективный организатор», что «из всех искусств для нас важнейшим является кино», как видим, универсальны, годятся для всех времен.

Именно наши враги, враги русского народа, придумали фразу «образ врага». Они требуют разрушить этот образ, делая вид, что никаких врагов у нашего Отечества нет, а есть лишь образ врага, созданный нарочно, искусственно... Нет, мол, у русского народа ни врагов, ни предателей, мол, все это выдумка, а посему долой армию, откроем границы. Разведка и перехват? «А на хрена она вам, эта разведка?» — вопят газеты. И вот Бакатин, шеф КГБ, добровольно передает секретные документы в чужие державные руки. Министр Шеварднадзе, не задумываясь, вручает в те же загребушие лапы целые нефтеносные пространства, тайно передвигая морскую границу. Горбачев не устает болтать о правовом государстве, а сам на каждом шагу плюет на родимую Конституцию, и тысячи продажных газетных писак, подстегиваемых отнюдь не продажными, а явно вражескими наместниками, твердят о том, что русские должны, просто обязаны разрушить образ врага. (Сами же только то и делают, что создают этот образ, мусоля миф о русском фашизме.) То есть опять же все шиворот-навыворот, таковы уж бесовские свойства.

Таковыми, какие сейчас, были они во все времена.

Грандиозный самообман русского человека, сотворившего попытку выжить не только без царя, но и без Бога, медленно, однако же неуклонно рассеивается. Переболев едва ли не всеми болезнями мира, он, русский человек, только начинает медленно выздоравливать, начинает трезветь и осмыслять собственный путь и судьбу.

Родина, не дай же себя обмануть, «внемли себе»!

ЗАБВЕНИЕ СЛОВА

«Не надо паники — язык сам очистится от пены!» — на весь мир вопит профессор-филолог. Собираясь в очередной раз реформировать русскую орфографию, он решил успокоить общественность. Не верьте доктору филологии! Не верьте ни одному его слову... Этот «доктор наук» такой же, как и все либеральные реформаторы... как, например, Заславская или какой-нибудь Гайдар. Лучше бы их, таких реформаторов, совсем не было. Реформаторство, читай, не улучшение, а уничтожение чего-либо, любимое дело подобных «докторов наук». За соросовскую подачку они сделают что угодно. Реформы их шиты белыми нитками... дай им волю, они отреформируют даже «Маленькие трагедии» Пушкина, отреформируют арию Сусанина Глинки, да так, что ни от Александра Сергеевича, ни от Михаила Ивановича ничего не останется. Обоим гениям не поздоровится. При этом будут внушать обывателям: не надо паники! В руках таких реформаторов, в их загребуших руках буквально все: академии всякие, телеканалы всякие, газеты всякие, еженедельники всякие... Силы неимоверная. И очень опасно тягаться с нею нам, грешным, не имеющим ни грантов, ни академий!

А о языке... Ну что о нем говорить? Премьер Касьянов, к примеру, не склоняет существительные, оканчивающиеся на «мя». Да и сами «доктора-филологи» боятся просклонять хотя бы для опыта какое-нибудь трехзначное числительное. «...Ничего особенно страшного я здесь не вижу, — нахально твердит филолог, отвечая на вопрос о рекламе. — Пусть экспериментируют, шутливая реклама ведь более действенна». Пусть экспериментируют? Нет, не пусть.

Корреспондент спрашивает: «Вот будем мы, насмотревшись телевизора, часто говорить «сникерсни». Повлияет это все же на культуру речи?»

«Да никак не повлияет! — смело заявляет реформатор Леонид Крысин. — Останется слово в пределах рекламы, а потом будет благополучно забыто». Увы, все это не так... Слово-то навсегда, может, и не останется, зато останется

ублюдочный способ мышления. А в каких пределах? И на какой срок? Бог знает. Не собираюсь я спорить с членом орфографической комиссии доктором филологии Леонидом Крысиным, он все равно вывернется, на то он и «доктор филологии». Или просто не заметит моего мнения, как не однажды бывало. По-моему, не следует вступать в спор и с другими авторами страницы еженедельника («Век», № 436). Зачем? Все равно академика Велихова не научить правилам шестого класса. Тем более он считает, что иногда слова вполне можно и нужно заменять обычными цифрами. В наше время такое цифровое новшество уже и делается сплошь да рядом. Простите, еще не сплошь! Вместо цифр чаще используются пока аббревиатуры. Недавно прочитал я страницу в «Экономической газете», где говорится о создании новой коммунистической партии на Украине. Такая прет аббревиатурщина, что ничего простому человеку без специальной подготовки не разобрать. Кто кого молотит — ничего не поймешь! Спасибо Чекалину — главному редактору, что хоть запретил псевдонимы. Но на его месте я не стал бы экономить газетную площадь, используя аббревиатуры в таком изобилии. Ведь газета-то «Экономическая»...

Аббревиатурный вирус проник в поэзию «Наша классика Пушкин и АКМ», — говорит Марина Струкова, лучшая поэтическая представительница современной литературы. О поэтических эпигонах и говорить не стоит.

Ничем не оправданный оптимизм либерально-демократических перестройщиков сказывается в замалчивании опасности, грозящих русскому языку. Патриотическая печать закрывает глаза на эти опасности, из-за угла грозящие русской культуре и всей России. И реформаторы-перестройщики отнюдь не зевают. Пока русские люди ловят ворон, Греф и Чубайс «чинят мину под фортецию правды» (так выражался Петр I). Они, то есть чубайсы, уже припасли нам жилищную реформу. Реформу-катастрофу. Но людей успокаивают. Дескать, не надо паники. Что им стоит «отреформировать» и язык русский? Пока разговоры только об орфографии, но и с ее помощью можно сокрушить язык. Безобидная болтовня в печати — это дымовая завеса. Тихой сапой проникли в наш быт и более опасные вещи. Людей приучают думать и чувствовать по-новому, то есть не по-христиански и не по-русски, а по-демократически. Имеются в виду скрытый цинизм, тайная похабщина, внедряемые в головы и сердца журнальной и газетной публикой. Начинали наши враги

с анекдотов, а докатились до открытой похабщины. Поглядите страницы «Московского комсомольца», так любимого многими москвичами. Уже и человеческие страдания, смерть, горе родных и близких осмеяны журналистами этого толка! Задача их проста и коварна: всех приучить к тому, что в похабщине нет ничего дурного. Чтобы не вознижал у читателей даже позыв к полемике, чтобы отсечь с ходу любой спор на эту тему! (Об этом вражеском способе я говорил еще в 1971 году.) Позвольте использовать собственную цитату: «В самом деле, стоит кому-то заявить, что слово Останкино склонять совсем не обязательно, как открываются прекрасные возможности для полемики. Poleмика в данном случае не нужна, спорить абсолютно не о чем, но я уже участник полемики, я участник спора, следовательно, незаметно для себя признал правомерность и жизненность спора». На мой взгляд, такой способ называется провокацией. Не надо к этому слову никаких кавычек! И приучили ведь товарищи из «Московского комсомольца» с помощью этого метода даже яростных патриотов, даже депутатов-политиков, чуть ли не к мату приучили! Теперь уже почти никто не стыдится таких выражений: «наша партия не будет ложиться под...» и т. д. Не замечают многие, и даже порядочные журналисты, из какого лексикона подобные выражения. Соревноваться с мадам Новодворской продолжает Хакамада (тоже мадам). Не только порядочные газетчики, но и приличные писатели уже не стыдятся пользоваться проституцкой лексикой. Не будем тыкать пальцем в определенные места. Искусились даже иные писатели, великолепные знатоки русского языка.

Скажут: это сатира. Я не могу отнести к сатирикам Николая Васильевича Гоголя, но Михаила Евграфовича Щедрина почему бы не кликать сатириком? Скажите, много ли похабщины у Салтыкова-Щедрина, а уж на что едок и зол. Так что дело совсем не в сатире. Мне представляется, что русский мат — этот наш национальный позор, этот ядовитый, стегаяющий всех подряд бич не достоин ни любого, уважающего себя литератора, ни любого газетчика. Но газетчики, может, потому и циничны, что им хочется стать писателями, а писатели оттого и похабны, что им хочется выглядеть не хуже Гоголя. Не знаю, не знаю... Наверняка полемисты вспоминают тут А. С. Пушкина. Кто-кто, а Пушкин-то знал, что чуждебесие не приводит к добру. Однако же Пушкину до московских дамочек весьма и весьма далеко — это, во-первых, во-вторых,

он искренне всю жизнь каялся за грехи ранней молодости, а царь простил ему даже богохульство. Так что ссылка на Пушкина тут не годится. Даже превосходный стилист Хемингуэй для русских тут не пример. Это ведь он называл обычную физическую близость противоположных полов великим и ничем не заменимым словом «любовь». Мы, русские, пользуемся этим словом в молитвах...

Подумаем на досуге, к чему или к кому приравнивал человека Нобелевский лауреат? Совсем не сравниваю таланты всемирно знаменитых литераторов, сравниваю мировоззрение православного Пушкина с менталитетом западника и протестанта. Слово «любовь» у Пушкина звучит чаще, чем слово «свобода». Так же ли часто звучит слово «свобода» в католических и протестантских молитвах? Этого я не знаю, т. к. не знаю католического и протестантского молитвословия. Но можно предположить и без точного подсчета: у реформаторов-то только и на слуху эта самая «свобода»...

Если же продолжить разговор об орфографии, то снова надо вспомнить об элементарной грамотности: о падежах, о знаках препинания, о спряжении глаголов, о многом еще. Где ставить точки, запятые, двоеточие и многоточие, где необходимо тире, а где ничего не надо. Я не говорю, что русский язык прост. Я говорю о грамотности, которая необходима и Путину, и Касьянову с их безграмотной командой. Но даже полным бандитам необходима грамотность хотя бы в пределах семилетней школы. Иначе они всю жизнь будут переделывать (реформировать) и уничтожать наш язык — тот самый язык, о котором с таким благородным пафосом говорил Тургенев. Сохраним язык — сохраним все!

А наши враги навалились сейчас именно на язык. Они губят его сразу по нескольким направлениям. Главное из них — это упрощенческое сокращение. Второе — это намеренное засорение многими способами: например, намеренным внедрением чужих, не свойственных нашему духу слов, способов правописания, интонаций. Примеров тому уйма. Вот хотя бы засорение, отравление русского языка через медицину. Представляю, какой поднимется гвалт против этого утверждения! Но что делать, если и впрямь ненавистники России всех мастей намеренно, а бы сказал грамотно, засоряют наши сердца и души иностранщиной: Я совсем не против латыни в медицинских рецептах, но ведь надо и совесть (т. е. предел) знать, господа эскулапы! А технику взять?

Словарный состав языка отнюдь не всегда богаче становится, если свое живое название сменим на мертвую латынь. Добросовестные доки аптечного и инженерного дела подтвердят эту мысль.

Много можно болтать и спорить на сей счет, причем болтать и голосом, и письменно. Кстати, взаимосвязь разговорной и письменной речи вполне очевидна. Тот, кто хорошо говорит, хорошо обычно и пишет. Предлагаю высказаться по этому поводу русским, а не русскоговорящим... Но я глубоко убежден, что существуют два вида языковой грамотности: природная (то есть интуитивная) и не природная (то есть академическая). К которой из них лежит больше душа человеческая — это дело каждой личности. К любой из двух видов грамотности мое безбрежное почтение и уважение. Да, да, именно безбрежное! Независимо от того, враг ты России или сам русский (следовательно, либо совсем не враг, либо просто заблуждающийся).

«Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, какого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности», — говорил А. С. Пушкин.

ИЗ ПЕПЛА...

Преподаватель Ритсбургского университета Николай Петрович Полторацкий прожил на земле почти семьдесят лет. Вся его жизнь прошла во имя России, но вне России. Он даже родился, как говорится, не дома, а на чужбине в 1921 году в Стамбуле. Жил в Турции, во Франции, в Болгарии и Америке. И ни дня в России! Но вот осенью 1990 года он встретился наконец с любимым Отечеством. Приехал в Петербург читать лекции русским студентам и... умер.

Незадолго до своей смерти, еще до приезда в Россию, он послал мне книгу с дарственной надписью: «...о борце за русскость и ее возрождение И. А. Ильине».

Насколько я могу судить, никто не сделал так много в честь И. А. Ильина, как Николай Петрович Полторацкий. В своей книге он говорит, что И. А. Ильин «занимает совершенно особое место в той плеяде русских мыслителей, которые создавали современную русскую религиозную философию. И это не только потому, что он расходился идейно с наиболее известными из них — с Розановым, Мережковским (и Гиппиус-Мережковской), Булгаковым, Бердяевым, Франком, Вячеславом Ивановым, Карсавиным и другими». Полторацкий замечает далее, что «дело не в самом факте расхождения, а в характере и содержании этого расхождения».

В чем же эти расхождения и каковы их масштабы? Боюсь, что в условиях так называемого плюрализма, вернее, на его нынешнем уровне, наша студенческая молодежь, да и вся интеллектуальная общественность еще долго не будут знать ответа на этот вопрос. Чего только не выплевывают ротационные машины в разгар перестройки! Но в магазине не купишь даже А. С. Пушкина, не говоря уж о И. А. Ильине. Вот держу в руках сразу три роскошных издания Б. Савинкова. Издательство «Московский рабочий» — 75 тысяч экземпляров. «Новости» (АПН) — 120 тысяч. «Художественная литература» — 100 тысяч. Одним махом почти 300 тысяч! Это не считая других недавних ротационных и прочих изданий. Великолепная бумага, красочные обложки...

За что такая честь убийце и провокатору? Он рассказывает о своих убийствах как о вполне нормальных, само собой разумеющихся и необходимых событиях, за которые мы, русские читатели, должны его, Савинкова, уважать, чувствовать и любить. Отвратительная, бесстыдная, не лишенная литературных достоинств исповедь крупного беса. Бес прекрасно сознает свое бесовство, но рассказывает о своих похождениях таким тоном, что русскому народу он был будто бы дозарезу необходим. Убийства и прочие мерзости для таких писателей в порядке вещей. «Благородное» иностранное слово «террор» (кстати, на французском оно обозначает ужас) заворожило не только Савинкова. Оно заглушило остатки совести у множества его современников. В большом ходу это слово и в наше просвещенное время. Но ведь было же что-то доброе в душах таких людей, как Б. Савинков, хотя бы во время их детства? Только они, видимо, еще в отрочестве погасили в себе что-то самое главное. Такие люди почему-то романтизировали гнуснейшие понятия. «Террор!» — как победно звучит, как перекачивается в глотке. Им слышалось в этом слове рычание тигра, мерещилось обещание удивительных приключений, налагающих обязанность быть смелым и мужественным. Тут уж не до страданий. Здравый смысл тоже побоку. Тысячелетней историей Родины, а всего больше — природой многим русским революционерам было дано все, кроме божественной искры добра. Талант, физическое здоровье, незаурядный характер — все побросали они в огонь непонятной и неосознанной, оттого вообще бесцельной борьбы. Их редкая смелость и мужество, их неукротимая энергия оказались на службе самолюбивого авантюризма. Но сладость риска, испытываемая человеком при выполнении опасного дела, превращается в полынную горечь, если становится самоцелью даже при добрых делах. Любитель же риска при участии в гнусных делах — это уж подлинный бес и мерзавец.

Отчего же у наших издателей появляется такая нескрываемая активность и даже восторг при виде исповеди убийцы? Ивана Шмелева они тоже, положим, издают. Но издают далеко не с такой поспешностью. И тиражи несоизмеримы...

Можно, конечно, объяснить это явление денежным, коммерческим интересом, хотя такой интерес сам по себе не ахти какое достижение убудочной перестроечной культуры. Но дело вовсе и не в деньгах. Вернее, деньги

тут на втором плане. Издатели-коммерсанты, все эти многочисленные культуртрегеры перестройки прекрасно знают, что делают.

* * *

Мне уже приходилось вслух говорить, что почти все мои деревенские сверстники, с которыми ходил в первый класс, лежат в могилах. Отчего бы это? Ведь на войну не попали призывники даже тридцатого года рождения. Я же сидел в первом классе с тем, кто родился в 32—33-х годах... Как сейчас помню, нашу Никольскую церковь, где мы учились по букварю и где после уроков вместе со всеми другими классами обучались пению. Учительница тшетно заставляла нас петь: «Вставай, проклятьем заклейменный...» Из мальчишек не пел, кажется, ни один, иные безголосо разевали рты, делая вид, что поют взаправду. Звучало всего несколько девчоночьих голосков. Из всех сорока шести или сорока четырех первоклассников — не помню в точности — начальную школу закончили не более тридцати, а семилетнюю... всего один. Ваш покорный слуга. После этого осуществилась моя мечта получить десятилетнее образование, но для этого понадобилось не три, как это должно было быть, а целых двенадцать лет. Я как бы «не успевал» в учебе, сидя по четыре года в каждом классе. Такой вот тупоголовый орясина... О вузовском дипломе не мог даже мечтать. И все же мне посчастливилось не только выжить, но и получить аттестат зрелости, а затем и вузовский диплом, пусть и на четвертом десятке. Все это я говорю в связи с количеством русских, особенно деревенских людей, имеющих так называемое **высшее образование**.

А как насчет качества этого **высшего**? Я всегда ощущал смутное чувство обворованного. Не исчезает оно и теперь, когда стало вполне осознанным.

Всю жизнь моему поколению выдаются некие весьма ограниченные порции культурно-исторической информации. Негласный запрет на культуру и даже на историю действует и теперь. Иначе мы давно бы знали публицистику, например, Солоневича, философские труды Лосского, Грубецкого, Левицкого и т. д. Словно какой-то скупердяй-кладовщик, скрепя сердце, нехотя, отвешивает эти информационные порции да еще и приговаривает: «На кой они вам?»

В начале 60-х годов я учился в Москве. Библиотекаша Литинститута не выдала мне том Достоевского с «Дневни-

ком писателя». Сослалась на какой-то запрет свыше. Чушь, не было никакого запрета! Это сама она не хотела, чтобы я прочитал «Дневник»... Все равно, многие уже читали и Достоевского, и Соловьева. Шли разговоры о Леонтьеве, Бердяеве, хотя книг не было. Пошла мода на Федорова... Заговорили наконец об о. Сергии Булгакове и о. Павле Флоренском.

Нам как бы выдавали по рублю из грандиозной, веками копившейся русской философской казны! (Очень похоже на то, как нынче возвращают областям, улицам и городам подлинные названия. По одному названию в год. Не правда ли, очень надолго хватит. Может, и на сто лет.)

Помню случаи, и очень четко, как в 1949 году за чтение Есенина и Блока исключали из комсомола. Будьте, комсомолцы, довольны тем, что у вас есть Демьян Бедный, Маяковский и Безыменский! Все уже забыли, с каким трудом, с каким скрипом (да еще с купюрами) был переиздан словарь Даля. Карамзина проталкивали всем миром. О русском же философском наследии и толковать стыдно... Только теперь, с оглядкой, вполголоса, заговорили об издании Леонтьева. Издательства отнюдь не спешат с публикациями. Читать по русской идеалистической философии и до сих пор нечего. Читайте, студенты, Мережковского, пресловутый самиздат и легализованную книжную продукцию, вывозимую из-за рубежа «прорабами» перестройки. Эти знают, чего везти. (Во всех случаях процветает безудержная денежная и прочая спекуляция.) В книжном потоке, хлынувшем к нам с Запада, преобладают Чонкины, а не Горкины¹. Пресса на все лады хвалит Бердяева. Даже В. В. Розанов успешно реабилитирован. Но отчего же печать ведет себя так сдержанно, когда речь заходит об Иване Александровиче Ильине?

Вопрос праздный... Еще в середине 20-х годов Н. А. Бердяев обзывал Ильина «небесным чекистом», а Зинаида Гиппиус — «военно-полевым богословом». Даже над свежей могилой И. А. Ильина в декабре 1954 года звучали нотки застарелой неприязни к великому философу. «...Не все логически стройно и не все неотразимо убедительно в его религиозно-нравственном мирозерцании...» — трусливо и вкрадчиво писала эмигрантская «Русская мысль» (14.01.55).

Что же явилось причиной солдафонской терминологии?

¹ Горкин — герой произведения И. Шмелева «Лето господне» (Прим. ред.)

гии в свободолобивых устах Бердяева и Зинаиды Гиппиус? Всего лишь то, что И. А. Ильин осмелился на критику толстовской идеи непротивления злу¹.

Осмывая нынешние ожесточенные идеологические и даже рукопашные схватки, пытаюсь понять трагедию нашего Отечества, я почему-то каждый раз вспоминаю одно не очень приметное стихотворение А. С. Пушкина:

В дверях эдема ангел нежный
Главой поникшею сиял,
А демон, мрачный и мятежный,
Над адской бездною летал.

Дух отрицанья, дух сомненья
На духа чистого взирал,
И жар невольный умиленья
Впервые в жизни познавал.

«Прости! — он рёк, — тебя я видел,
И ты недаром мне сиял:
Не всё я в мире ненавидел,
Не все я в мире презирал».

Как видим, А. С. Пушкин даже к сатане относится по-пушкински снисходительно. Пушкинский дьявол испытывает «жар умиленья», говорит не свойственное ему слово «прости». Вселенское зло, по Пушкину, преодолевается вселенским добром и, вероятно, терпением. И добро побеждает. В этом, на мой взгляд, главное содержание русской идеи и, может быть, главное предназначение России. Не потому ли история нашего народа так трагична? И мы наконец-то осмысляем судьбу русской интеллигенции, уклонившейся от Пушкина к Чаадаеву.

Чистый пушкинский ангел, разумеется, все простил мятежному и мрачному демону. Но устоял ли при этом сам?

У Лермонтова снисхождение к сатане обернулось романтическим оправданием демонизма. У Врубеля к демону чуть ли не жалость. Рубинштейн пишет целую оперу. Демон же не только не раскаялся, но с помощью каляевых и савиновых столкнул Россию в адскую бездну, продолжая при этом хохотать и безумствовать! Как мы еще выжили? Удивительно... Мы видим: на наших глазах змея

¹ Вот так же, в лучших традициях либерального террора, обрушились на В. Г. Распутина, когда он позволил себе кое в чем не согласиться с Л. Н. Толстым. (Прим. автора.)

жалит сама себя... Однако ж мне больше по душе иной образ, образ сожженной птицы. Она взлетает живой и не-вредимой из собственного еще горячего пепла...

Профессиональным историкам русской культуры давно бы надо неспешно и без горячки разобраться в эмигрантском наследии. Сложность и пестрота эмигрантского корпуса (если можно так выразиться) не мешают увидеть духовный контраст, четкую нравственную разделенность между двумя эмигрантскими группами. Вполне определена и разница между теми, кого силой вытряхивают из родимой среды и кто вытряхнулся по доброй воле. Разница эта самоочевидна. Но именно эту разницу все еще пытаются скрыть средства массовой информации как у нас, так и на Западе. Зачем? Время все равно безжалостно отсортирует истинных героев от лжегероев, истинных страдальцев от лжестрадальцев, четко проявит степень литературной или какой-либо иной талантливости. Можно, конечно, даже с известной долей искренности ставить среднего поэта вровень с Пушкиным, среднего живописца считать национальным гением. Эта доля искренности должна бы сменяться соответствующей долей смущения, когда обнаруживаются завышенные оценки. Ничего этого не происходит. Свойство конфузливости присуще не всем. Больше того, есть люди, считающие чувство стыда атавистическим грузом. Это не мешает им возмущаться, когда такое же свойство обнаруживается у рядом живущего. Они не только возмущаются бесстыдством других, но и вполне искренно взывают к доброте и милосердию. Мизерный запас собственного альтруизма такими людьми обычно преувеличивается, усиленно афишируется, однако, расходуется слишком уж бережливо. Да и что за альтруизм, коли человек то и дело вспоминает о нем и даже гордится им? Подлинный альтруизм не подозревает о собственном существовании. Как раз это свойство русского человека отражено и показано в произведениях И. С. Шмелева, о ком с такой страстной проникновенностью пишет И. А. Ильин в книге «О тьме и просвещении».

* * *

Философия И. А. Ильина никогда не была отвлеченной, она предметна. Она выражена определенно, доступно, образно, через отношение к религии, к трагической мировой и русской действительности, наконец, к русской литературе. Язык Ильина точен и образен. Например, его

литературная критика сама по ходу дела превращается в художественное произведение, звучащее и свежо и злободневно.

«...Живую совесть, мудрое терпение, умение прощать и повиноваться...», о которых толкует И. А. Ильин, говоря о русском народном самосознании, авторы всевозможных чонкиных иметь не желают. Они торопятся всучить московским журналам своих недоношенных детищ — произведения циничные и малохудожественные. Нынешний наш массовый читатель, да и зритель в придачу вынужден путешествовать по таким маршрутам, как «Москва — Петушки», либо вместе с Синявским прогуливаться по самым омерзительным духовно-эстетическим задворкам. И все это подается средствами массовой информации как великие достижения гласности.

Какая уж тут гласность! Даже на «свободном» Западе труды русского философа, публициста и критика замалчивались, издавались весьма неохотно, выборочно. Много не опубликовано и до сей поры. Большинство людей, имеющих советские дипломы «высшего» образования, даже и не слышали о таком русском философе. Те же, кому знать о подобных явлениях положено «по штату», торопятся обозвать «душу, по-детски доверчивую, искреннюю, добрую и смиренно-покаянную», рабской душой. А «мудрое терпение и умение прощать и повиноваться» считают признаком национальной неполноценности. Тогда почему они боятся того момента, когда терпение русского человека лопаается? И такой не хорош, и эдакий не ладён... Такая вот странно-загадочная логика. А разгадка очень проста, она в том, что, как поется в одной еще довоенной сентиментальной песенке, «в этот час ты призналась, что нет любви».

Да. Нет любви, и все не нравится. Но способность любить так же, как способность стыдиться, у одних есть, у других не развита. У третьих ее нет даже и в зачаточном виде. Состояние озлобленности для них — состояние почти естественное.

Как же тебе-то быть, если ты любишь (жалеешь), а тот, кого ты любишь (жалеешь), делает тебе зло? И даже тем больше делает, чем больше твоя любовь и терпение? Не знаю... Но тоже хочу знать. Покамест я только мечтаю прочесть, например, книгу профессора И. А. Ильина «О сопротивлении злу силою». Нет в библиотеках ни Евг. Трубецкого, ни Флоровского. Издательство «Новости» выпустило наконец сборник «Вехи». Да что значат пятьде-

сят тысяч экземпляров для такой великой и все еще не желающей дробиться страны?

Читатель до сих пор сидит на голодном философском пайке. Ему подсовывают пока одни духовные суррогаты в диапазоне от Рериха до Кашпировского. Но из этого ничего не получится... Молодежь рано или поздно узнает и о русском философе, публицисте и критике Иване Александровиче Ильине! Узнает и прочтет его удивительные труды.

Без мала сорок лет И. А. Ильин прожил в Москве, посреди той самой Руси, которая, по его словам, «крепко, непоколебимо верила в то, что близость к Богу дает не только правоту, ведущую на вершинах своих к святости, но и силу, жизненную силу, и, стало быть, победу над своими страстями, над природой и над врагами...» Далее в том же абзаце Ильин говорит:

«О, зрелище страшное и поучительное! Русский народ утратил все это сразу, в час соблазна и потемнения, — и близость к Богу, и власть над страстями, и силу национального сопротивления, и органическое единomyслие с природой... И как утрачено все это сразу, вместе, — так вместе и восстановится...» Разрядка сделана самим Ильиным.

Примечательно то, что в заключительном «так вместе и восстановится» упущено слово «сразу». Хотел ли автор сказать этим, что потерять-то можно в одночасье, а для того, чтобы собрать заново, понадобится много времени, сил и великого напряжения? Во всяком случае, умирая в 1954 году в Швейцарии, он твердо верил в обновление и возрождение своей Родины. Он верил и в то, что Россия рано или поздно услышит его страдающий голос.

Нынче мы просто не сможем обойтись без его книг. Не надо идти на ощупь, надо знать то, что уже есть, что создано задолго до нас! Ведь у И. А. Ильина есть ответы на самые трудные вопросы. Им разработаны не только философские, идеологические, то есть стратегические, но и тактические способы нашего государственного и духовного возрождения.

ЦИНИКИ И СИМПЛИЦИУСЫ

«Люди, живущие на грандиозной равнине между морем Хвалынским и морем Белым, испокон веку с надеждой и верой глядели в свое будущее.

Земля, укутанная лесами и травами, омытая бесчисленными родниками, ручейками и речками, и небо, отраженное в плесах великих рек, давали человеку не только пищу, кров и одежду. Они внушали земному жителю душевное равновесие... Люди верили в то, что эти леса и травы будут всегда. Знали, что великие реки будут стремиться туда, куда им предназначено. Не сомневались в том, что для внуков и внуков их правнуков так же будут светить небесные звезды.

Как быстро все изменилось!

Еще вчера большинство из нас даже не задумывалось о судьбе собственных детей. Хватит ли им чистой воды и свежего воздуха, не станут ли они во цвете лет, а то еще в материнском чреве задыхаться от дыму и чаду, не проклянут ли нас за такую цивилизацию? Человечество само себе создало тупиковые безвыходные положения. Технический прогресс в современном мире поставил себя на место нравственного. Обольщенные бытовым комфортом и всяческими научными открытиями, люди сломя голову понесли к собственной гибели. Чернобыль, взбесившийся у всех на глазах, осветил своим дьявольским факелом наше отнюдь не фантастическое, а вполне реальное и вполне близкое по своей возможности будущее. Нет, разговор здесь не только о жителях среднерусской равнины! С молодых ногтей помнятся нам заворачивающие названия: Миссисипи с притоком Миссури в Америке, Шилка и Аргунь на Дальнем Востоке, Амазонка в Южной Америке, озеро Тонганьика в Африке. Но роматика этих звучных названий исчезла в грохоте межконтинентальных ракет. Какая уж тут романтика, если проснешься иной раз ночью и долго думаешь, куда же он полетел, этот разрывающий тишину самолет! Или задумаешься, почему из-за границы везут в Россию не одни лишь колготки, зерно и масло, но и атомные отходы? И куда хоронят атомщики

всю эту свою и закордонную заразу? И на каких в целом-то основаниях?

В среде энергетиков родился и укрепился зловещий тандем, составленный из двух спорщиков: атомщиков и гидростроителей. Тандем — термин английский. Относится больше к технике, чем к системе бюрократического планирования. Два направления как бы противоборствуют, борются за преимущественное влияние в энергетике. Но спорят они для виду... И невдомек простодушному обывателю, что вредны оба, что ни новые затопления, ни новые чернобыли нашей стране не нужны. Создана фальшивая энергетическая альтернатива. Ветровая, солнечная и прочая энергетика, а также экономия электричества как бы не существуют. Кто победит, атомщики или гидростроители? Может быть, те и другие. Но всего скорее атомщики. В любом случае земле нашей несдобровать!

На Волге уже нету живого места, все перерыто, все искорежено. Затоплены плодородные земли, пространства, равные некоторым европейским государствам. Волга (а вместе с нею добрая половина России, а вместе с Россией с десятков других народов) попали в энергетическую ловушку, из которой нашему поколению их не вызволить.

Стороннику спасения великой реки надо готовиться к длительной, изнуряющей и, пожалуй, неравной борьбе. Об этом напоминает и опыт байкальского движения. Нравственный дуализм, порожденный техническим прогрессом, махрово цветет как в нашем обществе, так и за рубежами страны, но мы отягощены еще и своими домощенными болячками.

Главная из них — это ведомственное, а не государственное управление экономикой; ведомственное, а не философское мышление многих ученых; ведомственные, а не общечеловеческие взгляды в будущее.

Можно ли жить с постоянным ощущением предстоящей, причем близкой гибели мира? Вероятно можно, только это будет странная, неустойчивая и какая-то неполнокровная жизнь. Мне кажется, что и русскому народу и другим народам, живущим в бассейне Волги, не свойственно апокалиптическое самосознание. Поэтому будем трудиться по мере сил наших, а кто может, то и сверх того. Мы выживем, если спасем свою землю и воду».

...Цитирую сам себя. Выступление на Комитете по спасению Волги. Разумеется, ни на кого не подействовало. Кому он был нужен, этот жалкий писательский монолог, если даже тревожные, отчаянные голоса академиков

(таких как Легасов и Шафаревич) никогда не услышат миллионы симплициусов? Услышат эти голоса одни циники. Иотреагируют по-своему. То есть никак неотреагируют. Может быть, по этой причине русские люди не спасли во время «перестройки» ни земли, ни воды, ни собственных кошельков.

Да что про кошелки толковать, если границы тысячелетнего государства нашего стали «прозрачны»!

Ничего нет непонятного в содружестве двух этих терминов: циники и симплициусы. Вспомним, что слово «симплициус» латинского происхождения. (Немецкое *simpel* значит простой.) Простой в русском народном понимании значит бесхитростный, открытый, откровенный, не способный на обман и на подлость. Слово имело несчастье попасть сначала в горбачевский словарь, затем подхватила его газетная и депутатская братия. (Когда Горбачеву нечего было сказать, он начинал так: «Вопрос не простой».) Это и сейчас самый ходячий термин у всех, не отличающихся красноречием президентов. Помню, слушая перестроечных цинеронов, я возненавидел эти «не просто» и «не простой», возненавидел так же, как тошнотворное слово «проблема». (Установить бы для ораторов норму: слово проблема использовать в выступлении не больше двух, в докладе не больше трех раз. Демократическое косноязычие и пустозвонство сразу оказалось бы как на ладони.) В ряду мертвых и оттого ядовитых терминов стоят, как часовые, выражения: «во всех цивилизованных странах», «мировое сообщество», «миротворческие силы», «ближнее и дальнее зарубежье». Для демократических ораторов характерно пресловутое «ни для кого не секрет». Словом, что такое симплициус «ни для кого не секрет». Особенно, если прочесть роман Гриммельхаузена.

Ну, а кто же такие циники? «Не считай нас за дураков! — скажет читатель. — Ты не умнее всех...» Не только не умнее, но и беспомощнее, поскольку отношу себя к породе симплициусов. Потому и обложился всякими словарями. Большая Советская Энциклопедия говорит, что основатель школы циников Антисфен «высший критерий истинности видел в добродетели», а философский словарь (Политиздат, 1975 г.) сообщает, что «киники выражают настроения демократических слоев рабовладельческого общества. Спрашивается: почему бы им и сейчас не выражать «демократических настроений»? Из Краткой дореволюционной Энциклопедии Битнера можно узнать, что «киники отвергали всякие условия цивилизованного об-

щежития, отрицали государство, религию, стояли за общность жен». В еще более раннем (1861 г.) словаре говорится, что циники «...не носили платья и совершали все естественные отправления, как собаки, публично». По этому словарю и термин-то произошел не от названия афинского холма, как утверждают советские ученые, а от греческого слова кинос, т. е. собака. Или и впрямь «...все врут календари», как говаривал Фамусов?

«А почему вообще такой заголовок? — спросит иной патриотически настроенный читатель. — Ведь слова-то у тебя оба не русские...»

Не буду оправдываться. Предлагаю заглянуть всего лишь в один выпуск новостей нашей вологодской газеты:

«По данным компетентных органов, нынче в Череповце находятся в розыске 36 человек, 46 кроликов и стельная корова Долина со звездочкой на лбу».

«С начала этого года в Череповце 145 раз покушались на честь и достоинство чужого автомобиля» («Русский Север», № 330).

Другой «Север», не «русский», а «красный» (впрочем, что там сравнивать, красные оба) сообщает, что

«В вестибюле второго отдела милиции Вологды рядом с окошечком дежурного — еще одно оконце: частного магазина. Похоже, бизнес мудро сделал ставку на рост преступности. Во-первых, не останутся без клиентуры. Во-вторых, охрана какая!»

На охране бы и остановиться корреспонденту Тоболкину. Но вот беда, кровь из носу, а надо перешеголять коллег из «Русского Севера», для которых что человек, что кролик. (Изнасилование машины — это вообще журналистский шедевр.) Думал, думал газетчик и добавил:

«Ну что, громилы: объегорили вас коммерсанты? Слабо грабануть!»

Работники Вологодского государственного радио, безбедно существующие за счет налогоплательщиков, облагораживают местный эфир передачами вроде «клуба любителей пива». Они решили дать последний и решительный бой немногочисленным вологодским трезвенникам. Союзников ищут не где-нибудь, а в кабинетах самых высоких начальников, ведающих культурой и здравоохранением. «Любите книгу, источник знаний», — ехидно обращается любитель пива к слушателям, высказывающим в письмах свое возмущение передачей. И тут же дает микрофон... — кому бы вы думали? А вологодскому священнику церкви Покрова на Козлене. Не стал бы упоминать

о. Александра, если б не американские и прочие духовные просветители, зачистившие в Вологду, если б не афиша, наклеенная около автобусной остановки: «Александр Росс». Более мелким шрифтом сообщалось, что «этого человека знает весь мир», что он «магистр духовной терапии» и... «христианский богослов». К тому же он «экзорцист» и «ректор российской академии духовной терапии и самосовершенствования». Оказывается, этот ректор академии и богослов избавляет «от порчи, проклятий и другого колдовства, а также практически любых болезней тела». Радио Вологды усердно зовет к богослову. К магистру предварительная телефонная запись. Где? В Доме офицеров. Хочется спросить, при чем здесь армия? Но я знаю, что в армии не положено задавать лишних вопросов...

Афишу с богословом выпустила тоже почему-то радиоккомпания, только не Вологодская, а Вятская. Растволковал бы мне о. Александр и всем людям по радио, что это за новоявленный богослов. Вместо этого православный священник выступает в радиоклубе «любителей пива». В те же примерно дни Российское радио с плохо скрываемым восторгом передало такую информацию: «В Петрозаводске священником православной церкви был освящен игорный дом». Хватаюсь за голову: «Боже мой, что происходит?»

Вологодская газета «Красный Север» на первой странице крупным шрифтом убеждает: «С голода не помрем».

Конечно, с голоду все мы и впрямь не умрем. Умрет лишь какая-то часть. Умрет она от болезней, вызванных недоеданием, а также неправильным, например, углеводным питанием.

Не умрем с голоду! Не даст нам умереть мировое уже не очень и тайное правительство. Не такие они дураки, чтобы совсем нас заморить. Кто бы тогда стал работать на русских колониальных просторах? Руду добывать, хоронить атомные и химические отходы, качать нефть? Кто бы стал рубить для них самый дешевый лес и плавить самый дешевый металл? Да еще плясать в красочных сарафанах на западно-европейских подмостках. Нет, не дадут они нам, вологжанам, умереть с голоду. Будут подкармливать, но подкармливать ровно столько, чтобы русские люди работали и понемножку забывали сами себя. Чтобы надежно, спокойно и долго выкачивали мы из родимой земли ее скудеющие богатства: нефть, газ, золото, алмазы и прочие минералы.

Не умрем с голоду!

Но мы умрем духовно и нравственно. Мы тихонько выродимся, то есть понемногу сопьемся, будем рожать нужное количество полудебилов, послушно исполняющих указания телевизионных психологов. Нас ждет судьба американских индейцев. Мы забудем про свой язык и про свою историю, про свои песни, про свою еду и одежду. Ни спеть, ни сплясать по-своему даже за доллары уже не смогут ни внуки наши, ни правнуки. Тайные и явные мировые правители крякают от великого удовольствия при виде нашей новой свободы: вологодские пятиклассники пьют пиво на больших переменах и курят на маленьких. (Говорят, что за год в Вологде полтысячи школьников побывали в городском вытрезвителе.) Многие наши девушки бесстыдно обнажают свое тело перед зрителями на каких-то конкурсах. Сотни юношей неделями торчат на бараколках, дремлют в торговых киосках. «Не жаль им лет, растраченных напрасно», поскольку все газеты, все репродукторы день и ночь твердят о пользе и необходимости секса и бизнеса. На телеэкранах мелькают купюры. Нет, не учат наших детей, как строить дома или доить коров! Их день и ночь учат считать деньги. На севере еще до Великой Отечественной войны каждый физически окрепший крестьянский юноша был обязан уметь рубить угол, чтобы себе и своему сыну построить жилье. Теперь угол могут рубить может быть трое из тысячи. Даже профессиональные плотники складывают стены из бруса, словно из кирпича. (Какой позор! Ведь спиленная часть дерева наиболее прочная, и дома тысячу лет строили из круглого леса.) Это лишь один пример бытовой деградации, происходящей под натиском технической цивилизации.

Однажды, лежа в больнице, я попытался записать, чем и как баюкают наших детей электронно-лучевые няньки, на чем воспитывают молодежь эфирные пестуны, получающие зарплату на «Радио России». России? Россией на радио не пахнет. В эфире для русского народа уже создана некая резервация — подобие будущей территориальной резервации, которую планируют сделать для нас дядюшки из трехсторонней комиссии.

Невероятный, непрерывный цинизм... Пошлые шуточки, перемежаемые фальшиво-тенденциозной информацией. Банальности и сплошные потуги быть остроумным. Музыкальный мусор, навязчивая «собачья» тема...

Дело было 2-го января. Ни один из выступавших перед микрофоном не забыл про наступающий «год собаки», словно живем не в России, а где-нибудь в Гонконге.

Но вот, наконец, передача о музыке под названием «Прекрасное рядом». Увы, рядом оказалось нечто другое. О музыке лишь говорят, самой же музыки нет. Так хочется послушать того же Моцарта, но нет его. А где Нестеренко, куда девалась Обухова? Их нет, есть одни шаманские бубны да обезьянье кривляние. Вот передача о студентах. Насчет учебы ни словечка, о мизерных стипендиях тоже молчок. Зато какая наглая пропаганда сексшопов, какой «серьезный» диалог с продавцом омерзительных изделий! Далее: выступает Аркадий Арканов и грозит отъездом в какую-то одному ему известную сторону, если русский народ не изменится.

Господи, почему это целый народ должен меняться? Да еще в худшую сторону? Не легче ли измениться одному Арк. Арканову? Идет какой-то авторский канал от первого лица... Музыкальные заставки к новостям — нечто скрежещущее, жесткое, немелодичное, словно орудут сковородками и кухонными противнями. Жеребячий голос пропагандирует какие-то фонды. На телеэкране — там уже ржут и скачут настоящие жеребцы. За жеребятами нечто расплывчатое, то ли кибитка, то ли телега; то ли там сидит кто-то, то ли пусто. Звучит МММ — телячье мычание, сулящее сделать ваш ваучер золотым.

И так изо дня в день, из месяца в месяц.

* * *

Борис Викторович Шергин записал однажды в своем дневнике: «...в разуме Божиим, то есть в разуме вечном, всемогущем, всеведающем и всезнающем понятия «память» и «жизнь» равнозначуще-равносильны и восполняют одно другое». Если уж на таком высоком уровне, на уровне Божественного разума эти понятия восполняют друг друга, то что говорить о разуме обычном, человеческом? Конечно, «философ» радиостанции «Свобода» или из родственного ей александро-яковлевского ведомства тотчас кинется опровергать Шергина, скажет, что в понятии «разум» иерархии нет и что градуировке оно не подвластно и пр. И прихлопнет в зародыше неприятную для него тему. Но я не собираюсь общаться с «философом». Мне хочется поговорить не с «философом», а с ежедневным потребителем «философской» жеванины, то есть со зрителем александро-яковлевской телевидии. (Он же усердный слушатель попцовских радиобрехунов.)

Итак, Борис Викторович Шергин говорит не только о

родстве, о взаимной необходимости друг для друга «жизни» и «памяти». Он говорит еще и о их зависимости от «разума». И если по Шергину жизнь и память, дополняя друг друга, зависят от вечного и всемогущего Разума, то можно ли сказать, что смерть и беспамятство подсобляют друг другу и куда глаза глядят убегают от разума? Что смерть и беспамятство родные детки безумия?

«Народ, теряющий память, теряет жизнь». Правота древнего изречения подтверждается для меня не только фразой из шергинского дневника. Об этом же вопиет все, что происходит в России. Странная забывчивость нашего народа — чем объяснить ее? Не природной ли добротой, которую краснобаи «Свободы» и александро-яковлевского телевидения то и дело называют извечным рабством? Конечно, и добротой. Отсутствием в русских людях свойства мстительности. Но почему наше христианское всепрощенчество зачастую оборачивается не общественно-политической гармонией, а еще большим хаосом?

Расстрел защитников Конституции осенью 1993 года забыт. Убийцы остались в руководящих креслах наедине со своей совестью. Комиссия по расследованию расстрела распущена. Что это, господа депутаты? Доброта и отсутствие мстительности? Нежелание новых противостояний? А может, просто лень? Или страх, обычная трусость? По-моему, и то, и другое, и третье, и четвертое. Но я не о депутатах... Я думаю сейчас о нашем непонятном народе, о миллионах симплициусов, которые так легко дают себя обмануть и так быстро прощают обманщиков. Я вспоминаю бурные пятна на асфальте улицы Королева. Вспоминаю Сашу Седельникова, расстрелянного снайпером у Белого дома. Дожди и снега давно смыли с асфальта кровь и слезы, пролитые в октябре 1993 года. Но кто и что смывает следы преступлений? Конечно, это они, бесы, бесплотные существа, материализованные в типографских и электронных средствах массовой информации. С какой настойчивостью, с какой веселой ловкостью лгут наши циники, вцепившись в радиомикрофоны! Как нахально испытывают они наше терпение!

О бесах знал еще Пушкин:

*Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре...*

Достоевский посвятил им целый роман. Но большинство симплицилиусов не читают романов. Большинство занято самым трудным на свете делом — выживанием.

Иногда мне кажется, что в этот раз русский народ обманула прежде всего его столица — белокаменная Москва. Кажется, что Москва уже не столица России, а город «желтого дьявола», некое интернациональное образование, живущее по своим отдельным законам. Но кто пишет нам эти законы?

Помнится, будучи солдатом, шагая в походном строю, я пел вместе с другими превосходную песню о Москве:

*И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва.*

Пролезли и в эту песню слова, кои уже тогда вставали поперек горла. Но куда было деться? Говорят, из песни слова не выкинешь. Приходилось петь о «любимом Сталине», хотя мой отец еще до войны певал такую песенку:

*У товарища у Сталина
Глаза наискосок,
До чего довел Россию,
Нету соли на кусок.*

Москва, однако, была столицей, и я пел про нее в солдатском строю.

...Спустя сорок лет, после добровольной ротации в лужьяновском Верховном Совете, после горбачевского предательства из-под моего грешного пера явились такие вот строчки:

*Заросла ты, Москва, бузиной.
И тебя поделили по-братски
Атлантический холод ночной
И безжалостный зной азиатский.
Не боялась железных пантер,
У драконов не кланчила милость,
Отзовись, почему же теперь
Золотому тельцу поклонилась?
Все заставы сгорели дотла,
Караульщики пьяные глухи,
И святые твои купола
Облепили зловещие духи.*

*Притомясь в поднебесной игре,
Опускаются с ревом и писком
В тишину на Поклонной горе,
В суету на холме Боровицком.
Днем и ночью по жилам антенн
Ядовитая влага струится...
Угодила в Египетский плен
Золотая моя столица!*

Одним дуракам не ясно, кто у власти в Москве, у того и власть над Россией. Истину эту давно знают даже самые придурковатые русофобы. Чего уж тут говорить о Бжезинском и Киссинджере! Этим-то ума не занимать-стать. Не то что их московским шестеркам вроде Юрия Карякина. Недавно в своей очередной истерике Карякин призывал Распутина и Белова публично высказать свое мнение о «русском фашизме». Да если б и существовал в природе этот самый «русский фашизм», кто бы дал Распутину прямой эфир? Это Карякину с Черниченком в любую студию в любое время ворота настезь. Нашему брату и в прямом эфире и в косвенном либо вообще отказано, либо отпускается он строго по медицинской норме.

Вспоминаю, как во время поездки в США вашингтонский демократ Михайло Михайлов предложил выступить по радиостанции «Свобода». Я не стал отказываться, явился в студию. Михайлов дал микрофон. Стоило заговорить откровенно о серьезных вещах, и у оператора за стеклянной стенкой сразу кончилось рабочее время. Все! Будь доволен и отправляйся под дождь на площадь Сахарова. Свобода на «Свободе» не ночевывала...

Однажды телевизия (целый автобус) по бездорожью нагрянула прямо в деревню. (Ехали около шестисот километров, сколько одного бензину сожгли.) Я согласился сдуру дать интервью. Без ужимок ответил на все вопросы. Через какое-то время посмотрел передачу. Зло взяло. Все серьезное было начисто вырезано.

И этот урок не пошел мне впрок.

Летом 1993 года я согласился выступить по Московскому телевидению. Передача была намечена на воскресенье 26 сентября. Надел галстук, чинно приехал в Останкино. В вестибюле мне вежливо показали увесистую фигу. Из-за меня, как выяснилось, безобидную передачу «Русский дом» вообще отменили... Такова, уважаемый Юрий Карякин, ваша свобода, ваша демократия! Вы скажете, что надо было настойчиво добиваться справедливости,

идти к начальству. Ну я и пошел. И дошел. До самого верха. Кабинет. На столе пачка «Мальборо» и прочая атрибутика. Я представил себя. Стараюсь говорить как можно спокойнее:

— Хотелось бы выяснить, кто запретил мне выступить перед москвичами?

— Я.

В его голосе не вежливость даже, а задушевная нежность.

— Почему? — Я поражен этой циничной вежливостью.

— И вы, и Доронина могли сказать там не то, что надо.

— А что надо?

— Ну, знаете... Вы же все понимаете.

— Нет, не все. Мне интересна психология отказа. Ваша психология. Сейчас я занимаюсь этим специально...

— Нельзя судить о психологии по внешним признакам.

— В этом я согласен с вами. Все же, почему вы не дали мне эфир?

— Потому что вы могли сказать неподходящие вещи...

— Но вы же все время говорите, что на радио и у вас на ТВ свобода.

— Я этого не говорил.

— Ну, не вы так другие.

— Василий Иванович, я не отвечаю за других.

— Но вы согласны с ними или со мной?

— Свободы нет. В России никогда свободы не было и долго не будет...

— Оставьте в покое Россию!.. Вы запретили передачу. Кто вам приказал? Лужков?

— Нет, я сам.

Он смотрит мне в глаза. Закуривает и вдруг начинает объяснять что-то про свою национальность. «Я латыш. Католик». Мне становится стыдно. Какое мне дело, что он католик? Говорю:

— Вы запретили передачу на двадцать шестое. Но вы могли бы компенсировать мне позднее...

Говорю о компенсации эфирного времени, он же понял совсем в другом смысле. Улыбается:

— Мы сделаем вам компенсацию. Не моральную, а физическую.

— Вы решили меня купить. Во сколько же вы меня оценили?

Тут он теряет самоуверенность:

— Инициатива исходила не от меня!

...Я с помятым видом подался к метро ВДНХ.

Нет, господин Карякин, в Останкине свобода тоже не ночевала. Ей и вообще нет места не только в нашей столице, но и во всем демократическом мире. До глубины души возмутил указ Президента о разгоне Съезда. Вначале сообщения об осаде Дома Советов вызывали саркастическую улыбку. Потом вспомнилось: поднявши меч, от меча и погибнешь. Я не был слишком горячим поклонником Хасбулатова, который наверно раз семь (вместе с вами, мистер Карякин) спасал от полного краха своего невезучего Президента. Но Хасбулатов и особенно его заместитель Воронин, а также председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин все же вызывали уважение своей принципиальностью и даже некоторой политической порядочностью.

Спустя десять дней, которые отнюдь не потрясли окружающий мир, позвонили из какой-то газеты «Путь». Я им продиктовал следующий текст:

«Из пушек по окнам парламента? Такого в мировой истории очень давно не было. А может и вообще не было, я не очень большой знаток мировой истории. Знаю твердо одно, вернее ощущаю всем своим существом, что последние московские события зловещи. Они зловещи и судьбоносны не только для нашей страны, но и для всего мира.

Незадолго до разгона Съезда и расстрела здания парламента я обращался ко многим западным корреспондентам, а также к Нобелевскому лауреату Солженицыну. Увы, попытки взывать к мировому общественному мнению не только безуспешны, но и очень наивны. По-видимому, все идет по какому-то четкому плану. Гражданская война в России стала фактом. Пусть не говорят мне о том, что она потушена! События в Москве стоят в одном логическом ряду с такими событиями, как война в Югославии и взрыв китайской ядерной бомбы, землетрясение в Индии и ракетная дуэль на Ближнем Востоке...

Если добавить сюда нравственную распушенность, всемирную компьютеризацию, введение общеевропейской валюты и так далее и так далее, то все это и сложится в большие и маленькие этапы одного большого ПУТИ ко всеобщей гибели. Я не говорю, что ПУТЬ этот один-разъединственный...»

Не знаю, напечатал ли «Путь» этот текст. Может, он закрыт. Так или иначе, демократы никогда не предложат стране никакого иного пути, кроме гайдара-kozyревского.

«Этапы большого пути» продолжены и причем с большим успехом.

Вольтера, который, призывая «раздавить гадину» (религию), снабдил своей знаменитой фразой нынешнего демократа Юрия Черниченко, знает каждый даже не доучившийся отрок. А многие ли знают, что говорил о религии Паскаль? Любая деревенская библиотека попотчует вас и «Кандидом» и Черниченко, но только не «Мыслями» Паскаля.

Паскаль, между прочим, делил всех людей на три сорта: «одни, нашедши Бога, служат Ему; вторые старательно ищут, но еще не нашли; третьи, живут, не найдя и даже не ища Его». Далее великий француз говорит, что «первые разумны и счастливы, вторые разумны, но еще несчастны, третьи безумны и несчастны».

Все эти десять дней я бродил по Москве то в отчаянии, то с надеждой. Наверное, если бы упомянутая мысль Паскаля не вылетела у меня из головы, было бы легче разобраться, что происходит. Но среди участников кровавой трагедии я видел лишь циников и симплициусов... Одни лгут, другие верят. Те, кто не поддавался лжи, расстреляны. Все просто. Вальтер Роджерс, корреспондент СиЭнЭн, лгал на весь мир, когда говорил, что на улицах Москвы совсем нет противников Ельцина. Миллионы американских симплициусов поверили Роджерсу, а Саша Седельников, пытавшийся запечатлеть правду — расстрелян снайпером. Кстати, чьи снайперы сидели на крышах? Все радиостанции дружно лгали: на крышах сидят люди Руцкого и Хасбулатова. Тема снайперов придумана в средствах массовой информации. Власть над одним передатчиком достаточной мощности куда важнее генеральской. Да и генерал, ну что генерал? Прошли для России времена Раевских и Скобелевых. Редкого генерала нынче невозможно сподкупить дачным коттеджем, либо так подженить, что он без обсуждения выполнит любую команду. С депутатами дела выглядят несколько лучше, но не намного. Все депутаты, у которых осталась совесть, стремились по утрам к Дому Советов. Тех, которые продались за два миллиона, было меньше, они по одному, за коулками убегали в другую сторону. Я видел, как москвичи тысячами, сменяя друг друга митинговали перед балконом. Жгли по ночам костры. Читали, писали веселые, горькие, грозные, ехидные надписи на стенах. Лепили какие-то жалкие баррикады.

...В проходе у проволочного ограждения на моих гла-

зах верзила в омовальной форме бьет дубинкой пожилую кричащую женщину. Подскакиваю к офицеру, пытаюсь что-то доказать. Он стоит как истукан. Толпа напирает. Со стороны набережной еще можно было проникнуть внутрь Дома Советов. Тропами, мимо громающей электростанции, пробираюсь к восьмому подъезду. Тревога и профессиональное (может быть, старинное журналистское) любопытство толкают меня по лестницам, ближе к хасбулатовскому кабинету. Везде полно иностранных и здешних корреспондентов. Всюду народ. Кто тут защитник, кто провокатор — не разберется и само ЦРУ...

В тот раз, когда я выкладывал на стол Руслана Имановича значок депутата, пришлось ждать. Нынче без всякой задержки пропустили к нему. Бледный до желтизны. Курит трубку. Я съехидничал, напомнив ему о судьбе союзного Съезда, спросил, получил ли он мою телеграмму. В ней говорилось об информационном вакууме, о том, что на местах ничего не знают о московских событиях. Сказал, что Верховному Совету нужна своя мощная радиостанция, иначе их никто не поддержит. Он, видимо, думал иначе. Он остановил мою филиппику: «Да ведь давал же я распоряжение! снова не выполнили...» В его голосе звучало раздражение: ходят, мол, тут всякие, учат... Я пожелал ему удачи. При выходе лоб в лоб столкнулся с Руцким. Генерал выглядел бодро и озабоченно, даже несколько торжественно. По-видимому, оба с Хасбулатовым нисколько не сомневались в победе. Ведь Закон был на их стороне, Верховный Совет действовал. Они ждали скорой поддержки с мест.

Но Россия молчала.

Бурлила Москва, а страна не обращала на Москву никакого внимания. Народ в глубинке, чтобы спасти законную власть, не ударил палец о палец. Почему? Да потому, во-первых, что парламент не родное изобретение! Потому еще, что Руцкой совсем недавно стоял на танке вместе с Ельциным. А еще потому, что депутаты во главе с Хасбулатовым сами дали Ельцину власть, ничем не ограниченную, что русский народ вообще не доверяет Москве. А, может, потому молчала Россия, что не знала, что происходит и, замороженный пением попцовских сирен, народ наш дремал после долгой большевистской бессонницы? Одни «роялисты» шумно спорили за бутылками...

Пространство вокруг Дома Советов сжималось спиралью Бруно, и сердце тоже сжималось от самых гнусных предчувствий. Кольца стальной змеи, свернувшись вокруг

собрания законодателей, не возмутили совесть демократических поборников правового государства. А что думала просвещенная Европа? Все еще казалось, что в мире есть честные люди, что вот-вот мы услышим их справедливый и гневный голос.

Вспомнился мне Фритц Пляйтген, работник одной крупной немецкой радиокомпании. Он дважды бывал у меня в деревне. Его передачи, насколько я знал, были объективны. Пляйтгена не оказалось в Москве. Другой немецкий телевизионщик взял с меня слово, что я никогда не буду использовать запись беседы.

(Ничего себе! Я-то думал, что западные корреспонденты давно ничего не боятся.) Спрашиваю:

— Согласны ли Вы с тем, что указ Ельцина был антиконституционным?

— Да, — сказал немец.

— Скажите, а что бы сделал Бундестаг, если бы господин Коль нарушил конституцию?

— Бундестаг обратился бы в конституционный суд с запросом о соответствии канцлера занимаемой должности...

— Так же как у нас?

Мне объяснили, что было бы с Кодем дальше, и я упрекнул западные средства информации в двойной морали. Немец слегка смутился и, чтобы выкрутиться, прочитал мне лекцию о Веймарской республике, о том, что Гитлер пришел к власти законным путем и прочее.

Другие мои попытки взывать к общественному мнению Запада были столь же наивны, как и бесплодны. Не помню, какого числа я долго и терпеливо торчал в приемной «Комсомольской Правды». В надежде на срочную публикацию моего письма к Солженицыну два часа терпел хамовитую секретаршу. В кабинете редактора совещались. Наконец, отказали. Тогда я обратился к Александру Исаевичу через «Советскую Россию» (это было как раз перед ее закрытием). Не знаю, дошла ли публикация до А. И. Солженицына, но он не ответил на письмо ни тогда, ни позднее...

Среди защитников Дома Советов прошел слух: на шестнадцатом этаже начала, наконец, работать депутатская радиостанция. Пешком поднимаюсь на верхотуру. Ни верхотура, ни тамошняя аппаратура особого оптимизма не вызвали. Но я взял у Сергея Лыкошина микрофон, сказал что-то в защиту депутатского съезда и прочитал

свой сыроватый экспромт, написанный около известного министерства:

*Предатели русских полей!
...Сбираясь в Парижи и Бонны,
Просите своих матерей
Спороть золотые погоны.
Потеть на банкетах обильных
Удобней в костюмах цивильных.
Горит ли в ночи Водолей,
Мерцает ли свет Козерога,
Предатели русских морей,
К чему вам морская дорога?
Одним президентским авралом
Присвоят вам всем адмиралов.
Создатели грозных ракет,
Читатели лживых известий,
Не верьте при звоне монет
Охрипшему голосу чести,
Останетесь живы и целы...
Салют, господа офицеры!*

Кто, кроме степашинских и примаковских ребят, слышал эту радиостанцию? Наверное, никто. Зато лживые, с придыханием голоса на всех языках обрабатывали планету. Вообще, тема всемирной радиофикации обширна и неисчерпаема. Она уже не вмещается в диапазон между штырем омовский рации и грандиозной иглой Останкина. Касаясь всего и вся, от космоса до мозгового нейрона, она, эта тема, преследует меня всю жизнь. Бывало, еще в детстве целыми днями возился с самодельными вариометрами, мастерил конденсаторы из чайной фольги. Тогда было все напрасно: в наушниках не ощущалось никаких звуков... Зато в армии я три с половиной года шарил в эфире и слышал грозные разряды всей планеты.

Вдоволь наслаждался всяких шорохов. Содержание длинющих шифровок, подписанных которым-то из Даллесов, знал Берия и его команда. Рядовому Советской Армии это содержание не докладывалось. О тогдашних замыслах братьев Даллесов я узнал только сейчас. Больше того: сам удостоился чести тайного перехвата. Мой домашний телефон с разной долей усердия подслушивается при всех конституциях. (Впервые я обнаружил это при Андропове и, помнится, как заправский диссидент, разбивал свой страх подобием гордости.)

Во дни «великого Октября» сидеть перед ящиком было неважно. Я бродил около бэтээров и солдатских шеренг, глушил свою горечь фамиллярными разговорами с вооруженными защитниками Отечества:

— Можно вопрос?

— Пожалуйста. — Капитан милиции вежливо отвел ствол автомата чуть в сторону.

— Не предполагаете ли такой вариант, что Ерина будут судить?

Он думал секунд десять. Потом отвернулся и неуверенно пробурчал:

— История покажет...

На Арбате у Садового — мощный офицерский заслон. Стоят локоть к локтю. Подхожу к розовошечному круглолицему сержанту, у которого рация:

— Кому служите?

— Себе! — Харя веселая. На офицеров не обращает внимания.

Высокий офицер добавляет:

— Закону служим.

— Но закон позволяет свободно ходить по Москве. Чего вы тут стоите?

— Нам платят за это, — говорит второй офицер.

— А сколько платят?

— На хлеб хватает! — с улыбкой включается третий (малорослый, вроде меня).

— На хлеб, это мало, — говорю и чувствую, что растет раздражение, зубы сжимаются.

— Отец, иди, не разводи политинформацию, — говорит четвертый и отводит взгляд.

Второго октября, у Краснопресненского метро — цепь здоровенных омонцев с автоматами. Горечь и боль вскипают, сдавливают горло.

— Ребята, в кого стрелять приготовились?

— В дураков! — Омоновец с презрением сверху вниз глядит на меня. Его сосед тычет мне дулом в плечо:

— В таких, как ты!

— Как отличать будешь умных от дураков?

С тыла ко мне подсакивает парень в гражданском:

— Дед, ты дожил до седых волос, а такой идиот!

— Мой отец погиб под Смоленском...

Люди в толпе узнают меня, пробуют заступиться: «Это писатель, как вам не стыдно?» Моих заступников отесняют щитами, меня нейтрализуют какие-то парни в штатском: «Успокойтесь! Идите! Идите!»

Омоновец сипло орет:

— Мне х... с ним, что он писатель. Плевал я и на его отца! Пускай идет отсюда пока цел!

Таких церберов вокруг Дома Советов было сравнительно мало. Большинство солдат устало и безучастно смотрело поверх голов, у многих офицеров светилось в глазах тайное сочувствие, понимание происходящего. Сейчас, перечитывая тогдашние записки, я почти согласен с омоновцем насчет моего писательства. Но я пытаюсь и не могу простить ему оскорбление отцовской памяти. Нет, это был не симплициус, не Иван-дурак, не Бубус-американус. В его матюгах было нечто большее, чем обычная злоба усталого и запутавшегося. Это был настоящий бес во плоти. «В средство погубления человеческого рода, — говорит святитель Игнатий, — употреблена была павшим ангелом ложь. По этой причине Господь назвал дьявола ЛОЖЬЮ, ОТЦОМ ЛЖИ И ЧЕЛОВЕКОУБИЙЦЕЮ ИСКОНИ»¹. Понятие о лжи Господь тесно соединил с понятием о человекоубийстве: потому что последнее есть непременно последствие первой».

Почему же мы снова и снова верим обманщикам?

Московские демократы, на все лады клеймящие коммунистов, ничуть не протестовали, когда уже во времена перестройки устанавливалась грандиозная глыба на Октябрьской площади. Я видел, как ее везли по всей Москве. Ночью, с прожекторами. Земля содрогалась от неимоверной тяжести.

Демократы не торопятся убирать эту тяжесть и сейчас, когда полностью захватили власть. Я думал об этом вечером, накануне разрешенного властями митинга. А почему Лужков и Ерин, когда вся Москва уже давно скрипела зубами, с такой легкостью согласились на анпиловский митинг? Этот вопрос даже не возник в моей голове. Думаю, что не возник он и у большинства москвичей. И напрасно, поскольку этот митинг оказался частью общего стратегического плана по разгрому осажденного Съезда и последующему разгону всех Советов.

В воскресенье, 3 октября я опоздал на Октябрьскую площадь. Честно говоря, проспал. Впрочем, смотреть анпиловских старушенок с портретами Ленина не очень и торопился.

В этот раз, однако ж, там были не одни старушонки...

Помню, что каким-то образом втянулся в спор, проис-

¹ Иоанн. 8.44.

ходивший в метро. Возбужденный, встревоженный человек, едва сдерживая гнев, энергично возражал какой-то демократической даме, ругавшей всех митингующих.

— Чего они кричат? Чего им надо? — разорвалась дама.

— Вот попадете под омовскую дубинку, тогда может и поймете, чего кричат.

На смоленской мы вместе вышли из электрички, поднялись на поверхность. Он сбивчиво рассказал, как вместе с женой был на Октябрьской площади, как произошел прорыв и омовцы побежали. Жену ударили дубинкой, у нее, видимо, сотрясение, ее тошнило. Он кое-как отвез ее домой, уложил в постель, а сам ринулся к Дому Советов.

Белая борода снова, в который раз за эти дни, меня выдала. Он назвал себя и сказал, что мне не следует ходить без охраны... Краснеть от таких комплиментов или благодарить?

По Садовому в сторону Дома Советов во всю ширину улицы бежали и шли возбужденные москвичи. Торопились с разноцветными, в том числе и красными флагами. На асфальте валялся милицейский щит, стояли чьи-то легковушки с разбитыми стеклами, заглохшие грузовики с раскрытыми дверцами. Везде народ и — странно — вокруг ни одного милиционера, ни одного омовца! Ведь еще утром они гроздьями стояли на всех прилегающих к Дому Советов улицах. Куда так дружно исчезли?

У мэрии (как чуждо для русского слуха это слово), у мэрии я оторвался от опекуна, смешался с толпой. Кругом ликовали. Везде валялись какие-то бывшие заграждения. Под башмаками хрустели стекла разбитых окон. Я проскочил сквозь оцепление, забежал по ступеням на площадку перед входом в мэрию. (Почему-то хотелось узнать, что происходит внутри.) Военный с автоматом выскочил на площадку.

— Назад! Назад! — кричал он. Я покинул площадку, направился к тройным оцеплениям Дома Советов. Осада была снята. В проходы между витками колючей проволоки шли и бежали люди. Я перелез через баррикадный завал. Еще дымили кое-где ночные костры защитников, но сами защитники уже смешались с толпой. Уже никто не охранял подступы к Дому Советов...

Я прошел к восьмому подъезду, протолкался к дверям, где стоял пост. Меня тут знали по предыдущим визитам и пропустили.

Что происходило внутри? Ликовали, кажется, все, даже подосланные провокаторы. Все поздравляли друг дру-

га. Одни иностранные корреспонденты и телевизионщики не выражали восторга. Я прошел на балкон, нахально уселся в ложе для гостей и газетчиков. Чья-то телекамера усиленно снимала мою персону. Поздоровался с Умалатовой, сидевшей сзади, начал разглядывать депутатские ряды внизу. Ярко горели люстры. Участники съезда поспешно собирались на заседание. Вот в середине зала показался бледный Руслан Хасбулатов, улыбаясь и отвечая на поздравления, он продвигался к президиуму. Какая-то дама поздравила его поцелуем. Он прошел в президиум, сказал короткую речь, сообщил, что мэрия взята, Останкино тоже, и что на очереди Кремль. В ответ радостные аплодисменты и крики «ура»...

Я сказал одному из знакомых: «Не говори гоп, куда не перепрыгнешь...» И вышел из зала. В буфетах уже подавали горячий чай. (В первые дни осады, когда электричества не было, пили какой-то холодный ягодный напиток.) Так. Значит Останкино взято? Я решил остаться тут до утра. Но прошел час, полтора, два. Кто-то, кажется, Володя Бондаренко, сказал, что в Останкине идет бой. Я бесцеремонно отделался от сопровождавших меня знакомых, вышел через восьмой подъезд. Прошел через толпу и через проходы среди баррикад. Ни одного милиционера, ни одного омоновца! Я уехал на ВДНХ. У Останкинской студии действительно шел бой...

Сейчас я вспомнил вдруг эпизод из жизни полкововца А. В. Суворова. Однажды под напором (кажется, турецких) войск русские дрогнули и побежали. Александр Васильевич тоже пришпорил кобылу. Он поспешно скакал с поля боя вместе со всеми, молча сперва, а потом и давай кричать:

— Заманивай их, братцы! Заманивай!

«Братцы» понемногу очухались, «заманили». Потом развернулись на 180 градусов и ударили. Да так, что от противника мало чего и осталось.

Конечно, Ерин-министр на Суворова не тянет. Но Хасбулатов с Руцким, опьяненные взятием, почти не охраняемой мэрии, оказались очень похожи на тех турок.

Гениальными, как и всегда, оказались СМИ. Они срочно, еще до кровавого понедельника создали несколько запасных и рабочих мифов. Например, очень пригодился миф о полной растерянности в окружении Ельцина 3—4 октября. Мифу о планируемых боевых вылазках из Дома Советов, конечно, никто из серьезных людей не верил. Но это и не важно. Главное, чтобы врать, врать и не

останавливаться... А миф о русском фашизме? Тьфу, прости меня, Господи... Ведь баркашовцев в свое время для того и узаконили, для того и позволили им носить черных мундиров и собраться в кучку, чтобы Козырев и Гайдар, ни слова не говоря о бейтаровцах, на весь мир вопили о русском фашизме! «Заманивай их, заманивай! И вот единственный сын космонавта Егорова сражен омовской пулей под жуткой иглой Останкинской башни. Нет, не фашисты хотели взять Останкино, а обычные московские юноши, которым надоела ложь этих самых СМИ, надоело то, что синявские называют Россию сухой, что Войнович в каждом русском солдате видит Чонкина.

Да мало ли чего надоело! Россия вся сидит, как говорится, на этой игле.

Там, у здания телецентра полыхнула кроваво-дымная вспышка, сопровождаемая мощным хлопком. Раздался единый слитный возглас. Толпа как бы дружно охнула... Метрах в тридцати от Шереметевского пруда я перевел дух, укрылся за бетонной опорой. Оглушительный треск каких-то незнакомых калибров. Треск этот усиливался, пулевые шмели пунктирными линиями летели из телецентра. Они перекрещивались и безжалостно впивались в гущу людей. Далековато я был от этих людей! (Может двести, может четыреста метров.) Но я знал, чувствовал, как их расстреливают, восторженных, безоружных... Общий гул уже не поглощал крики раненых, проклятья и мат. Люди ложились прямо на асфальт, кидались из стороны в сторону. Некоторые устремлялись к метро. Навстречу бежали и шли новые то ли зрители, то ли поборники правды. Я перебежал дорогу, прислонился к бетонному троллейбусному столбу. Впереди что-то сильно горело, может машина, может рекламный щит. У другого края опоры внизу спокойно пристроился какой-то мужичонко. Рядом с ним, укрывшись трофейным милицеским щитом, так же спокойно лежал мальчик лет десяти. «Ты откуда?» — спросил мужичонко. Я сказал, что я вологодский. «А я владимирский, — с гордостью доложил он. — Приехал вот, вместе с сыном. Постой, постой... А ты не писатель?» Я разозлился, сказал, что надо бы поскорее увести ребенка в безопасное место, что омовский щит защита не больно надежная. Даже совсем не надежная. Он же начал вдруг просить автограф... Полез в торбу, достал какой-то блокнот записями. Я расписался в его затрепанной хартии... Шум бэтээровских дизелей со стороны металлического Циолковского, крики «ура, это наши!»

прервали мое знакомство с двумя владимирцами. Я побежал навстречу бэтээрам, насчитал их шесть или восемь. Они круто один за другим сворачивали влево...

Не помню, до бэтээров или уже после, в тылу штурмующих остановился автобус. Из него торопливо выскакивали люди, их тоже приняли за наших. Я подошел ближе, чтобы выяснить, откуда они. Суетливо-нервные, некоторые заметно взвинчены алкоголем... Послышались трусливые, реденькие пистолетные щелчки. (Они падали в воздух либо в асфальт. Но люди, штурмующие телецентр, не обращали на них внимания.) Энергичный регулировщик в штатском принимал все новые легковушки с вооруженными лавочниками, указывая, где встать, что-то командовал... Я побрел ближе к метро...

Сейчас, слушая тогдашнюю пленку, разбирая записи, ловлю себя на том что мне не хочется описывать ни ту кошмарную ночь, ни последующее утро, с его победным грохом демократических пушек. Я ходил и ездил вокруг грачевского стрельбища как блуждающий спутник... Такого позора, когда пушки в Москве бьют по своим, не было со времен Троицкого. Расстрелян парламент, а парламентская Европа молчит, довольная. Телевизия наша очнулась, вчерашнего страха как ни бывало. На улицах Москвы стрельба, а телебарышня щебечет и сует микрофон в лицо первым попавшимся.

— Скажите, у вас есть заветное желание?

Пожилой, видимо, приезжий дядька не может понять, чего ей надо. Камера многозначительно, без комментариев переводится на другой объект. Дескать, что с дурака возьмешь. В объективе уже солдат.

— У вас есть заветное желание?

— Выспаться...

«Выспаться»... «Уехать домой», «Уволиться из милиции». Идет стрельба, гибнут люди. А камера крупным планом показывает упаковку презервативов, брошенную под ноги солдатику. И опять:

— У вас есть самое сильное желание?

На Новом Арбате, около Дома Дружбы меня остановил человек. Роскошная черная борода, не менее роскошный черный костюм. Где мы познакомились? Не помню. Танки палят по Белому Дому. Он спрашивает:

— Как вы смотрите на весь этот бардак?

— Извините, это не бардак...

— А что, если не бардак?

— Это трагедия. Убивают людей, а Вы говорите бардак.

Уходит разочарованный. Никак не могу вспомнить фамилию. Вроде из академиков.

У переходов здоровенный блондин в белоснежном свитере плотно окружен мужиками, клеймящими Ельцина:

— Ты скажи, нет ты скажи, почему ты так за него стоишь?

— Потому что он дает заработать! Я работаю! Первый раз в жизни мне дали заработать!

— Торговлей, что ли?

— Ну и что?

Подходит другой, трусливый, но звонкий. Как мячик отскакивает от спорящих. Блондин в свитере остался без поддержки. Мужики называют его спекулянтom. Хотя сегодня почти все ларьки бездействуют. Горит Белый дом, густой дым валит с верхнего этажа мэрии. Палят грачевские танки.

— Работать надо, а не митинговать, — говорит дама (вся в золоте).

— Это когда ты работала? — усмехается мужчина в сером пальто. — Ты сроду не работала. Не видно что ли?

— У меня муж работает!

— Да иди ты...

Трещат автоматные очереди. Толпа на Новом Арбате шарахнулась, побежала. Я присел за бетонное ограждение у подземного перехода. Совсем рядом фигуры автоматчиков. Палят с колена, укрываясь за мощными скатами военных автомашин. В кого? В толпе говорят, что бьют по крышам. Кто-то кричит: «Не бойтесь, они холостыми!» Новая очередь, снова бежим по Арбату... А там, чуть дальше, вечное гульбище, вечное торжище, как будто ничего не случилось. Московские циники не любят считать покойников. Сколько их там, около Белого дома?

Вечером в метро сажу рядом с человеком в военной одежде (без погон). Читает журнал «Родина». Усталый, обросший. Рискуя быть фамильярным, спрашиваю:

— Вы москвич?

— Да.

— Как Вы думаете, что будет дальше

— Что? Мерзавцы за все ответят.

— Кого Вы имеете ввиду?

— Того, кто развязал всю эту бойню.

— А кто ее развязал?

Молчание. Мне хочется предложить ему хоть сколько-нибудь денег. Вдруг я замечаю, что его защитные штаны и куртка чисты, как только что из магазина или химчистки.

Нет, он явно не штурмовал телецентр минувшей ночью. Когда он вышел, то словно в отместку за назойливость, ко мне подсел некто «уходящий в плаще» (как писал когда-то Николай Рубцов):

— Мы были с Вами на одной пресс-конференции...

— Очень хорошо. Где?

— В кремле... года три назад.

— Не помню.

— Я врач психолог. Ведь Вы писатель?

— Да.

— Вчера я был под пулями, перевязал несколько раненых...

— Ну и что?

— Как Вы ко всему этому относитесь?

Я понес... Вдруг он начал ссылаться на Клинтона. Я встал в противоположный конец вагона. Претя за мной следом. Начал нудно, униженно доказывать, что он не тот, за кого я его принимаю...

Тот не тот. Какая разница? Саша Седелников в море. Москва для меня перестала быть русской столицей.

Почему-то многие люди очень любят сообщать о самых дурных слухах. Отчего такое болезненное желание поскорее сообщить, например, о смерти того-то и того-то, что тот-то и тот-то попал в больницу? Вероятно, вот так же разванивали по Вологде слух о гибели в Белом доме Тамары Ильиничны Леты — вологодского депутата. Я оцепенел от этого сообщения. А каково было ее семье в эти дни? По звонку из Вологды меня просили выяснить, где она.

Я начал звонить... Никто ничего не знал. По телевизору СИЭНЭНовцы показывают, как бежит от пуль депутат Уражцев. Вижу, как задирают голову какому-то юноше, держа его сзади за волосы и толкая. Мечутся толпы людей. На секунду мелькнул в какой-то передаче депутат Бабурин, с достоинством покидающий подъезд. Вот медленно разворачивается башня танка, вот красные от огня подвалы хасбулатовских окон. Но куда звонить о Тамаре Ильиничне? Где искать?

Я ничего не смог выяснить. Приемничек, подаренный мне к пятидесятилетию, всю ночь клймил защитников Дома Советов. Западные голоса лгали так же бессовестно, как московские. Возбужденные, радостные, захлебывающиеся голоса Москвы ежеминутно сменялись то шлягерной дребеденью, то фальшиво-сентиментальными песенками и снова лгали. Это были радиостанции «Эхо Моск-

вы», «Маяк», «Новая волна», «Радио России» и т. д. Какая там Россия! России в попцовском эфире не было. Батарейки садилась. Около семи часов утра они скопили остатки энергии, и вдруг...

Вдруг я поймал правдивый голос! Один единственный, голос, который вперемежку с махровой ложью, говорил правду, хотя тут же раздавались возмущенные комментарии либо сухое заключение: «Что ж, это ваша точка зрения, вы имеете на нее право». Шлягеры изредка прерывались звонками слушателей — противников и сторонников Президента. Это была женская радиостанция под названием «Надежда», с телефоном 233-78-49.

Надежда... А что если позвонить им, попросить помочь разыскать Тамару Ильиничну и корреспондентку из Вологды Нину Авдюшкину? Лихорадочно начал звонить «Надежде», на ходу соображал, что им скажу. Скажу, что сестер моего отца, погибшего под Смоленском, звали Вера и Любовь. Скажу, что телефон все время был занят, настолько они популярны.

Я набрал этот номер раз пятьдесят, не меньше. Наконец, послышались длинные гудки.

— Здравствуйте. Это радиостанция «Надежда»?

— Да. Здравствуйте.

Я представился, спросил, знают ли они такого литературного деятеля. Оказалось, что знают. Я начал хвалить радиостанцию, говорить, что служил в армии радистом, и что всю ночь шарил в эфире на средних и коротких волнах. Сказал, что ни одна радиостанция не только Москвы, но и всей Европы не дала микрофон противникам Президента.

— Одна «Надежда»... была объективна в эфире. Вы записываете или мои слова идут в эфир?

— Нет, мы записываем.

— Помогите мне разыскать женщину-депутата... — Назвал имя, фамилию, сказал, что она врач, была под обстрелом. — У вас же такие возможности...

Напрасно я все утро слушал женскую радиостанцию. Мое объявление не прозвучало в московском эфире... Подряд шли какие-то французские песенки. После моего звонка «Надежда» вообще перестала транслировать разговоры со слушателями. Боже мой, что я, дурак, наделал! Ведь они просто испугались, что единственные в эфире дают возможность высказываться противникам победителей. Испуганные собственной порядочностью, они враз перестали заигрывать с правдой.

Конечно, легче и безопасней придумывать мифы о русском фашизме или вопить об извечном рабстве России.

...К счастью, мои землячки выбрались из парламентского пекла. Потрясенными, измученными, но живыми. Судьба уберегла их от кумулятивных снарядов.

* * *

Рассуждая о циниках всемирной радиофикации, я не оставил места для разговора о их алкогольно-наркотическом и газетно-журнальном поприще. На глаза попались заголовки, выписанные из одной молодежной газеты: «край суровый нищетой объят», «Бился в тесном тоннеле огонь», «Какой Марадона не любит быстрой езды», «Бензин отечества нам сладок и приятен». Ах, милые, что бы вы стали делать без Гоголя и Грибоедова? Фантазия ваша цинична, убога, смахивает на плагиат. Миллионы симплициусов ежедневно жадно глотают грязную нездоровую пищу, состряпанную в прокуренных закутках ваших редакций. Вот уже и книжный редактор уподобился курам и питухам (от глаголов «курить» и «пить») молодежной прессы. Вероятно, обличая циника, я сам покидаю пространство, занятое добродушными. Вместо того, чтобы написать начатый рассказ, пишу дрянную публицистику: «Дрянные книги — это интеллектуальный яд, они портят ум, — говорит Шопенгауер. — Так как люди, вместо лучших произведений всех времен, всегда читают только новинки, то и писатели остаются в тесном кругу циркулирующих идей и наш век более и более погружается в свою тину».

В другом месте Артур Шопенгауер говорит, что «мы бросаем прочь книгу, как только замечаем, что с нею мы очутились в области более темной, чем наша собственная».

Если бы так... Нынешние симплициусы, одураченные, беспомощные, добровольно, охотно лезут в области более темные, чем их собственная. Я утверждаю это, не приводя алкогольной, демографической, экологической и прочей статистики. Они чудовищны, эти статистические данные.

Всего пять лет осталось от второго христианского тысячелетия. Остатки — сладки... Всего каких-то тысяча семьсот дней.

Что ждет нас в третьем тысячелетии?

С тревожной думой о будущем, я откладываю начатый рассказ и размышляю над материалом для очередной статьи. Наверное, назову ее «Контурсы резервации»...

ЧИНОВНИКИ

«...в фонде имущества Вологодской области средняя заработная плата составила 8,6 миллиона рублей, а размер премиальных выплат — 15 миллионов в месяц. При увольнении на пенсию председателю фонда выплачено 293 миллиона рублей, главному специалисту — 85,7 миллиона рублей и секретарю — 39,3 миллиона рублей».

«Советская Россия», 27 января 1998 г.

Прочитал я этот отрывок из выступления депутата Илюхина и глазам не поверил. Не может этого быть! Наверное, опечатка... Или клевета на вологодского губернатора? Вон бывший губернатор, и сидя в тюрьме, все время твердит, что его оклеветали, что дело его сфальсифицировано. От этой прессы, словно от Жириновского, всего можно ожидать. А я все еще патриот Вологды...

Приехал в столицу «демократического» государства Москву. Позвонил в редакцию «Советской России»: «Правда ли?» — «Все точно», — отвечают. Встретил знакомого, работающего в самой Думе. «Нет ли, — спрашиваю, — какой путаницы? Не может быть, чтобы вологодские чиновники хапали такими порциями!» «Никакой путаницы, все так и есть», — говорит знакомый.

Нет, никакой ошибки и никакой опечатки не было! Средняя зарплата 8,6 миллиона рублей, премиальные начальнику 293 милиона, секретарше без мала сорок миллионов...

Все равно никак не верится...

Вернувшись в Вологду, звоню губернатору В. Е. Позгалеву (хотелось устроить встречу без «галстуков»). Но чтобы с ходу дозвониться до губернатора, надо быть, по меньшей мере, его замом. Или хотя бы каким-нибудь мэром. Нет, чего это я буду опять мозолить глаза любопытным губернаторским секретаршам? Схожу-ка я прямиком в этот самый фонд. Но мой журналистский пыл остыл еще в вестибюле, на подходе к тому начальнику, что занимается приватизацией заводов и фабрик. Оказывается, полумиллиардная сумма, ушедшая на премии, давно заинтере-

совала вологодскую общественность. Как думская коробка с долларами. Оказалось, что областной прокурор не обнаружил в этих гигантских премиях ничего незаконного, что все делается по закону. Судить за такую «премию», как судят бывшего губернатора Подгорнова, нельзя. Состав преступления нет. Значит, и сам Илюхин знал, что такие премии законны? Ничего себе! Этот идиотский закон был принят еще в хасбулатовской Думе. Но какая, в общем-то, разница, кто принимал? И вспомнились многие эпизоды десятилетней давности. Вологодские «демократы», подражая московским, срывали замки, хватили все подряд, «приватизировали» дома, гаражи, базы, склады, конторы с мебелью. И никого из них не арестовали во время этого грабежа, ни одного не посадили! Все происходило, увы, по закону...

Очень мне хотелось спросить областного прокурора: неужели в получении полумиллиарда премий действительно нет никакого преступления? Если это так, то хотя бы взглянуть в глаза бессовестному чиновнику. Не ощущая стыда, он загреб сразу 293 миллиона при полном безмолвии богоспасаемой Вологды. Невероятно, однако же факт!

Получить аудиенцию у прокурора ничуть не легче, чем встретиться с губернатором. И решил я никуда не ходить. Плюнул и говорю: а ну их... Пусть делают, что хотят. Еще подумают, что завидую.

Вот так рассуждает почти вся Россия.

А что, разве не так? Со стыдом вспоминаю, как однажды чуть не попросил какую-нибудь должностишку в областной администрации, чтобы не остаться наедине с ельцинской пенсией. Возник такой краткий мысленный позыв в тот момент, когда думские депутаты и административные чиновники добились для себя позорных привилегий при выходе на пенсию. Почему это чиновникам такая побрякушка? Я-то, дурак, думал, что пенсионный закон для всех один. Ан нет! Даже представители прессы, приписанные к администрации, получили пенсии, намного превышающие мою, писательскую. Но тут подоспело звание почетного гражданина Вологды. Жена говорит: «Добро надо ценить». И я заглох... Не стал я выклянчивать «должностишку» в администрации, не стал возмущаться высокими чиновничьими пенсиями и окладами...

Не так ли ведет себя и всякий, особенно сельский пенсионер? Прибавят ему какую-нибудь жалкую ельцин-

скую пятерку, он и довольнехонек. На выборах вновь проголосует «за Ельцина»! Так что ты тоже как все, то есть трус. «Сиди и не нявгай», — как говаривала моя бабушка.

Да, вологодские пенсионеры, наверное, никогда не пойдут с плакатами. Матери, не получающие детские пособия, не будут бить стекла в роскошных особняках, облеченных властью плутократов. Работяги в колхозе или лесопункте, годами не получающие зарплату, не станут держать какого-нибудь директора взаперти, как в Кемерове. Для таких протестов вологжане слишком стыдливы, слишком совестливы. Продающиеся зарубежным фирмам демократические администраторы с помощью еврейских денег, газет, радио и телевидения прекрасно изучили свойства совестливой русской души... Православную душу почему-то не очень и волнует нищенская пенсия или невыплаченная, тоже нищенская зарплата. Смирились и с тем, что пенсии для чиновников разительно отличаются от остальных и что чиновников в государстве копится все больше и больше... Еще Горбачев говаривал, что чиновников, состоящих на службе (т. е. сидящих на шее налогоплательщиков), развелось около 16 миллионов.

Но это было когда? При нынешней власти их стало еще больше, и зарплата у них... Как говорится, ой-ей-ей!

Выяснить, сколько развелось чиновников хотя бы в одной Вологодской области, мне не удалось. Как говорится, почти военная тайна...

* * *

Увы, не заметила православная Русь гнусного предательства Горбачева, Яковлева и Шеварднадзе. О, как ловко облапошила нас дьявольская эта троица, как хитроумно использовала народное недовольство безбожной коммунистической властью! Как незаметно подсунула нам новую денежную власть, ввергнувшую Россию под банкирское иго!

Бесстыдство, с которым депутаты и ельцинские госчиновники сами себе устанавливают зарплату и назначают пенсию, поистине бесподобно. Они сами себя премируют, сами себя награждают и повышают в должности. Правда, для того, чтобы повысли, т. е. чтобы твой социальный статус укрепился еще больше, надо верно служить вышестоящему чиновнику, обладать достаточно высоким чувством опасности, хитростью и подхалимским талантом.

В этой системе вовсе не обязательны высокие деловые качества. Хватит иной раз и того, что ты выучился (выучилась) угодничать, держать язык за зубами и подмахивать шулерские бумаги. Не способен (не способна) на это — снимут. Понизят. Или вообще укажут на дверь. Способов сокращения достаточно. Говорю пока о чиновниках, не касаясь рабочих. Но когда с молотка идут целые комбинаты, когда остановлены заводы и фабрики, когда под флером технического прогресса нарочно создана система безработицы, оказаться за проходной проще, чем за пределами офиса. Директор-акционер всегда найдет способ избавиться от неуютной личности. И никакой профсоюз за тебя не заступится!

Но вернемся к нашим баранам, то бишь к депутатам и государственным чиновникам. Если чиновник все еще не растерял совесть, если он не умеет подхалимничать, над ним висит постоянная угроза увольнения. Воленс-ноленс, он вынужден научиться подхалимажу. Он приспосабливается к системе бесправия, двурушничества и воровства. Такова система, созданная с помощью ЦРУ т. н. демократической революцией.

Так в чем же разница между властью, которая была в стране и от которой многие из нас с таким удовольствием отбояривались, и новой властью — властью банкиров? Мне представляется, что разницы нет. Она, эта разница, только в масштабах оболванивания (и эксплуатации, если говорить о крестьянстве). Самое мощное сословие великого Российского государства — крестьянство — было унижено еще при советской коммунистической власти. Уничтожалось сначала при раскулачивании, затем душилось налогами, гибло во время войны. Наконец, при раскулачивании уже самих колхозов русская деревня окончательно сникла. Господа демократы только завершили уничтожение крестьянства. Уже при Горбачеве крестьян в стране было меньше, чем бюрократов-чиновников, безжалостная статистика соврать не даст. И передовой (по учению Маркса) класс не очень-то и тужил о бедах русской деревни! Не так ли, Геннадий Андреевич? Иные коммунисты воевали с русским крестьянством с таким же упорством, как воевали они с православным духовенством. Десятилетиями обдирали крестьянина, как липку...

Создали большевики за счет разорения деревни могучую промышленность, и на том спасибо. Но какое потрясающее сходство в отношении к крестьянству у троцкистов-большевиков и сегодняшних т. н. демократов! Объединен-

ная ненависть тогдашних троцкистов и нынешних банкиров к русской деревне взывала к совести оппозиционных сил, но оппозиция проигнорировала народные чаяния.

Помнится, перед президентскими выборами я, беседа с Вами, Геннадий Андреевич, набрался нахальства и дал некоторые советы, как выиграть президентскую гонку. Во-первых, надо было всенародно, искренне покаяться перед народом за раскулачивание и последующий колхозный грабеж мужика. Во-вторых, публично попросить у всей России прощения за многолетнее преследование православной религии. В-третьих, отказаться от некоторых марксистских догм и обязательно переименовать партию, которая с таким трудом сохранила свои структуры. И что интересно: Геннадий Андреевич, как я понял, был согласен сделать все это. Соглашался даже на переименование...

Но почему, кроме формальной поддержки русского православия, он ничего этого не сделал? Так ведь и демократы вроде Лужкова встают на клиросы и строят грандиозные соборы. (Не зря сказано, что и бесы иной раз веруют и трепещут.) Мне и сейчас ясно, что переименовать партию (в народную, социалистическую или в какую иную) просто необходимо, потому что марксизм-коммунизм русскому народу, хотя бы крестьянству, давно набил оскомину. Конечно, пожилые догматики при этом из партии вышли бы. Сколько-то тысяч, даже, может быть, миллионов партия недосчиталась бы...

Зато сколько миллионов пришло бы молодых! В дряхлеющий организм хлынула бы свежая кровь и обновила его. Струсили переименовать. Оппозиция вместе со Строевым встроилась в ельцинскую власть, ее прикормили, и она стала совсем беззубой...

Нет, не зря Ельцин и его присные окружили себя сонмом зарубежных советников! Целая армия новых банкиров, цэрэушников, идеологов, специалистов по обработке мозгов оккупировала Москву, надвинулась на ее ближние и дальние подступы. Того и гляди, с московского неба посыплются натовские парашютисты. Сталинская власть, разорившая миллионы крестьянских гнезд, по крайней мере, держала на замке границы. Под ее неласковым руководством русский народ справился с безжалостным европейским нашествием. А теперь? Как спастись русским, которых демократы переименовали в россиян, от нынешнего нашествия? Уже все знают, как тщательно президент избегает слова «русский».

Марксистский Интернационал по отношению к России живет и здравствует по сию минуту, а нашей оппозиции это хоть бы хны. По-прежнему Русь для нее — страна ста народов. Только и осталось слово «страна» заменить словом «тюрьма». Неужели Зюганов и Селезнев так сильно ощущают родство с Марксом и с бывшим секретарем обкома товарищем Ельциным? Вот уже и военный министр Сергеев заявил, что чем лучше защищаем Москву, тем для нее хуже, мы, мол, только привлекаем внимание к ней всяческих блоков.

Ничего себе защитник Москвы! Проворовавшийся генерал Кобец, который защищал президента от депутатов-агрессоров, стараниями телевидения превратился уже в киноактера, напрасно страдающего в Лефортове. К чему натовцам тратиться на дорогостоящие бомбы и самолеты, на дивизии парашютистов? Не лучше ли воспользоваться советами Гитлера и Даллеса? Мужчин спойть, женщин развратить, поголовно наркотизировать население. И все это сделать под фальшивым покровом свободы. Как много людей, ослабленных многолетним атеистическим режимом, попало на демократический крючок! Они позарились на соблазнительную наживку, называемую свободой.

Об этом понятии нужен разговор отдельный. Что значит «демократическая свобода», многие в России наконец поняли и стыдятся, что заглотали указанную наживку. Многие, но не все. Другие и хотели бы сорваться с крючка, да больно. Эти трусливо перемогают свободу умирать от голода и спиваться, ждут спасителя в генеральских погонах. Никаких демократических свобод, хотя бы и в той же прессе, и в помине нет. Дал я однажды статью о намеренном спаивании народа в «Российскую газету». А один из редакторов... (Не буду называть фамилии, так как надеюсь, что мужество еще вернется к нему.) Этот редактор отфутболил статью редактору «Сельской жизни». Чего испугался? Боялся потерять кресло? Бог весть. Редактор «Сельской жизни» Харламов статейку напечатал, но многие ли думцы читают эту газету? Ее читает лишь кое-кто из Аграрной партии. Для большинства депутатов алкогольный геноцид в России, как говорится, «до лампы». И сами попивают, и народ спаивают, благо подает пример сам «всенародно избранный». Выборы для них были во имя выборов, а не для России. Словосочетание «русский народ» для них запретно, так как они, как огня, боятся прессы. А эта «дама», вроде ярославской депутатки, ничего не боится. Волтузит и в рыло, и ниже пупа. Как при-

шлепнет ярлычок фашиста, так и носи за бархат. Никакому крепкому государственнику не устоять, до второго пришествия не отодрать ярлычка. Мать честная, а сколько синонимов придумано, чтобы очернить государственника: «националист», «антисемит», «шовинист», «национал-патриот», «красно-коричневый» и пр., и пр...

Политики до того боятся этих газетных ярлыков, что тотчас после выборов забывают и про собственные программы, и про посулы, данные избирателям. Даже оппозиционно настроенные постепенно становятся либо политическими нарциссами, либо бездеятельными циниками, летунами-туристами за счет тех же народных денег. Такая среда и вскармливает так называемую политическую элиту, которая выдвигает в свою очередь с полдюжины лидеров, претендующих на будущий президентский трон. И много ли в этой среде таких смелых людей, как Илюхин?

Феномен белорусского президента тоже в своем роде единственный. Народ раздробленного государства до сих пор не мог выдвинуть из своей среды собственного защитника именно по той же причине, что государство раздроблено. Вот и весь результат нашего чужебесия и так называемой демократии. Как был интернациональный режим, так и остался. Кто, какой депутат, какой генерал обломает президентское кресло о головы предателей Родины? Лебедь, что ли? Он уже переподчинил Москву солнечному, якобы угнетенному русским народом Кавказу. Николаев? Руцкой? От генералов, бегущих вприпрыжку в Федеральное Собрание, русскому народу защиты ждать нечего.

Россия не получит от них новую Конституцию. И от натовского напора Кокошины и Сергеевы Родину не сбегут, чиновникам этим не до того. Они «реформируют» армию...

1998 г.

СТЫДОБУШКА

Вспоминается мне голодное детство... Все было отнято у колхозников, даже самовары и медные ковшики! Мужчины и парни в деревне Тимонихе — все до последнего — убиты на фронте. Кони сдохли. Зерно из сусеков подчищено и куда-то увезено. Последние рубли и копейки отданы в счет налогов и государственных займов. Есть нечего, обуваться в стужу не во что. А стальная змея ползет и ползет к Волге, великое западное нашествие вот-вот задушит Россию. В числе европейских пришельцев имеются даже братья-славяне. (Хорватские части, в которых мы даже не подозревали близкую родню, убивали наших отцов...) Казалось — конец!

И вот Победа! Наша Победа!

Мы, дети, уцелевшие в голоде и болезнях, подросли в годы войны. Всего чуть-чуть. Зато выучились трудиться. Дети помогали взрослым спасти Родину.

Сталин, хоть и косо глядел на крестьянство, но кое-где отпускал железные вожжи... Жеребята в колхозе опять каким-то образом расплодились, картошка и репа выросли. Государство отменило хлебные карточки. Поезда ходили, и никто не загораживал им дорогу, никто не ложился на рельсы.

Железнодорожный нарком Каганович еще до войны лично взорвал главный российский храм со словами: «Задерем подол матушке-России». Кто кого тогда, в 30-х годах, боялся больше: Сталин Кагановича или Каганович Сталина? Историкам предстоит разбираться. (По-моему, Вл. Бушину не стоило так шибко расхваливать Кагановича, который лично включил рубильник, поднимая на воздух храм Христа Спасителя.)

Итак, железные дороги действовали, государственные облигации нет-нет да выигрывали (остальные «бумажки» хоть и медленно, но погашались). Цены на товары продолжали снижаться!

Сталин, при всех своих недостатках, не кланчил деньги за рубежом. Керосину для тракторов почему-то хватало, тракторов тоже настроили, и хлеб сеяли каждую весну.

И что самое главное — сеяли везде, стремились использовать каждый клочок родной земли! Сеяли, косили, строили. И на рельсы гуртом не выходили, и офицеры не стрелялись, не зная, чем прокормить семью. И студенты учились, становясь академиками...

Так что же произошло с нами дальше?

Отчего русские не испугались грозных фашистских полчищ, а каким-то жалким банкирам и продажным телевизионщикам отдали себя с головой?

Стыдно...

Стыдно за тронутых чужебесием представителей власти, в одну шеренгу, как новобранцы, стоящих перед Ельциным. Стыдно за самого Ельцина, который в косноязычной своей гордыне показывает, как танцует на кремлевском паркете норвежская королева. (Хорошо хоть не стал петь «Калинку» и отплясывать какой-нибудь шейк.)

Стыдно за шахтеров, требующих денег лишь для себя. Как будто дети учителей и врачей не хотят ни есть, ни пить. Но спасибо и на том, что вышли мужики на рельсы, легли на рельсы в прямом смысле, заместо Ельцина. А что делают в это время господа Шмаковы, возглавляющие так называемые «независимые профсоюзы»? И как понимать думскую оппозицию трусливых коммунистов, шумных элдэпээровцев, сонных аграрников, блудливых «яблочников»? Ничего себе партии...

Шахтеры все же хоть поднапугали вечных лжецов...

Все же кое-кто из миллиона трудящихся, наконец, отрезвел. Сдвинулся с места...

Задумались даже Бжезинский с Кисинджером, не зная, что советовать Клинтону. Как останавливать эту силищу? А ну, как она встанет с рельсов да и двинет совсем в другом направлении? Например, на московские особняки и на банковские конторы, построенные на шахтерские деньги?

Тут действительно призадумаетесь...

Рассыпался, исчез, яко туман, очередной миф о «лимите на российские революции». Исчезла сказка о «бесконечном русском терпении», улетучилась, наконец, болтовня о «благодетельности демократических реформ». На издыхании находится миф о зарубежных инвестициях, созданный для удобства банкиров, для безболезненного и скорого превращения России в колонию. Не надо нам никаких зарубежных инвестиций! С разрухой, созданной демократами, сами справимся.

Все равно стыдно...

Стыдно за грандиозные долги иностранщине, навязанные России, чтобы уберечь антинародный режим. Но ведь еще и подворовывают новомодные банкиры! Кто вам дал право, господа, занимать, занимать, занимать и грабить?

Но вот открылась всего лишь шахтерская рельсовая забастовка. Фальшивая власть дрогнула, перетрусилась. Зашевелились в Москве вице-премьеры, забегали... Демократические министры до смерти перепугались, не зная, что делать. Совсем подлый народ — продажные телевизионщики — спешно начали придумывать причины якобы вдруг возникшей стычки не рельсах. Позвольте, как это «вдруг»? Как будто раньше все вы не знали, что зарплату надо платить! Во всем мире зарплату платят, а где не платят, там премьеров и президентов — тотчас долой!

У нас же не платят годами, но все время обещают. А чубайсы врут, врут, врут... Всегда и где только можно врут, чтобы самим себя ободрить, а всех остальных — обдурить. Воруют почем зря и сваливают то на азиатский финансовый кризис, то на региональных правителей, то на русский менталитет. И миллионы людей верят демократическому вранью. Читатели лживых газет, похабных журналов — верят. Добросовестные слушатели столичных радиостанций, хоть и не все, но верят. Зрители ядовитых экранов, мерцающих в электронных ящиках, — верят! Почему люди верят подлым обманщикам? Лжецам, которые не знают, как выкрутиться? В чем дело? «Электрорат» доверяет на губернаторских выборах тупицам. Лжецам. Выбирает генералов в погонах и без погон. Обманщиков с птичьими фамилиями, российских предателей, мечтающих растащить Родину по частям, приучающих всех нас к подлому и страшному слову «конфедерация». Феномен, достойный всемирного удивления.

Стыдобушка!

1998 г.

МЕЛОДИЯ РОДИНЫ

И порядочному туристу, и командированному не каждый раз по приезде в столицу удастся побывать в центре Москвы. Чего уж говорить про зачумленных челноков? У бывших инженеров и бухгалтеров, то есть нынешних безработных, так же, как и у заядлых демократов, физическая близость Кремля вызывает аллергию. Хотя и по разным причинам. Вот и я в кои-то веки вздумал сходить на Красную площадь.

Эх, лучше бы совсем не ходить! В метро и то приятнее, чем на поверхности. Правда, столичное метро тоже уляпано тошнотворной рекламой или электрифицированными плакатами вроде «Свидание с Америкой». Боже мой, сколько бумаги изводят, сколько киловатт-часов тратит Лужков на бездарную иллюминацию! Москва утыкана всякими дорожными стендами, прибабасами и церетелевскими чучелами, так полюбившимися бравому футболисту.

Москва стремительно изменила свой лик. Проворные банкиры не жалеют средств для своей помпезной архитектуры с башнями на крышах, с колоннами у подъездов. Приезжие губернаторы подозревают, что стоимость одного какого-нибудь банкирского дома равна расходной части иного областного бюджета.

Да, лужковская Москва задыхается нынче в змеиных объятиях закордонной и отечественной рекламы, а она, эта бумажная бестия, начиналась с вкрадчивых, почти стыдливых «купите себе немножечко «Олби». А с какой целью Лужков перерыл и перекопал всю Манежную площадь, словно решил до самой Америки докопаться? Что, разве иного места не было для всяких ларьков? С каких это рыжиков москвичей уже и с Новым-то годом поздравляют не по-русски, а по-английски? Но я не англичанец пока. И было просто стыдно ступить на Большой Москворецкий мост. И что это за монстр торчит впереди, рядом с Балчугом? Строит его почему-то канадская фирма. Словно в России нет ни одного безработного... Вот уж поистине бетонное чудовище перестроечной московской эпохи.

Архитектура жирных котов и банкирских бетонных лбов. То вкрадчивая, то громоподобная звуковая либо зрительная реклама жуликов, запущенных, вмонтированных прямо в сердце великого государства. Звуки, запахи, ритмы, цвета всего прогрессивного и не совсем прогрессивного человечества...

Пересилив физическую, а больше моральную усталость, вышел я к началу Большой Ордынки, свернул на Черниговский и с облегчением забрел в ампирный особняк Славянского фонда. И совсем неожиданно попал я в иной мир! Спокойный, близкий. Умиротворяющий и вдохновляющий мир истинно русской, а не американской жизни. Мир, сошедший со слайдов Анатолия Дмитриевича Заблоцкого...

В одном из своих произведений, как бы мимоходом, Пушкин обронил гениальную фразу: «...Но и любовь — мелодия». Почему-то вспомнилась именно эта пушкинская фраза, когда я бродил по залам, где развешаны триста работ фотохудожника.

В свое время, занимаясь изучением народной эстетики, пытался я вникнуть в природу художественного образа. Конечно, эта самонадеянная попытка оказалась напрасной, потому что художественный образ не поддается рациональному изучению, научному постижению тоже он неподвластен. И до сих пор я с иронией отношусь к таким понятиям, как «искусство цирка», «художественная гимнастика» (бытует даже «художественный свист»).

Но вот в том, что существует искусство художественной фотографии, убедил меня не кто иной, как Анатолий Заблоцкий — кинооператор и чуть ли не единственный искренний друг покойного В. М. Шукшина. (В своих биографических данных он сообщает, что написал книгу воспоминаний о Шукшине. Где же она, эта книга?).

Выставка вызывает не только радость общения с художественными образами, но и требует размышлений. Вызывает много вопросов.

Лично я опять задумался о том, каковы, например, взаимоотношения хотя бы живописи и музыки, можно ли преобразовать зрительный образ в музыкальный или, наоборот, музыку превратить в живопись? Каковы взаимосвязи архитектуры, допустим, с балетом или драматической сценой?

Не менее интересна и тема документализма в искусстве.

Разумеется, фотография — это прежде всего документ.

Как же документ становится достоянием искусства, на каком рубеже приобретает он эмоциональность и художественную силу? Некоторые пейзажные фотографии Заболоцкого я не променял бы на пейзажную живопись иного художника. То же самое можно сказать и о портретах современников, а также жанровых сценах или фотографиях, связанных с обычным семейным бытом.

Анатолий Заболоцкий умеет снимать то, что большинству людей невидимо и представляется малозначительным. Но ничто, ни хорошее, ни плохое, не ускользает от его объектива. Он полновластный хозяин объектива, а не прислужник его, техника служит ему, а не он технике, как это довольно часто случается с пошлыми авангардистами или скучными натуралистами.

Откуда, где, спрашивается, откопал он удивительную скульптуру Слободеева «Обнаженная»? Кто он такой, этот скульптор, жив ли и где живет, если жив? Заболоцкий не успокоится до тех пор, пока не выяснит. Так в свое время открыл он для себя и для многих скульптора Эрзю.

Очень широко у Заболоцкого не только психологическое, но и чисто географическое восприятие Родины.

Не мешает поблагодарить Славянский фонд, возглавляемый В. М. Клыковым, за организацию этой выставки в такое безрадостное время, как нынешнее. У Москвы, слава Богу, есть еще люди, принадлежащие всей России, а не одному лишь Садовому кольцу, уляпанному всяческой красочной иностранщиной.

1997 г.

* * *

*Профессору Казаку
Кельнский университет
Германия*

Дорогой профессор!

К сожалению, я не смог поучаствовать в праздновании Вашего юбилея. Не знаю, дошло ли до Вас мое письменное поздравление, ведь со времени нашей встречи в доме среди полей мир сильно изменился. Мне кажется, что эти изменения произошли не в лучшую сторону. Наша с Вами беседа в просторном, похожем на рубку океанского корабля кабинете даже не предполагала, что мир так быстро и так радикально изменится. Не знаю, как у вас,

а у нас «демократы» не стесняются воровать письма, перехватывать телеграммы и прослушивать телефоны. Все это проделывают они не менее усердно, чем коммунисты в недавнем прошлом. Украдена сама возможность передвижения (для того, чтобы съездить из Вологды в Москву, только на железнодорожный билет мне надо потратить всю свою месячную пенсию).

Конечно, такие условия передвижения не относятся к архитекторам перестройки типа Черниченко, Евтушенко или нашего «лучшего немца» (мне представляется, что ваша страна сделала ошибку, давая звание «лучшего» Горбачеву. Надо было давать Шеварднадзе, у нас тут ходят слухи, что он немец по матери).

Впрочем, каковы были мои возможности передвижения и при коммунистах, Вы знаете не хуже меня. Помните, будучи членом Верховного Совета и даже членом ЦК, я официально выразил просьбу на 3—4 дня слетать в Берлин на церемонию воссоединения Германии, коему воссоединению я искреннее сочувствовал. И что же? На моем заявлении А. И. Лукьянов (лучший спикер тогдашней Европы) сделал отрицательную резолюцию. И сам вскоре оказался в тюрьме. Европа не заступилась за своего лучшего спикера. Та же история произошла с моей предполагаемой поездкой в Хельсинки (как член аграрного комитета я пытался изучить финское земельное законодательство). Поездка эта тоже не состоялась из-за тайных интриг будущих уже весьма активных «демократических» сил.

Так что в Европу съездить нашему брату почти невозможно, как раньше было, так и сейчас.

Что же побудило меня написать Вам? Поводом к письму, дорогой профессор, явилось мимолетное сообщение в нашей насквозь «демократической» печати о том, что Гюнтер Грасс написал новый роман, что в споре с критиками он говорит о своем отрицании цензуры мышления. В том же заявлении он сетует на отсутствие у немецкой нации стремления к единству.

Мне показалось несколько странным последнее утверждение Гюнтера Грасса. Как же так? Германия объединилась, руины берлинской стены стали музейным явлением, а он говорит о нации, не очень желающей государственного единства. Не могу же я считать Горбачева, Шеварднадзе и Яковлева главными патриотами современной Германии? А Вы, профессор, что думаете на сей счет?

Но главной причиной моего обращения к Вам явилось

мое тягостное душевное состояние, вызванное натовской войной против православных сербов. Взрываются бомбы, летящие на Пале и сербские кварталы Сараева, гибнут дети, женщины, старики. Профессор, сможете ли Вы убедить меня в том, что это не третья мировая война?

Позвольте задать Вам и еще несколько вопросов, связанных с нынешней обстановкой в Европе.

Если Варшавский Блок давно не существует, то против кого вооружаются натовские подразделения? Для чего вообще народы США и Европы содержат НАТО? Почему в межэтническом балканском конфликте Европа и ООН обвиняют только одних сербов? И почему НАТО бомбят одних сербов? Или они думают, что горящий костер можно погасить горючей жидкостью? Почему Германия снова поддерживает последователей гитлеровского приспешника Павелича, уничтожавшего евреев и сербов?

Эти вопросы я задаю именно Вам, так как знаю Вас давно и лично общался с Вами. Мне не понятно поведение всей европейской общественности, когда снова гибнут мирные жители, как это было в 1941—45 годах. Почему молчат лучшие люди немецкой нации, писатели, наследники великой европейской культуры и философии? Хотя бы и тот же Гюнтер Грасс? Услышать бы, что он думает по поводу натовских бомбежек и грохота пушек, отлитых на немецких заводах.

Впрочем, молчат не один Грасс, молчат и Ханке в Австрии, и Айрис Мердок в Англии, и Маркес, спрятавшийся на острове Куба. Кто же напомним натовским генералам древнейшую библейскую истину: «Взявший меч, от меча и погибнет»? Неужели писатели мира верят вселенской лжи о кровожадности сербов и дикости русских? Неужели они согласны с политикой Ширака, Мейджора, Коля да и самого Клинтона относительно сербов и всей восточной Европы? (Если все это так, то говорить нам действительно не о чем).

Я обращаюсь к Вам, профессор, потому что знаю Вас как объективного ученого и писателя, благожелательного к русской культуре вообще и современной русской литературе в частности. Скажите мне, что думают немцы? Пользуясь возможностью говорить с Вами, я скажу Вам, что думают русские по поводу натовской войны, открывшейся на Балканах. Они (русские) думают, что, во-первых, Европа в очередной раз их обманула, поддержав и денежно и морально нынешний антинародный и антигосударственный российский режим. Во-вторых, русские

обвиняют не только одни США, но и Францию, и Германию. Уже есть в России люди, которые еле сдерживаются, чтобы не говорить о рецидивах гитлеризма и даже тевтонской спеси. Я не отошусь к таковым, но многие люди моего круга недоумевают при виде тех действий Германии, которые рано или поздно принесут вред самой Германии, самой немецкой нации. На наш взгляд, вы, немцы, действуете неразумно, посылая своих солдат на Балканы. НАТОвские «фантомы» и «Торнадо» бомбят сербские города. Неужели немцам не приходит в голову, что бомбить города и поселки опасно для самих немцев? И кто гарантировал немцам (да и французам, и итальянцам), что на Кёльн, на Париж, на Рим не будут падать такие же бомбы? Таких гарантий, профессор, на мой взгляд, никто Европе не может дать...

Сейчас, когда я пишу эти строчки, канцлер Коль разбирает свой чемодан под ельцинским кровом в поселке Завидово. Он только что прилетел в Москву. Мне не известно, о чем они будут говорить, но я точно знаю, что Россия рано или поздно освободится от «лучших» немцев, от своих государственных предателей, с которыми сдружились Коль с Кинкелем, да и сам главный шеф НАТО господин Клинтон. Когда в России будет свое, непредательское правительство, она, Россия, снабдит православных сербов радарам и ракетами Земля-воздух. Промышленность России разрушена еще не до конца. И тогда ваши «Торнадо» вместе с мальчиками из парижских и кёльнских предместий один за другим будут падать в Адриатические пучины...

Разве сами немцы уже не чувствуют опасности? Или они опять решили окончательно расправиться с европейским славянством?

Я не пугаю Вас, профессор, (Вы знаете это) и не блефую. Я просто вижу, что логика развития событий приведет именно к такому финалу. Похоже на то, что иные европейцы уже похоронили Россию. Но за что Европа так ненавидит русское и сербское православие, почему она так упорно борется с нами? Это не мудро, это губительно для вас... Вы еще во времена Канта олицетворяли Россию как медведя (по-славянски это тот, который «ведает мед», не знаю, что значит Веер по-немецки). Но Европа забыла одну простую истину: медведь никому не грозит, если он не ранен. Если он ранен, то он опасен!

Или Европа в плановом порядке решила добить мед-

ведя? Но это ведь и совсем уже не мудро... Вы знаете, профессор, чем заканчивается подобное планирование. Скажу Вам, что в моей деревне обе последние мировые войны люди называют «германскими». Первая германская, вторая германская. Неужели действительно идет и третья? В первой мировой моя деревня потеряла всего трех или четырех мужчин. Со второй мировой не вернулось ни одного! И таких русских деревень тысячи! Все полегли, в том числе и мой отец.

Фритц Пляйтген, известный немецкий телевизионщик, дважды был в моей деревне, он делал документальные фильмы о России и так называемой перестройке. Он подтвердит, что от моей и вообще от русской деревни после второй мировой почти ничего не осталось. Неужели немцы радуются таким результатам?

Когда-то я говорил об этом с Гюнтером Гёрлихом. Мы общались с ним в Ростове — Вешенской во время писательских встреч с Михаилом Шолоховым. Общались через посредство переводчика Миши, который нынче руководит какой-то довольно серьезной сионистской организацией (впрочем, я не уверен, может быть, он уехал к вам или в Израиль). У меня осталось стойкое ощущение, что переводчик переводил не все, о чем мы толковали с Гёрлихом. (Кстати, передайте Гюнтеру Герлиху поклон, если он жив и если у Вас будет такая возможность). У нас с Валентином Распутиным есть еще один знакомый профессор, в Дортмунде, но я боюсь обременять Вас излишними поручениями. Достаточно будет и того, что я получу письмо с Вашими размышлениями. И если третья мировая война еще не идет, то что делать, чтобы остановить ее приближение?

Почему молчит общественность Европы, почему жмурят глаза лучшие европейские умы? словно кошка, когда тянется лапкой за лакомым куском. Или уподобляются они страусу, прячущему голову в песок, чтобы не видеть приближения опасности.

Молчание народов Европы при виде начала войны равносильно нравственной безответственности. Вы должны знать, профессор, что Павелич, как заноза, навсегда остался в сербской народной памяти, как Гитлер навсегда остался в русской народной памяти. Нельзя пренебрегать этим вполне достоверным фактом! Остановите натовские бомбардировки! Утихомирьте попутно немецких руководителей типа Клауса Кинкеля, который недавно заявил в Минске, что «белорусское вхождение в состав России

может осложнить создание европейской системы безопасности».

Кинкель так боится единства России, что совсем потерял голову. Ему мерещится великая разница между белорусами и русскими...

Жду от Вас, господин профессор, ответа на мое письмо, желательно публично, хотя я и не верю в порядочность как ваших, так и наших средств информации.

С уважением — В. Белов.

1995 г.

* * *

*Профессору Казаку
Кёльнский университет
Германия*

Господин Казак!

На мой взгляд, Ваше письмо, опубликованное газетой «Труд», поставило под сомнение пользу и необходимость публичной полемики... Мое уважение к Вам и в Вашем лице к представителям немецкой интеллектуальной элиты сильно поколеблено, поскольку Вы не ответили на мои вопросы. Вы уклонились от разговора, касающегося Сербии и участия немецких летчиков в бомбежках суверенных государственных территорий.

Ваши обвинения в мой адрес несправедливы и бездоказательны. Вы, по всей вероятности, игнорируете опасность нынешнего международного положения не только России, но и Германии.

Тем не менее, я желаю Вам личного благополучия.

1995 г.

ВЫБЕРЕМСЯ!

Давно занимает меня одна странная особенность общественного сознания: простые люди, американцы и русские, почему-то больше верят лжецам, чем говорящим правду. Проходит время, ложь, наконец, обнажается, и тогда мы разводим руками: мол, кто знал, что так получится? У них, у обманщиков-то, на лбу не написано.

Осмеливаюсь возразить: написано! И на лбу и еще кое-где. Можно было вполне и отличить и обличить, ежели поднапрячься. Иное дело, что мне самому, втайне от себя, хотелось быть обманутым. Я был благосклонен к обманщикам и правдивых речей не слушал. И вот, когда все проясняется, раздраженный обманом, я в сердцах заявляю: «Кругом врут. Все общественные просветители испокон веку обманщики!» И опять можно ответить на это: «Не все, сударь, не все...»

Конечно, были и есть вполне искренние, то есть заблуждающиеся обманщики (от такой искренности ничуть не легче), но значит ли это, что обманщики были все? Да нет же, на земле всегда были те, кто видел далеко вперед, кто предупреждал людей об опасности, боролся против будущей злобы и лжи всеми своими силами. Увы, к таким пророкам люди не только плохо прислушиваются, но и побивают их камнями. Это потому, что верить лжецам проще и легче, то есть приятнее. Правда требует от каждого духовных и нравственных усилий, физических, иногда немедленных действий. Но думать и действовать лень, к тому же чаще всего и не безопасно. И вот человек, а за ним его семья, община, а затем и целый народ встает на широкий шлях лжи и самообмана. Примеров тому великое множество еще с дохристианских времен. Русская история — не исключение. Ни Достоевский, ни Леонтьев, ни Победоносцев, ни о. Иоанн Кронштадтский не были услышаны современниками. Верили больше чернышевским и писаревым. То обстоятельство, что прав оказался не Чернышевский, а Победоносцев, и до сих пор многим из нас мозолит глаза. Но возьмем и поменьше масштаб, хотя бы того же Михаила Осиповича Меньшикова, расстрелянно-

го в 1918. Кто прислушивался к его срывающемуся на вопль отчаяния голосу? Он печатался в суворинском «Новом времени», уже одно это вызывало брезгливость у русских прогрессистов. Наверное, в свое время морщился при виде «Нового времени» и член Государственной Думы В. В. Шульгин, вместе с Родзянко понуждавший Государя к отречению. Позднее он очень изящно выкрутился из неприятного положения с помощью талантливых своих книг «20-й год», «Что нам в них не нравится» и пр. Смешно осуждать тогдашних курсисток и семинаристов, ежели потомственные дворяне, члены правительства и даже иные священнослужители какому-нибудь Лассалю верили, а Суворина не желали ни читать, ни слушать!

Способность русских (и американцев, и европейцев тоже) попадаться на удочку поразительна. Прочитают, к примеру, в газете, что в России никогда не было демократии, и тут же поверят. Ну, а подумать, что такое демократия, уже и времени нет. В словаре иностранных слов (1861 год издания) греческое слово «демократия» стоит в одном смысловом ряду со словом «демагог». Но попробуй скажи об этом вслух! Миллионы демократически настроенных читателей, зрителей, слушателей так и взвываются, так и привскочат с мест.

Взвываются, а иные просто захлебнутся от возмущения, читая и статью о социализме в книге И. Шафаревича «Путь из-под глыб». Социализм и вдруг эдакое непотребство, как так? Почему? Ведь с социализмом, идущим на смену капитализму, связаны все наши представления о ходе истории!

Оказывается, вовсе он не такой, этот ход истории. Оказывается, этого самого социализма и коммунизма было полно и задолго до нас. За много веков до Великой Французской и Великой Октябрьской. Социализм не общественная формация, а всего лишь идеология. Следовательно и капитализм не формация? Об этом автор покамест не говорит, но какой удар по коммунистическим романтикам, верующим в смену формаций и мечтающим о светлом будущем всего человечества! Еще больше растеряются мечтатели, когда убедятся, что социализм и впрямь прежде всего идеология: «Только из идеологии вытекает не объяснимая ни экономическими, ни политическими причинами ненависть социалистических государств к религии». «Борьба с религией была для марксизма отправной точкой и необходимым элементом социального преобразования мира». Шафаревич убедительно

доказывает, что у марксистов на первом плане стояли все не экономические интересы народа, а само по себе «упразднение частной собственности, уничтожение религии, разрушение семьи». Статья опубликована еще в 1974 году, задолго до нынешних опереточных борцов с марксизмом. Многие ли из нас читали ее?

Шафаревич наш живой современник, живущий в Москве, до сих пор подобно Ив. Ильину был недоступен. Книги и голоса Сахарова и Солженицына считались как бы вполне достаточными. Вот так же долго не допускали к читателю Ивана Ильина, пропагандируя Бердяева...

Я вовсе не хочу противопоставлять И. Р. Шафаревича Сахарову или Солженицыну. С тем и другим у него много общего. Но и разница тоже ведь чувствуется! Особенно теперь, когда не без помощи Шафаревича с русофобов сорваны, наконец, маски народных заступников. Скажем, мог ли бы автор «Пути из-под глыб» призывать к расщеплению страны на множество мелких государств, как делал это покойный академик Сахаров? Разногласия между двумя академиками, по-видимому, мировоззренческие или даже религиозные. После смерти Сахарова говорить о них мы имеем полное право. О расхождениях же между Шафаревичем и Солженицыным было бы предпочтительнее услышать от них самих. Но то, что один живет в клокочущей Москве, а другой в тихом благополучном штате Вермонт, невольно наводит на определенные размышления. Не знаю, как относится Игорь Ростиславович Шафаревич к нынешнему российскому президенту. Но то, что сказал Солженицын для норвежской газеты (сообщение Российского радио от 7.04.93), меня, к примеру, глубоко разочаровало...

Объясняя феномен длительного и глобального увлечения социализмом (борьба с религией, частной собственностью и семьей), И. Шафаревич вводит в оборот понятие «инстинкт смерти» (танатос). Ссылка на Фрейда снижает мое читательское доверие к автору. Может быть я ошибаюсь, но мне кажется, что автором понятие «инстинкт» слишком расширено, инстинкт всегда направлен на самосохранение, а не на самоуничтожение. Бывают, конечно, не только киты-самоубийцы, но и люди-самоубийцы, но движет ими наверное не инстинкт, а нечто иное. Дуализм в понимании термина «инстинкт», мне думается, невозможен. Отголоски такого понимания ощущаются и в статье, вернее, в самом ее заголовке «Есть ли у России будущее?» Помню, когда статья появилась в «Комсомоль-

ской правде», я испытал позыв к немедленному протесту. Ведь такой вопрос опять же допускает двойной ответ: либо у России есть будущее, либо его нет. Содержание самой статьи, к счастью, противоречило названию, допускающему Россию без будущего. И хочется сказать в ответ на такой заголовок: «Не может такого быть, что у нас нет будущего. Выберемся!»

Сборник «Из-под глыб» вдумчивого русского читателя глубоко волнует и будит совесть, поражает ясностью мысли и зовет к действию. (Говорю это вовсе не потому, что Шафаревич несколько раз упомянул в своих интервью мою персону. Пусть уж читатель поверить мне на слово и не ищет сходства с крыловской басней о петухе и кукушке.) Особенно интересные мысли о «прогессе», о православии, о нравственности в науке.

На том бы и поставить точку, говоря о книге (кстати, не единственной) И. Р. Шафаревича. Но мне не хочется ставить точку, хочется вернуться к началу заметок...

Почему же все-таки и русские, и американцы позволяют себя обманывать? Почему так стойки мифы, созданные газетами и телевидением? Почему ложь словно деготь, побывавший в деревянной посуде? Ничем ее не смоешь, не выпаришь, держится и все тут...

К сфере подобной лжи я отношу и миф о бедности нынешней русской философской, экономической и прочей мысли. Враги Родины нашей, а также не знающие «что делать» и «кто виноват» любят болтать о дефиците умов, о недостающих кадрах, о русской отсталости по всем направлениям. И люди верят этой подлой болтовне.

Между тем еще И. А. Ильин в своих трудах четко, ясно, для всех доступно говорил, что делать, как вылезать из-под глыб после естественного отмирания марксизма. Когда говорят об отсталости нашей экономической науки — тоже лгут или бездумно верят лжецам. В трудах Чаянова и Кондратьева просто разжевано то, что надобно делать хотя бы в торговле и сельском хозяйстве. Нет, отнюдь не беден наш интеллектуальный запас! Все у нас есть: и земля, и заводы, и прекрасные инженеры, и мастеровитые люди. И ученые-патриоты, и независимые мыслители, подобные Шафаревичу.

Дай Бог ему здоровья и прежнего мужества!

1993 г.

БЕСОВСКАЯ ХИТРОСТЬ

Честно признаюсь, что только после статьи Бреславцева о западных «инвесторах» я побежал на почту выписывать «Экономическую газету»...

Похоже на то, что эта газета вполне достойно способна конкурировать с другими, впрочем, все еще редкими печатными органами, не боящимися публиковать правдивую информацию. Неужто и впрямь существует так называемая свобода печати? Даже не верится! Если это действительно так, то и от перестройки кое-что и хорошее останется. Вспомним русскую пословицу: «Нет худа без добра». Вспомним и пожелаем редакции держаться на правдивых позициях как можно дольше. Только ведь не дадут банкиры долго держаться! Скупят они и бумагу, и ротационные машины, и самих журналистов. Вот что страшно. Вот в чем беда-то... Не знаю, надолго ли у «Экономической газеты» хватит пороку, чтобы говорить правду в глаза и Лужкову, и Примакову. Думаю, что ненадолго... Прищучат ««Э. Г.» какие-нибудь левые либо правые, либо так называемые центристы.

Читатель из Тулы Дмитрий Васильевич Донсков заканчивает свое письмо о приватизации многозначительным вздохом «эх-ма...»

Спасибо редакции и Донскову за то, что они освободили от обязанности сказать то же самое! Под этим письмом я ставлю и свою подпись тоже.

Но стало мне почему-то грустно. Почему? Причина в добавке донсковской подписи «беспартийный левый». Ни левым, ни правым, ни партийным, ни беспартийным я, к примеру, быть не хочу и не буду. Глубоко убежден, что в жизни нет ни левых, ни правых, ни каких-то там центристов. Партийцы всякие, разумеется, есть. Куда от них спрячешься? Это они и придумали такую дележку, еще со времен дантонов и всяких мараатов. Вернее, французских борцов за так называемую свободу. (От кого французы освобождались? Это еще думать и думать. Допустим, освободились они от Людовика, казнили заодно и Марию Антуанетту.) А Наполеон пустил кровушки еще больше уже не в одном Париже, а по всей Европе. Кто

он — левый или правый, император-то? Сиди вот и думай, где право, где лево... Россию вновь подцепили на свою любимую удочку политические демагоги. Тут, мол, правые, тут левые. И что самое гнусное — мы сами с удовольствием клюнули на эту наживку. Сами разделились по этому принципу. По какому? В том-то и дело, что принцип фальшивый, иными словами, никакого нет принципа. Если ты болеешь за Россию, значит патриот. Значит левый, и вся недолга! А вот, мол, Гайдар с Чубайсом — правые! Какая чушь — Гайдар правый... А Пиночет, он какой, левый или правый? А китайские хунвейбины левые были или правые? А сиюминутные швейцарские так называемые левые? Если они левые, почему тогда горой стоят за свободную торговлю наркотиками? А что значит Право-троцкистский блок? (Был и такой.)

Все началось с французских депутатов еще конца XVIII века. Изобретение парламента сразу обнаружило свою антинародную и антихристианскую суть. Изобретен был президиум. Дьявольский смысл деления на правых и левых стал еще очевидней. (В зале ты сидишь справа, а из президиума ты представляешься сидящим слева.) Еще наглядней самообман (хотя его никто не замечает) на примере с обычным зеркалом. Встаньте у зеркала и поднимите правую руку. В зеркале она окажется не правой, а левой... Автор использовал этот зеркальный фокус в своей хронике «Год великого перелома». Кто читал, тот должен помнить сцену допроса вологодским чекистом священника о. Николая. Кто из них левый, кто правый? Впрочем, и самого-то о. Николая мои земляки прозвали «прогрессистом», то есть левым. Разрушение православной религии тоже шло через разделение на левых и правых.

Христос по Воскресении сел одесную Бога, а отнюдь не слева. Уже две тысячи лет никто в этом, кроме атеистов, не сомневается. Почему патриоты и государственники, депутаты, болеющие за Россию, за свой народ, добровольно назвали себя левыми? А Гайдар со своей командой нарочно кличет себя правым. Притворяется, чтобы все на свете запутать.

На мой взгляд, нет в политике ни правых, ни левых. Есть циники и симплициусы. Есть **государственники** и **антигосударственники**. Есть патриоты, борющиеся за выживание России, и космополиты, желающие окончательной гибели русского государства. Все довольно просто...

ВНЕМЛИ СЕБЕ

Записки смутного времени

Вологодский знакомый, демократ, бывший когда-то довольно крупным партийным чиновником, встретился на улице и с еле скрываемой злобой спросил:

— Зачем ты занимаешься политикой? Твое дело писать!

— Что писать! — удивился я.

— Рассказы, романы!

Я не сдержался и резко сказал, что занимаюсь тем, чем хочу, и пишу то, что подсказывает совесть, а не то, что подсказывают встречные и знакомые...

Не стал бы я вспоминать тот мимолетный диалог, если бы и другой давнишний знакомый (писатель и подобно мне народный «горбачевский» депутат) не сказал однажды с той же странной озлобленностью:

— И чего он там в Москве сидит, в Верховном Совете? Ехал бы домой да больше работал!

...Кто и сколько работал, выполняя горбачевско-ельцинскую семилетку, кто и что говорил в кремлевских палатах, к чему призывал в газетных статьях, рассудит время. Корпеть над романом, когда твоя Родина оскорблена и истерзана? Увольте, друзья мои! Но в злобном дыму упреков мерцают отблески правды...

* * *

Дробление всего и вся, какое-то безудержное измельчание — один из главных признаков смутных времен. «Атомизация», как говорят создатели новых терминов... В атеистическом мире дробятся не только народы и государства, мельчают сами понятия. Мельчают люди и характеры. Политики, журналисты, актеры, писатели, критики, литературоведы вовсе не избежали этой самой «атомизации». И голос правды слабеет и глохнет в мелочном шуме. Уже несколько лет жду серьезную, доступную школьному пониманию книгу об эстетике. Ведь есть же у нас умные

люди! Существуют целые институты, которые просто по своей служебной обязанности должны бы твердить нашим детям, «что такое хорошо и что такое плохо», причем твердить не на уровне Маяковского, а на уровне Бахтина.

Нету такой книжки! И вот культурные плуты безнаказанно травят детей наших ядом цинизма, оболванивают в ТЮЗах и видеотеках, дурят головы на выставках и эстрадных сборищах. Да при этом еще и на Достоевского ссылаются: красота, мол, спасет мир.

* * *

Почему-то нет и такого критика, который написал бы статью, ну, к примеру, о разрушении литературных жанров, о несерьезном отношении писателей вообще к жанру. Мне уже приходилось говорить об этом. Рискуя быть надоедливым, повторюсь: жанр все-таки существует! Еще с В. М. Шукшиным спорил, доказывал, что нет такого жанра: «документальный рассказ». Рассказ — это рассказ (литература), а документ это документ, то есть публицистика (статья, репортаж, очерк). Точно так же не может быть документальным роман или повесть, все эти придумки происходят от писательской хитрости, вызванной ленью и спешкой, либо недостатком таланта. Никому ведь не хочется обнажать дефицит собственных литературных способностей.

Шукшин возражал, но возражал-то он, помнится, не очень сильно, с доброй усмешкой. Я видел, что внутренне он был согласен с моим радикализмом. И все же он написал «документальный рассказ», утвердил в литературе 60-х годов этот новомодный жанр. Впрочем, виной всему был, вероятно, Василий Васильевич Розанов. Кажется, с его не больно-то легкой руки пошли в ход всевозможные литературные «копилки», «эссе», «затеси», «камушки на ладони». Лет двадцать назад сподобился этого и аз грешный, назвал блокнотные записи «Записками на ходу». И напечатал.

Каюсь и снова грешу...

* * *

В доказательство того, что документализм не главное и скорее случайное, попутное свойство художественной прозы и что документ частенько носит печать некоторой,

тоже попутной художественности, предлагаю письмо из Челябинска¹:

«Говорят, вы пишете книгу о раскулаченных крестьянах. Два года тому назад хотелось вам написать, но все никак не могла осмелиться. И вот все-таки решила.

Мы из оренбургских казаков. Жили до ссылки в с. Нижние Караси (Челябинской области). Семья состояла из двенадцати человек. Глава семьи — дед, Тырданов Семен Федорович, бабушка Фекла Леонтьевна, их сыновья — Владимир с женой и детьми, Константин (это мой отец, а мать — Антонина), дочери деда — Августа, Анна. Жили все вместе, в одном доме, исправно и дружно. Любили труд, работали от зари до зари. С хозяйством управлялись своей семьей. Наемных работников у нас не было. Раз в год нанимался один человек во время уборочной (была работа, где требовалось обязательно восемь человек). В хозяйстве было десять коров, животных-подростков — десять. Овец в табун пускали — сорок. Лошадей держали мало, рабочих — три, две-три — выездных. Птицы был полон двор, счета не знали: гуси, утки, куры, индюшки. Имели весь необходимый сельхозинвентарь. Был и трактор («Фордзон») на три семьи: Тырдановы, Вязьмины, Ступниковы. Земля трех семей была объединена. Урожай делили пудовками по паю. Сеяли лен, ткали льняную ткань, выжимали льняное масло, конопляное. Конопляное масло лучше, чем подсолнечное. Коровье, конопляное, льняное масло стояло бочками. На базаре было изобилие, и все дешево, товара много, а денег мало. На Урале земли было достаточно, если не лодырь, бери, трудись.

19 января 1930 года, утром, как обычно, управились с хозяйством, подоили коров. Отец уехал в поле за сеном. Только что-то жутковато было на душе, скот вел себя беспокойно, овцы ревели, коровы мычали. Что-то предчувствовали, а что? Ведь многих молодых казаков уже расстреляли, были среди них и наши родственники. Вскоре пришла беда в лице конвоя и комитета бедноты. Объявили: собирайтесь в ссылку! Когда отец приехал с сеном, уже все описали. Набежали «тудяги», они ташили все, что могли унести. С собой нам ничего не разрешили взять, только что на себя надеть. Женщины надевали по нескольку юбок. Перед самым отъездом всех обыскали. Рас-

¹ Здесь и далее в письмах сохраняется пунктуация их авторов. (Прим. ред.)

плетали косы, искали золото, а золота мы и в глаза не видели. В этот день высылали несколько семей. Вместе с нами ехали в ссылку и дед Мельников Дмитрий Степанович (по линии матери), бабушка Мария Ивановна, сын Федор Дмитриевич, жена Любовь Васильевна, дети Аня и Оля. Когда везли по селу, встретила группа комсомольцев. Они стаскивали с женщин юбки, сняли с шестилетнего Ванюшки валенки, закидывали камнями, метили все больше в детей. Но многие прощались по-людски, по-христиански. Довезли нас до Щершней, подержали на морозе, поморозили, потом повезли обратно. Обрадовались мы, думали, вернут домой, а привезли в с. Полетаево. Посадили в теплушки, в которых скот возили, и привезли в Тюмень, от Тюмени до Тобольска везли на санях. В Тобольске прозимовали, жили подаемием. Местные жители относились доброжелательно. Весной на баржах привезли в Берёзово, потом отправили ниже на 70 км, в Устрём, высадили в лес. Вокруг не было ни души. Вырыли десять землянок на две семьи. Затем строили контору, лабаз для обработки рыбы. После этого стали строить бараки. Молодых мужчин отправили на рыбалку, стариков и женщин на раскорчевку и драть мох. Детей в садик. В садике кормили плохо, много детей умерло и много было больных рахитом. Родителей мы не видели до зимы. Отец на рыбалке, мать на раскорчевке, и дедушки тоже там же корчевали.

На раскорчевку привезли, было еще очень холодно. Снег не растаял. Поставили балаганы из веток и посреди — железная печка. Спали на земле, подстилали солому. Люди простывали, опухали от голода. Больных от работы не освобождали, умирали прямо на работе. Хоронили там же, в том, в чем работал, без гробов. Умер дед Мельников Дмитрий Степанович на раскорчевке. Хоронить никого из родственников не пустили, хотя моя мать и была там же, то есть его дочь. Дедушку Мельникова до ссылки по ложным доносам арестовывали четырнадцать раз, а причина та, что его выбирал народ на съезды в Оренбург. Последний раз освободили по ходатайству братьев Кашириных, которых дед спасал от преследования белых как красных комиссаров в своем доме более года.

Умерла Мельникова Любовь Васильевна в Березовом. Везти труп домой взрослых не пустили. Привезли ее дети — Оля десяти и Ванюшка двенадцати лет. 70 километров на лодке, да до берега нести километра четыре. Правда, когда люди узнали, что они несут труп, помогли им до берега донести.

Кто работал на раскорчевке, в живых мало кто остался. Раскорчевали территорию, посеяли пшеницу, а пшеница даже не взошла: земля-то была мерзлая. Картошка, может быть, и выросла бы, да садить не разрешалось. Так на раскорчеванном месте ничего и не садили и не строили.

Маму с раскорчевки привезли больную и опухшую от голода. Спас ее от голодной смерти один из начальников, Серяк Ф., выписал дополнительно муки восемь килограммов. (Норма была — шестнадцать килограммов рыбы, иждивенцам — восемь, больше ничего не давали.) Вообще он неплохо относился к переселенцам, только потом его арестовали.

На рыбалке с голоду, конечно, не пухли, но там издевались так же, как и на раскорчевке. Норму привозили с большим опозданием, деньги выдавали когда как. Иногда и бесплатно месяц проработают. Установлена была норма рыбы: половина язя на день. Варили в общем котле, за этим следили очень строго. Белую рыбу (нельму, муксун, стерлядь, пыжьян, сырок), даже ту, нестандартную, которую выбрасывали из невода в воду, есть не разрешали. Однажды все «следильщики» уехали, и рыбаки сварили уху из нестандартного сырка, а те вдруг внезапно вернулись и застали рыбаков за второй трапезой. Всех арестовали и дали по десять лет. Они из астраханцев, фамилия мама не помнит. Пишу с ее слов, ей исполнилось восемьдесят четыре года 4 ноября, в день Казанской Богородицы.

В очередной раз почти месяц не привозили муку. Когда привезли, спросили: «Что ели?» Ответил Быстров: «По одному язю». Его тут же арестовали, увезли, и никто не знает о его дальнейшей судьбе. Отца арестовывали два раза, но отпускали. Из последнего ареста освободили зимой, из Сургута до Березова шел пешком — это пятьсот километров.

Особенно злобствовал комендант Бодров. С людьми поступал, как ему заблагорассудится. Излюбленное его изречение было: «Вылетай на работу!» Перевертывал квашёнки с тестом (а тесто-то — пятьдесят процентов травы). Это его распоряжение было — загонять в баню с конвоем всех вместе, мужчин и женщин. Был случай, весной. Гнали в баню человек двадцать, через Обь. Лед был рыхлый, пока переходили, женщина провалилась в полынью, погибла. Как всегда, загнали в баню всех вместе, мужчин и женщин. После бани погнали обратно, было темно. Один из конвойных сказал: «Что на ночь-то гнать, завтра можно, днем». Его здесь же арестовали, фамилия его Быков.

Воспользовавшись заминкой, все разбежались и попрятались. Утром собрались, снова погнались. За ночь образовались забереги, все прощались с жизнью. Встали на колени и молились. Обошлось благополучно. Только зашли на берег — и лед пошел... Снова все встали на колени и молились, славя Господа Бога за спасение.

Власти его (Бодрова) пришел конец неожиданно для всех. Приехал уполномоченный из Березова, собрали всех людей в клубе: «Ну, давайте, говорите, может, кто вас обижал?» Никто ничего не говорит, все молчат, боятся. «Не бойтесь, мы этого человека завтра же снимем». Никто ничего не сказал, только все навзрыд плакали. Я это очень хорошо помню, очень. Это был душераздирающий общий плач. Его действительно сняли. Поставили комендантом Багулина, он был хороший человек, относился к людям хорошо. Стали садить картошку, кто мог, купил корову, немножко оклемались. Но он недолго был у нас, его арестовали как врага народа.

В это время мы жили с матерью одни, отец завербовался на Север. Это было так. Весной приходил караван, очень много барж, груженных товарами и людьми. Все это тащил маленький пароходик «Микоян». Редко доходил до пункта назначения в полном составе, по дороге в Обской губе разбивало штормом. У этого пароходика был маленький катер, звали его «разведчик». Это караван останавливался у населенных пунктов и вербовал в Заполярье: Пуйко, Новый порт, Таз. Катерок-«разведчик» заходил на рыболовецкие пески к рыбакам. Так отец и еще два брата Володины рискнули, но это считалось побегом, их искали. Мы тоже не знали, где отец. Потом узнали, что сбежал вниз, — это можно и разрешили выехать и нам. Так в 1935 году мы попали в п. Пуйко Ямало-Ненецкого округа, ниже Салехарда на двести километров.

Жизнь и там была не малина, но голодная смерть не угрожала. Пуйко на очень маленьком острове, всегда в воде. Ходили по деревянным тротуарам, весной тротуары заливала вода и по поселку ездили на лодках. А если наводнение, то и в квартирах была вода. Мы, детвора, плавали по комнате в корыте. И в такой год — в год большого наводнения — лед шел прямо по поселку. И были случаи, что сносило дома. В таких случаях устанавливали постоянное дежурство на вышке. О движении льда сообщали гудком сирены, днем или ночью выходили все с баграми. Так оттаивали дома от разрушения.

1940 год. Отца отправили в Тобольск вести катер

на капитальный ремонт (он работал мотористом). На обратном пути весной, по дороге, купил корову. Сено косили далеко, возили на лодке и на плашкоуте. Когда стайку затопляло водой, корову заводили в дом, то есть в квартиру (шестнадцать квадратных метров на семью из восьми человек).

1953 год. Нас освободили и дали разрешение на выезд. В этот год выезжало несколько семей. Проводы были запоминающимися. Провожало все население. Не обошлось и без слез. Все плакали, мужчины и женщины, и кто уезжал, и тот, кто оставался еще на зимовку. Капитан на пароходе дал прощальный гудок, и уже люди на берегу скрылись из виду, а пароход все гудел и гудел...

Не все вернулись на родину. Многие остались в Сургуте, Ханты-Мансийске, а мы приехали домой. Вся жизнь на родине началась с нуля. Купили домик, похожий скорее всего на землянку, потом сколотили небольшой свой, и затем, когда стали работать четыре человека в семье, купили хороший дом, двухэтажный, в городе Миассе, благоустроенный, из восьми комнат. Верх занимала сестра со своей семьей, а мы внизу. Но жить пришлось недолго в этом доме. После смерти отца все разъехались кто куда и дом продали. По возможности учились, в основном заочно или в вечернем институте или техникуме, или ограничились школьным средним образованием. Спившихся и алкоголиков в семье нет. Сейчас трое на пенсии. И в душе теплится желание работать на земле. Так хочется выращивать что-то, чем я и занимаюсь на своих двух с половиной сотках. Но с этими сотками начинается новая история, весьма плачевная...

Вот такова судьба двух казацких семей. До освобождения в живых остался только один мой отец — Константин. Дед и бабушка Тырдановы умерли с голоду в Устрёме в 1932 году. Дед Мельников умер на раскорчевке, а бабушка Мельникова с голоду в 1932 году. Сноха Любовь Васильевна Мельникова от болезни. Дядя Володя Тырданов и его сын Петр погибли на фронте. Погиб на фронте и Мельников Ванюшка, которого по дороге в ссылку разули комсомольцы. Дядя Федя Мельников был инвалид гражданской войны, умер естественной смертью.

А комендант Бодров вскоре после освобождения от должности ослеп и прожил слепым в одиночестве восемь лет.

С уважением к вам — Тырданова Пелагея Константиновна.

Город Челябинск, декабрь, 1990 г.»

* * *

«Комендант Бодров ослеп...» Дорогая Пелагея Константиновна, ослеп-то он задолго до того, как стал комендантом. Много людей ослепло еще до расстрела царской семьи, да так и не прозрело до сего времени. Так и умирают они в слепом виде. Духовное око коменданта Бодрова — где оно было, когда морили вас голодом, топили в ледяной воде, позорили в общественных банях, не давали хоронить родных и близких? Оно, это око, было с детства затянато бельмом чужебесия. И, сидя в Верховном Совете, на первом ряду, почти у самой трибуны, под гербом (который придуман неизвестно кем), я читал ваше, Пелагея Константиновна, письмо, ваш документальный рассказ. Читал и думал: когда же раскроются духовные очи этих бесконечных ораторов? Пытался и я что-то говорить в Верховном Совете, «вякать» на всю страну, как выражаются веселые циники.

* * *

«Закон, допускающий наряду с колхозной частную, хуторскую, фермерскую собственность на землю, необходим всем народам, населяющим наше великое государство. Принятие такого закона явилось бы доказательством того, что мы всерьез думаем о будущем. Дело не только в том, что новый закон о землепользовании в значительной мере сгладил бы множество экономических и особенно национальных противоречий. Он же способствовал бы и экологическому оздоровлению, а также языковокультурному возрождению всех народов нашего многонационального государства».

Депутаты первого горбачевского съезда слушали и молчали. «Над нами хохочет весь мир, когда мы везем картошку с кубинских островов. А не стыдно ли агропромовцам принимать «мясную подачку» из ФРГ? Крепостное право, основанное на марксизме, должно наконец исчезнуть. Крестьянин должен стать свободным, свободным от всего, кроме земли. Но и зависимость от земли должна быть добровольной, свободно выбранной. Наша ответственность ждет от крестьянина одного — чтобы он ее накормил, желательно досыта. Какое кощунство — видеть в крестьянине всего лишь кормильца! Я твердил и буду твердить: крестьянство, даже если оно колхозное, вовсе не обязано в одиночку выполнять так называемую продо-

вольственную программу. Твердил и буду твердить, что от крестьянина зависит мощь и судьбы каждого государства, каждого, даже самого маленького народа и республики. Крестьянские традиции равносильны национально-трудовым и культурным традициям. Ни один народ не спасет своего национального языка, своей культуры, если уничтожит собственное крестьянство! Выйти из демографических, экологических и других тупиков также невозможно, не имея свободного крестьянства. Но крестьянство без земли — это фикция, пустой звук. Поэтому Закон о земле имеет прежде всего национально-государственное значение. Никто¹ не собирается отбирать землю у жизнеспособных, рентабельных и артельных хозяйств. Из добротного, крепкого хозяйства люди не побегут. Но у каждого колхозника должно быть право выхода из колхоза. Иначе он крепостной, иначе он не свободен. Конечно, государство будет иметь возможность грабить и того мужика, который вздумает выйти из колхоза. Здесь напрашивается вопрос: а какого мужика грабить легче — того, который вышел из колхоза, или того, который остался там? Сталин вкупе с Молотовым и Кагановичем для того и придумывали колхоз, чтобы легче было грабить крестьянство. Судьба того или иного колхоза должна решаться не здесь и не в агропромовских кабинетах. Она должна решаться на общем собрании, которое мы просто похерили в своей жизни. Судьба личных пахотных, сенокосных, лесных земельных участков, судьба общих выпасов, а также грибных, ягодных мест должна решаться сельскими сходами. Так это было (я имею в виду Россию).

В Прибалтике и на Кавказе, может быть, по-другому, а в России так было еще со времени святого Владимира».

Депутаты слушали и молчали. «В предоставлении крестьянским хозяйствам земли должен существовать четко выраженный приоритет. На первом месте местные жители, занимающиеся сельским хозяйством. На втором месте — те, кто родился и вырос в данной местности, но не проживает в данной местности в эту пору. На третьем — ближайшие родственники и потомки умерших местных жителей».

Члены Верховного Совета слушали и тут же забывали услышанное, но, я, как дурак, долбил и долбил:

¹ Увы, я недооценивал возможности демократов. Уже тогда, в начале 90-го года, ими планировались законы о купле-продаже земли. (Прим. автора.)

«Когда речь заходит о крестьянстве, все говорят почему-то об одном: о кормёжке. Вы глубоко ошибаетесь, если так думаете! Крестьянство — это прежде всего стабильность государства, это культура, это народные традиции, это язык, это армия. Это дружба народов, наконец, — самое ценное, честно говоря, что должно быть. Наше многонациональное крестьянство вот уже много десятилетий подряд терпеливо несет на своих плечах основные тяготы и невзгоды. Так называемый «идиотизм деревенской жизни» не помешал величайшей крестьянской жертвенности во время раскулачивания, индустриализации, Великой Отечественной войны. Но сельское хозяйство великой державы еще в 20-х годах оказалось на задворках общественного сознания. Оно было превращено в заложника сталинских пятилеток. Крестьянство всегда было безотказным «донором» промышленности, «донором» нездоровой, политизированной экономики. Нынче обескровленная деревня не выдержала крепостного права. Сельское хозяйство приблизилось к состоянию агонии. Впервые в нашей истории разруха началась в мирное время. Впервые не война, а общественные неурядицы создали угрозу голода. Так пускай же позор карточной системы и позор международного попрошайничества не ляжет на крестьянские головы! Вина целиком на политиках. Крестьянство не виновато, когда государство не может принять, перевезти, сохранить и переработать урожай, когда гибнет свое отечественное зерно, а товарищ Катусhev везет зерно из других стран в обмен на сотни тонн золота. Разве крестьянин виноват в том, что вагоны с мясом стоят неразгруженными, а митингующие города клянчат зарубежное продовольствие? Безжалостная, затяжная, изнуряющая война, война региональных суверенитетов тоже начата ведь не сельскими жителями. Эта война началась в городах, точнее — в столицах, — это она разъединила наши народы. А что будет, если вся страна, весь народ не повернется наконец лицом к сельскому хозяйству? Это не трудно представить. Начнется голод, городское население выйдет на улицы, так называемые демократы потребуют от правительства иностранной экономической помощи, а новые займы приблизят страну к потере государственной независимости. Все эти неурядицы приведут к ослаблению, а затем и к распаду основных государственных структур. Страна окончательно превратится в колонию, торгующую дешевой рабочей силой и остатками природных ресурсов. Все это — реальности предстоящего дня...

Почему же в правительственных и президентских кругах царит олимпийское спокойствие? Безответственность пронизала все слои нашего общества насквозь, сверху до низу: безответственны шахтеры, безответственно министерство, сворачивающее сельскохозяйственное машиностроение. Безответственно ведут себя республиканские и союзные органы планирования и снабжения, финансовые органы. Безответственны, на мой взгляд, Верховные Советы республик, да и наш общесоюзный Верховный Совет, спокойно взирающий на стремительную деградацию экономики. А посмотрите, как ведут себя средства массовой информации! Например, журнально-газетная пресса. Есть такой журнал «Сельская молодежь». Посмотрите, чем потчует редакция этого журнала крестьянских детей, например, в номере первом за этот год¹. Позорное нравственное разложение сродни сверхполитизации в интеллигентской и рабочей среде. Многотысячные толпы на площадях забыли, что хлеб не растет на асфальте. Бастующие шахтеры, перед которыми заигрывают политические и государственные деятели, прекрасно знают, что без угля мертва наша металлургия, а без металла мертва и вся наша машиностроительная промышленность. Многие тысячи тракторов, прицепных и других машин не поставлены пахарям и кормильцам страны, родным братьям тех же шахтеров. На что же надеются наши угледобытчики и их политические поводыри? Неужели на заокеанские консервированные харчи? Неужели заокеанские «тормозки» полезут в горло шахтерам, когда из-за нехватки машин гибнет свой собственный урожай?

Деревня наша с тревогой и болью наблюдает за городом. Крестьянин просто кричит криком, он требует остановить стачки и забастовки, срочно помочь сельскому хозяйству машинами, стройматериалами, рабочей силой, умным советом, наконец. Меня удивляет спокойствие и выжидательная тактика президента и всех высших органов государственной власти...»

Депутаты слушали. Иногда аплодировали. Почти все они еще верили в искренность президента. Как же, ведь он был даже комбайнером. Государство рушилось. И никому не было дела до русского мужика! В отчаянии, я, подобно Анатолию Ивановичу Лукьянову, пробовал делать в политике поэтическую прослойку:

¹ 1990 год. (Прим. автора.)

С дубовых трибун и с гнилых парапетов,
Блюдя митинговую вашу страду,
Не стыдно ли вам перед белым-то светом
Истошно орать: «Накормите страну!»
Хотите забыть грабежи и расправы,
И гибель детей в заполярном снегу.
Но даже в дыму алкогольной отравы
Я этой обиды забыть не смогу.
Учили меня вы пером и наганом,
Корили, стыдили под красным гербом.
Когда бунтовал — нарекли хулиганом,
Когда я терпел — обзывали рабом.
Я всех накормлю!
Но оставьте в покое
На древней земле у травы молодой,
Не трогайте избу мою над рекою
И белую церковь над синей водой.

* * *

Слоеный пирог, состряпанный из политики и художественной литературы, никогда не станет съедобным... Откусишь, пожужешь и выплюнешь. Из уважения к стряпухе можешь, конечно, и проглотить, но тогда будешь икать от интеллектуальной отрыжки. Неминуема и эстетическая изжога. Впрочем, от политики в чистом виде эта изжога бывает еще сильнее...

Два дня я кланчил слово для выступления на первом российском съезде... Наконец, когда группа депутатов сделала запрос и по этому поводу даже устроили голосование, Ельцин предоставил трибуну и мне, чужаку, депутату еще не разогнанного союзного съезда. В надежде на молодость и свежесть российских депутатов я снова начал с крестьянства:

«...ваш председатель пожалел для меня восемь минут, когда обсуждался Закон о земле. Что ж, время действительно дорого. Тут Борис Николаевич прав. Мы упустили время и не защитили интересы России. Она по-прежнему беззащитна... В жесткой, изнуряющей политической борьбе наши лидеры мало думают о русском народе. И вы, народные депутаты, должны, обязаны воспитать, выдвинуть из своей среды новых энергичных, умных и молодых лидеров. А то нынешние лидеры, особенно союзные, вспоминают о крестьянстве только тогда, когда проголодаются, либо когда приспичит отечественная война.

За шестьдесят лет колхозной жизни в моей деревне Тимонихе не выстроено ни одного дома, зато было построено три скотных двора, три конюшни и три телятника. Как видите, о скотине государство заботилось больше, чем о самом крестьянине. Но, дорогие друзья!.. Ведь крестьянство — это не только одна кормежка для городских жителей. Крестьянство — это спасение народа и государства вообще. Это спасение языка, национальных традиций, национальной культуры каждого народа. Я подчеркиваю — каждого!

Спасенное крестьянство — это прекращение межнациональной борьбы, это здоровая экология и демография. И армия, наконец. Вот почему так яростно и так долго уничтожалось русское, украинское, белорусское, казахское и другое крестьянство. Сколько лет крестьянство уничтожалось, столько лет нам придется его и восстанавливать.

Я могу доказать, что и в сию минуту сохранившиеся в нашей стране остатки крестьянства оскорбляются, эксплуатируются и третируются. Вчера, позавчера вы приняли приличный Закон о земле. На этом можно было бы закончить крестьянскую тему, и пусть бы крестьянин свободно решал, как ему жить: остаться ли в колхозе или выйти на хутор. Только вот беда: никогда город и вся так называемая демократическая интеллигенция не давали крестьянину свободы этого выбора! Боюсь, что и новым Законом воспользуются одни горожане...

Два года тому назад я говорил на съездах о том, что Россия оскорблена, обворована и унижена. А что изменилось за два года? Ее по-прежнему унижают, оскорбляют и требуют покаяния. Требуют отказа от имперского мышления. Но какое уж там имперское мышление, если русский народ, оскопленный гражданской войной, раскулачиванием, надорванный войной Отечественной, оглушенный алкоголем, обманутый всякими академиками вроде Заславской, даже не участвует в наших политических беседах и играх!

Утверждаю, что интересы русских людей не представлены как следует ни в союзном правительстве, ни в союзном Верховном Совете. Еще меньше прав у русского народа в нашей свободной прессе. Да, наша цензура благодаря Михаилу Сергеевичу Горбачеву приказала долго жить. Но ведь способов зажать рот очень много. Вот один пример. Почти вся бумага с помощью иностранных толстосумов попала в определенные руки. И российское пра-

вительство не ударило палец о палец, чтобы остановить бумажную спекуляцию, чтобы дать свободно вздохнуть тем печатным органам, которые осмеливаются заступиться за русские интересы. Журналистов и писателей, пытающихся защитить эти интересы, оголтелая леворадикальная пресса называет шовинистами и даже фашистами.

Да, я утверждаю и могу это доказать, что союзное правительство во многих случаях ведет себя по-предательски не только к тем русским, которые живут в республиках, но и ко всей России. Правительство, сформированное российским Верховным Советом, пока только пытается защитить ее политические, экономические интересы.

У всех на глазах борьба за групповые интересы. Время и силы уходят на мелкие политические стычки в борьбе за власть. Иногда мне кажется, что и Михаил Сергеевич Горбачев, и ваш лидер Борис Николаевич Ельцин формируют свои команды не по деловым качествам, а по принципу личной преданности. Скажите, пожалуйста, кто мешал Михаилу Сергеевичу Горбачеву опереться на таких народных депутатов, как, например, Авалиани? Вот и взял бы его в Президентский совет. Но нет, Михаил Сергеевич предпочел других, более податливых, вроде Шаталина и Примакова.

Та же история с нашим российским правительством. Я знаю, по какому принципу назначают министров. Генерал Громов был на своем месте. Он охранял государство от внешних врагов. Теперь боевой генерал будет воевать с пьяницами и спекулянтами. По-хозяйски ли это? И Соломин, и Губенко тоже были на своем месте. Не стоило им подражать Рейгану. Он был средним актером, но оказался неплохим президентом.

Меня глубоко волнует, а точнее сказать, оскорбляет нынешняя направленность экономики. Мы почему-то решили буквально все позаимствовать у Запада, то есть у чужих людей. Семьдесят пять лет назад мы позаимствовали у Европы марксизм с его непримиримой враждой к частной собственности. Нынче опять заимствуем приватизацию, то есть частную собственность. А не пришло ли нам время жить своим умом? Страну охватила не лихорадка, а самая настоящая чума, точнее — валютный СПИД, потому что все началось с валютной проституции. (Еще совсем недавно слово «валютчик» было синонимом слова «преступник».) И вот нынче солидные дяди, почти все наши начальники и министры, оказались валютчиками. Весоюзный валютный разговор стал выражением хорошего тона...

Еще вчера наша страна была великой державой, с нашим рублем худо-бедно считались. Сегодня наше Министерство финансов оказалось на задворках у западных биржевиков. Наши лидеры униженно кланчат двенадцатипроцентные займы. Государственный долг растет, как на дрожжах, сырьевой экспорт тоже растет. Вы скажете, что у нас нет иного выхода. Позвольте не согласиться. Ладно, взяли мы в долг даже парламентскую и президентскую системы, порнографию и массовую культуру получили от Запада бесплатно. Взяли мы в долг сорок восемь миллиардов долларов (или уже больше, я не знаю). В долгу мы как в шелку. А чем будем расплачиваться? Опять за счет «неисчерпаемых» природных русских ресурсов? Президент ошибается, когда говорит о неисчерпаемых ресурсах природных богатств. Лес в стране вырублен, как говорил предыдущий оратор. Нефть тоже уже наполовину выкачана. А газ качаем мимо своих деревень куда-то за тысячи верст.

А зачем, скажите, заимствовать нам то, что есть у самих? Например, песня и хлеб. Ведь стоит дать свободу одним только нашим колхозам, а я не говорю про единоличников, колхозам не по Сталину и Кагановичу, а колхозам по модели Чайнова и Кондратьева, стоит дать только такую свободу и достойную экономическую поддержку, я подчеркиваю, одним лишь нашим колхозникам, не говоря о единоличниках, и через два года мы завалим Европу дешевым зерном. Но в том-то и беда, что такую чайновскую кооперативную свободу колхозникам мы не даем, а даем свободу городским спекулянтам и выручаем из беды не своих мужиков, а американских фермеров, покупая у них зерно. Мне так и вспоминается одна частушка: «Мы чужие крыши кроем, а свои не крытые, мы чужих девчонок любим, а свои забытые».

А скажите, зачем покупать собственные технические изобретения? У меня нет времени сейчас привести пример. Не такие уж мы беспомощные, как утверждают иные газетчики. Нам по силам самим создать собственную технологию. Разве мы не имели свою собственную, например, химическую, мыловаренную промышленность, когда начался шум вокруг мыла? Мыльный дефицит лопнул, как мыльный пузырь.

Я признаю международное разделение труда, но не настолько, чтобы картошку возить с Кубы, а из Аргентины — говядину. На этот счет есть пословица: за морем телушка полушка, да рубль перевоз. А мы покупа-

ем не только залежалые масло и хлеб, но и устарелое оборудование, причем рассчитанное на иную среду, на иной природный и психологический климат. Нам сбывают устарелые технологии и этим специально держат в зависимости.

Или нет у нас образованных инженеров, талантливых самоучек, конструкторов? Полноте, все у нас есть. Меня удивляет болтовня о так называемой «утечке мозгов». Болтовня не только в печати, но и на самом верху — в Совмине. Во-первых, что это за мозги, которые текут из пустого в порожнее? Мозги, которые разжижены и текут, по моему, жалеть нечего, пусть текут. А во-вторых, разве нельзя платить не за докторские и кандидатские дипломы, а за истинные заслуги? На месте Совмина я бы отменил пожизненную ренту докторам и кандидатам наук.

«Деревянный рубль!» — кричат демократы и просто хлебываются от восторга перед долларом. Но я, например, сомневаюсь в могуществе этого самого доллара. Был в Америке, Канаде. За один доллар в Америке можно купить всего лишь один сэндвич, по-нашему — бутерброд. А приедем американцам Министерство финансов выдает за один доллар восемь рублей¹ или сколько там, не знаю... Так чью же валюту наше правительство укрепляет? Свою или американскую?

Эмиссию можно остановить даже не радикальными правительственными мерами. Потребительский рынок, если поднатужиться, тоже можно стабилизировать и без миллиардных займов. Однако прозападные лоббисты в правительственных и высших органах власти не желают этого. Как велика и заманчива мечта о западном экономическом стиле! Когда по телевизору показывают посылки с едой из Америки, у меня щеки горят от стыда за наших лидеров.

Я предлагал на первых всесоюзных съездах немедленно объявить всесоюзный строжайший режим экономии. Никто и ухом не повел: все осталось по-прежнему. На лесных делянках по-прежнему остается 40 процентов древесины (правда, в футбол батонами в Москве уже не пинаются).

Но куда идут народные деньги? Восемнадцать миллионов управленцев у нас? Об этом, кажется, в Мурманске говорил Михаил Сергеевич. Они как получали зарплату,

¹ Во сколько раз увеличилась эта цифра за последнее время, представляю судить читателям. (Прим. автора.)

так и получают. Их примерно столько же, сколько нынче мужиков, колхозников. Нет, не экономим мы рубли на бесполезных чиновниках, на пустопорожних съездах, на бесконечных совещаниях!

Но я глубоко убежден, что дело не только в одной экономике, дело еще во многих других вещах. Не хлебом единым жив человек! Не думайте, что все сводится к экономике. Я, например, не понимаю, почему до сих пор не уравниены права верующих людей, они по-прежнему преследуются.

Тысячи улиц и площадей, поселков, городов, целых регионов по-прежнему носят имена палачей. У нас в городе что ни улица, то имени Менжинского, Кедрова, Урицкого, Клары Цеткин. Что сделал Менжинский для России, мы знаем. А что сделала для России Клара Цеткин? Я что-то не знаю. Я уверяю, что не будет от нас толку, пока мы увековечиваем собственных палачей. Не будет! Пора нам, всем народам России, преодолеть этот недуг.

Я мечтаю о том времени, когда страна перестанет заседать и митинговать, начнет, наконец, просто трудиться. Пришло время снимать галстуки, в прямом смысле. Пришло время просто работать, физически работать в первую очередь, трудиться упорно и настойчиво. Я готов поддерживать этот призыв личным примером...

Российскому съезду прежде всего необходимо единство. Без единства ничего не добьемся. Россия еще не сказала своего последнего слова. Россия все еще жива, приглядывается, что могут учинить Шеварднадзе и Яковлев. За чьи интересы будет бороться межрегиональная депутатская группа в Верховном Совете СССР. Но Россия, несомненно, еще скажет свое веское слово и в труде, и в политике. Хочется пожелать вам от души терпенья и мужества!»

* * *

Злобные выкрики демократов нейтрализовали мое смущение, вызванное одобрительным шумом в Кремлевском зале. (В том самом, где проходили все пленумы по уничтожению крестьянства.) «Зачем его пустили сюда?» — кричал какой-то депутат, когда я сошел с трибуны, были и свистуны.

ЖАЖДА МЕЛОДИИ

«Оставайтесь с нами и дальше, а мы будем для вас работать!»

Дикторша «Маяка»

«...для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть.»

Апостол Павел, из послания к Титу

Чего-чего, а способов оскверниться, вляпаться в какую-нибудь мерзопакостную стихию, существует великое множество... Но апостол говорит прежде всего об осквернении духовном. А это осквернение напрямую связано с такими нынешними понятиями, как «свобода слова», «права человека» и т. д.

Так называемая свобода слова конечно же и в христианском смысле далеко не пустой звук, а в либерально-демократическом тем более... Свободу печатного слова и «свободные» крики митингующих атеисты-демократы считают главным своим завоеванием.

И впрямь! Одна честная статья, независимая от пропитанных слезами и кровью денежных рюкзаков, способна раскрыть глаза тысячам людей. Она может избавить их от ложных убеждений, от многолетнего оболванивания, от обмана и хитростей партийной прессы. Плохо ли для государства, если появляется христианский журналист с бесстрашной, национально мыслящей головой, не боящийся ни пули, ни клеветы, ни гайдаровского словечка «наци»? Худо ли, если страна обзаведется действительно независимой газетой или журналом такого же свойства?

...Увы — это лишь иллюзии. В реальной жизни независимых печатных органов не бывает. А если он каким-то чудом и появится, его тут же либо придушат, либо он затеряется в давке этой самой свободной демократической прессы. Ведь дело в тиражах, а тиражи-то, позвольте спросить, в чьих руках? Они опять же в загребуших руках банкиров... Мужественному честному журналисту, не продажной газете или журналу припасена финансовая удавка, никакой свободы не допускающая. А посему оболванива-

ние миллионов с успехом продолжается. Чихал денежный туз на всех даже козырных королей и валетов, будь хоть каждый из них по семи пядей во лбу! Что им, тузам, Совбез ООН, который грозен только с виду. В таких условиях «свобода слова», разумеется, всего лишь пустой звук. С помощью прессы и электронных СМИ банкиры и правят не только нашей страной, но государствами всего мира. Народы, этому сопротивляющиеся, с помощью тех же СМИ демонизируются, их срамливают друг с другом либо оккупируют, как Сербию. А то и разбомбят, как бомбили они столицу Ирака. Какая уж тут свобода печати!

О свободе как о философском понятии можно говорить много. Оставим этот разговор записным философам. Слово «свобода» в религиозном, божественном смысле выявляет еще большую свою глубину, совершенно недоступную атеистическому пониманию. Слово «свобода» существует и в самом простом, примитивном социально-бытовом понимании (свобода от тюрьмы, от наручников). Существует и демагогическое понимание этого многозначного термина, когда человеку мерещится, что ему можно делать буквально все, чего бы ни захотелось.

Большинство людей путаются во всех этих пониманиях и числят свободу лишь применительно к своим личным, обычно эгоистическим не философским и не религиозным интересам. В зависимости от этого используется и расхожее выражение «свобода слова».

А существует ли «свобода звука»? Свобода музыкального звука. О, да! Но лучше бы ее не было, этой свободы звука. В этом случае дела обстоят еще грознее, еще запутаннее, чем со «свободой слова».

Ошибаются те российские патриоты-государственники, которые в борьбе за спасение Отечества сделали ставку на литературу и журналистику. От «музыкальной свободы» люди теперь, особенно самые молодые, гложут, заражаются не только спидом, но и суицидными мыслями, болеют, сходят с ума, заканчивают жизнь раньше срока. Они начисто забывают, что пели и слушали их отцы и матери, их деды и прадеды. Поп-музыка стремительно и бесцеремонно захватывает весь мир, здоровые человеческие голоса совсем не слышны в ее грозном дьявольском шествии.

Под силу ли современным философам осмыслить этот факт? Конечно под силу! Но опять же как быть со свободой? Каждый сколько-нибудь трезво мыслящий человек относится к выражению «свобода слова» с определенным сарказмом, с некоторой долей иронии, как к чему-то

в полной мере не существующему, придуманному только для наивных симплициусов. Выражение превратилось в жупел, обязательную принадлежность «прав человека». «Человек» имеется в виду, конечно же, прежде всего западный, европейский (либо американский). Другие народы Земли считаются не то что неполноценными, просто еще не достигшими западного понимания свободы и прав. Права человека признаются, но в урезанном, обычно интеллигентском смысле. Кому дело до прав и свобод, например, вчерашней доярки, не имеющей ни хлеба, ни крыши, ни долларов? Да никому. Национальная расцветка, многообразие и своеобразие этих прав тоже игнорируются, хотя и записаны в многомудрых ооновских бумагах.

Например, кольцо в носу африканца или желание некоторых восточных женщин носить чадру уже не входят в неотъемлемые права человека. (Демагоги СМИ обвинят автора в том, что он хочет вдеть кольцо в нос каждого европейца.) Мудрено ли при этом то, что мыслящие люди с некоторой иронией поглядывают на весь европейский набор «прав человека»? Не напрасно закупленные оптом журналисты побаиваются вслух говорить об этих самых правах. Если уж говорить о них «вслух», то нельзя их сводить к одному интеллигентскому и европейскому набору. Такие мысли и приходят в голову, когда все радио и телепередатчики день и ночь шумно призывают блюсти «права человека», «свободу слова». И конечно же свободу звука, свободу телодвижений и прочие свободы.

О действенной нравственной цензуре, существующей даже в США, общественных советах на телевидении и радио депутаты боятся не только говорить — думать, и то боятся! Потому что «свободные» СМИ бдительно следят за депутатскими помыслами...

Но почему я считаю, что государственники, сделавшие в борьбе за Россию ставку на свободу печати, ошибаются? Да потому, что для разрушителей народных традиций такая свобода отнюдь сейчас не главное. Главное для них теперь свобода музыки, свобода песенного «творчества». Целые народы при содействии банкиров лишаются нынче классической и народной музыки. Пытаясь переделать каждого человека на свой лад, эти господа не жалеют денег на обработку слушателей и зрителей. Нельзя говорить, что этот процесс начался только вчера. На мой взгляд, марксистский космополитизм в музыке и в народных обычаях развалил территориальную цельность СССР. На этом и сыграли враги в Европе и в Америке, не без

помощи внутренних врагов государства. (Горбачев, Шеварднадзе, Яковлев.) Это общеизвестная истина.

Цитировать самого себя — занятие не благодарное. Но что же делать, если приходится? Еще в 87—88 годах я писал об этом зловещем «музыкальном» преддверии государственного развала. Книга была издана тридцатитысячным тиражом, переиздана тиражом в пятьдесят тысяч экземпляров. Никто и ухом не повел, кроме рьяных, но молчаливых разрушителей государства, типа Александра Яковлева. Эти-то читали все и весьма внимательно. В той книге («Раздумья на родине») я призвал себе на помощь таких философов, как Платон, утверждавший, что «отвращения от общенародной музыки надо остерегаться больше, чем нарушения любого закона». Он же говорил, что «нельзя изменить форму музыки, не внося расстройств в нравственность». А великий философ Востока Конфуций восклицал: «Покажите мне, как поет народ, и я скажу, как народ управляется и какова его нравственность».

Авторитета великих философов древности мне показалось мало. Я добавил к ним мнение Льва Толстого. Еще процитировал такие слова Циолковского: «Музыка есть сильное возбуждение, могучее орудие, подобное медикаментам. Она может и отравлять и исцелять. Как медикаменты должны быть во власти специалистов, так и музыка».

Приведенные высказывания великих людей, увы, ни на кого не подействовали. Все спало в сонном коммунистическом царстве! Только Шеварднадзе и Яковлевы бодрствовали. Всеобщее благодушие, может быть, лишь подхлестнуло бешеных сторонников «культурной» революции, сопровождавшей экономическую и финансовую перетряску.

Засевшая на радио и телевидении «демократура» выплеснула на Россию непролазную грязь и пошлость, засасывающую миллионы молодых и даже пожилых людей. Все СМИ (какое словечко!) очертя голову кинулись перedelывать слушателя. Горбачевских и ельцинских чекистов такое развитие событий не трогало. Началась перedelка с надрывных, но вполне как бы правдивых песенок покойного Высоцкого, но гитара его еще не очень противоречила бескрайнему русскому мелосу, хору, народной песне.

То, что начал Высоцкий, доделали его эпигоны...

Русская поэзия переболела Евтушенко, как гриппом. Выжила. А вот русская песня поперхнулась на Высоцком и затихла, как затихало когда-то хоровое мелодичное поморское или, к примеру, казачье пение.

Надолго ли? Воспитатели «нового» человека всерьез

думают, что навсегда. Перефразируя поговорку о золоте, можно твердо заявить: «Не все то новое, что блестит».

Как говорится, проживем, увидим.

Распоясавшиеся телевизионщики нынче совсем обнаглели, они как бы дразнят нашего брата: «Ах, вам не нравится, так нате вам! То ли еще будет».

Что будет, о том судить можно по новогоднему теле-сумасшествию. Политические провокации устраивают обычно Сванидзе, Доренко, Киселев, призывая на помощь обозревателей. Станислав Кондрашов, например, не зря ест известинский хлеб. Недавно он (Кондрашов) мимоходом, но всем копытом лягнул белорусского президента. За что? А ни за что, просто так. Работа была сделана весьма грязно и непорядочно, зато Киселев остался весьма доволен. Без контраста с Бабуриным удалось в очередной раз устроить плевок в российско-белорусский договор. Существует ли предел подобному бесстыдству и беззаконию? Предела, думается, нет... Ни Думу, ни правительство ничем не прошибешь, они не могут защитить даже сами себя. Заслонившись флагом фальшивой «свободы», Федеральное Собрание стоически терпит все подряд: и антигосударственные выпады, и противоправительственную ложь типа заявления Явлинского о коррупции, и дикие вопли бездарных певцов. Чувствуя собственную безнаказанность, редакторы электронных СМИ наглеют еще больше. Иезуитские приемчики редакторов НТВ заимствуются другими компаниями, вокруг русофобского запевалы жужжат как ядовитые мухи сотни специалистов по политическому и музыкально-киношному оболваниванию. Под сенью «свобод и прав» человека, под сенью ельцинской демократии телевизионщики воспитывают себе подобных, называемых обычно по-иностранному. Язык при таких законах — беззащитен. Что уж и говорить про художественные и про музыкальные вкусы. Свобода в России поистине теперь сатанинская. Ни в какой Америке или Франции такой «свободы» нет и не было. Не существует никаких сдерживающих начал. Поэты и композиторы раскрепостились. Позволено все! Сочиняй что хочешь, исполняй чего подвернется под руку, создавай любую тусовку, чувствуй себя свободным независимо от того, есть у тебя способность сочинять тексты и музыку или никакого таланта нету. И вот возомнили себя творцами тысячи недорослей мужского, женского, а больше всего среднего рода, «вдохновение» захлестнуло души скучающих бездельников, не желающих знать ничего, кроме

пошлейших своих текстов и бесстыдных дерганий под механизированные гитары на эстрадных подмостках. А седовласые мэтры, музыкальные «знатоки» среди этого бесовского многоголосья начали устраивать музыкальные гонки, внедрять конкурсы, отбирать наиболее нахальных и звонких, двигать их в телевизию и на радио. О, Боже, какой только пошлости, какой бездарности в словах и в «музыкальных» звуках не приютили «демократические» СМИ! На ТВ, на радио, в кино, на эстраде, в журналах и газетах беснуются бездарные, дарные, а иногда слегка талантливые отроки, двигая в массы культуру. Культуру? Если все это культура, то что такое антикультура? Какая звуковая белиберда, какая словесная заумь, какая музыкальная отравленная цинизмом каша хлынула в молодежную среду! Юношество, сформированное в такой ядовитой среде, невозможно даже силой принудить беречь государство. Любить свою Родину оно никогда не сможет, трудиться не за деньги — тоже. Научить такое юношество экономить собственное время и здоровье — невозможно. Разговоры об экономии электричества, воды, одежды, продуктов — впустую. А Федеральное Собрание, увлеченное выборами, налогами, бюджетами и политическим мордобитием, не дует и в ус. Губернаторы, лидеры фракций даже гордятся безграничной свободой, приближающейся к анархии.

Жуткую словесно-музыкальную безвкусицу круглые сутки вынуждена слушать вся страна, от Курил до Калининграда. Скажут, возьми да выключи. Положим, я это и делаю, но моя семья выключать не желает. И миллионы людей слушают, отвыкая от хорошей классической музыки, от родной, ничем не заменимой песни. Дети растут ненавистниками Отечества, пошляками и развратниками, им кажется, что везде живут лучше, кроме нашего. Но такова и задача банкира, имеющего двойное подданство. Задача перевоспитать целую нацию, народ, любую маломальски серьезную этническую группу.

«Камера объективна!» — на всех перекрестках басом вопят перестройщики, им подсобляют визгом экспансивные ТВ-дамочки. Да, главная часть съемочной камеры — объектив, так же, как у обычного фотоаппарата. Но лучше бы эту часть камеры называть субъективом. С тех пор как изобретено кино, с его двадцатью четырьмя кадрами, создающими иллюзию движения, объективность камеры исчезла. Снять на ТВ можно так, а можно иначе, все зависит от ловкости оператора, от того, кто дает задание, кто платит. Если же он начнет снимать событие или ка-

кой-либо факт не так, как приказано, содержать оператора, платить ему большие деньги становится бессмыслицей для банкира. Так банкиры с помощью телевидения создают мощные направления в идеологии, обманывая миллионы простодушно-доверчивых. Телегипноз — самое мерзкое явление в нашем насквозь технизированном, хотя подчас и голодном быту. Вспомним хотя бы, что натворил Кашпировский. Всех, кого только мог, он заставил делать то, что желают денежные мешки. Коварство этих мешков — просто непостижимо. Они умеют отступить, когда их прижмут, умеют притвориться на очередных выборах, приспособиться к любому правительству. Помнится, не сколько лет назад объявили по радио о концерте по произведению М. И. Глинки. Думаю, что бы это значило? Ах, все ясно, началась предвыборная борьба. Притворный патриотизм... Надо же как-то зарабатывать голоса избирателей! Всех «россиян» еще невозможно обмануть или купить. Поневоле приходится ставить Глинку или Чайковского. Да и Мусоргского в эфир допустят (хотя Штраус предпочтительней). Стоило Ельцину остаться на троне — и долой Чайковского, обработку начинаем сначала...

Демократические редакторы пробуют новейшие методы перевоспитания симплициусов. Они заимствуют тонкие европейские и грубо-топорные в стиле «поля чудес» американские способы оболванивания. Взгляните в программы многочисленных телеканалов. Чего только там нет. Все мировые силы зла брошены на то, чтобы обогатить, опаскудить, посеять в народе неуверенность и уныние. Причем не только в среду молодежи, но и в среду вымирающих ветеранов труда. Военных-то ветеранов осталось немного. Перестройщики русской души не брезгают ничем, они манипулируют даже голосами дикторов, слышны все звероподобные голоски и голоса, а в телящиках мелькают, мерцают, мельтешат голые дивы, живые существительные мужского, женского и среднего рода.

Тот, кто заразился «ящиком», уже не способен избавиться от телевизионного плена. Он зомбирован, он на крючке. Его будут обрабатывать хотя бы на уровне подсознания всю жизнь. По крайней мере, пока не сломается «ящик» или пока человеку не стукнет в загроможденную киношными образами голову простая мысль: «Чего это я, как дурак, уставился в этот ящик? Не лучше ли его выключить либо совсем в кладовку стащить?»

Все презревающие так и делают.

Только много ли их, презревающих-то?

«Отражение!» — напрягает мозги и голос бывшее «Все-союзное», придумывая новые формы. Но ничего не приходит в голову, кроме зеркала. Почти из всех «отражений» получается нечто кривое, искажающее правду, как в комнате смеха. В большинстве передач врут откровенно, иногда к вранью подмешивают правду в гомеопатических дозах. Разводят ложь и большими порциями объективности. Такие коктейли. «Экономика и культура, работа и отдых (тьфу ты!), город и село», — вещает радио, хотя никакого села там и духу нет. На «Маяке» — то же. «Эхо Москвы» обслуживает одних гайдаровцев да скучающих шоферов, дремлющих в ожидании «новых русских».

Вот «Маяк», словно бы мимоходом, внушает безденежным «россиянам», как много становится самоубийц в «больших городах Японии». О «россиянских» голодающих учителях — ни словечка. Иной раз говорят, но так, что руки, не только учительские, совсем опускаются.

«Демократические» реформы разрушили нашу экономику — это известно теперь любому школьнику. Но еще более ударили эти реформы по культуре. Главным оружием в атаке на культуру стало телевидение и радио, к ним примыкают эстрада, в полной мере оперирующая «свободой слова и звука», кинематограф и т. д. Не зря день и ночь из месяца в месяц идет кутерьма вокруг телеканалов, не затихает грызня в руководящих кругах телевидения. Организации то и дело переформируются и сколачиваются заново, кадры «профессионалов» тасуются, представляются с места на место, проходят чистки. Но цель всегда одна — вывернуться, уцелеть и продолжать разрушение народных традиций. Зачем? Затем, чтобы сделать молодежь не чувствительной к стыду и совести, чтобы адаптировать ее к бездарщине и безвкусице, отравить, отвоевать во что бы то ни стало молодежных избирателей, так необходимых в опасный час на выборах. Не зря даже Кобзон вселился в Государственную Думу и, жалуясь на судьбу, вещает на весь мир: «Чего это у них то «Отечество», то «Держава»? Организует Лужков, вот и называл бы организацию своей фамилией...» Кобзон даже не сдерживает раздражения, вызванного словом «отечество».

Шедевры бездарной поэзии сбили с толку десятки, может быть сотни «коллективов», музыка их на том же уровне, что и тексты. Раньше хоть какие-то языковые нормы соблюдались, редакторы и корректоры следили за текстом. Теперь — пиши, чего вздумается, все проглотят. Вот образец «поэтической» песенной халтуры, она хуже

всякой кобзоновщины. Певец, имитируя смертельную усталость, хрипло докладывает: «На пару дней заеду к ней, на пару дружеских безудержных ночей». «Не пропаду», — убеждает он сам себя в конце всей этой пошлятины. Почему ему грозит «пропажа», можешь думать, что хочешь. Пиши, что придет в голову, тверди «сто раз, сто раз, сто раз», «от Питера до Москвы», «от Питера до Москвы». Что сделать? Повторить одно и то же. Что? Чихнуть? Переобуться? Чокнуться бокалами? Допускается все... В этой пошлой многозначности поэт подразумевает любое, даже бесстыдное действие под стук колес, похожий своей монотонностью на долбежку ВИА. Эти музыкальные гении вообще большие любители путешествий:

Моя маленькая леди,
Подари мне нежный взгляд,
И с тобою мы уедем
Вдаль, куда глаза глядят.

Не ясно даже, куда глаза «косят», не только глядят. По всей видимости, в Лондон, но по-моему, в никуда. А какова эта самая «леди» и почему она всего лишь маленькая, не большая и не средней величины?

Ну, хорошо, леди так леди, пусть будет и леди, ледя, был бы в песенке хоть маленький намек на мелодию. Так ведь даже намека нет! Пусто. Ничего, кроме ритма.

Впрочем, в таком изобилии этих колотильщиков нет-нет и проскочит что-то более-менее поэтическое:

А вода не пускала
И только тянула на дно...

Конечно, куда же воде больше тянуть? На дно. Не в небо же ей тянуть незадачливого сочинителя.

С русским языком такая поэзия весьма не в ладах. Глупость в стихах звучит невероятная, а музыка подчас и совсем дрянь. Все это настойчиво внедряется в головы слушателей, поглощается миллионами молодых ушей. И насыщают эти уши мертвыми словесными трутнями вроде «ретро», «кредо», «джазмен». Эти словечки лишний раз и повторять, и читать не хочется.

На что способна рок-музыка, сообщил однажды журнал «Здоровье» (№ 5, 1984 г.), причем сообщил ободряюще: «...расплодилось невообразимое количество мышей. Истребить их никак не удавалось — не помогли ни мы-

шеловки, ни ядохимикаты, ни коты. И вот в зале состоялся концерт современной рок-музыки. Электроакустическая аппаратура усиления звука действовала безотказно. Поклонники музыкального грохота выдержали. А вот мыши... бесследно исчезли».

Взять хотя бы всем известный «Маяк». Эта радиостанция когда-то была довольно известна, в былые дни и годы нравилась она и мне, несмотря на музыкальные позывные, кои многие недолюбливают. Песенка «Не слышны в саду даже шорохи» посредственная по мелодии, слова не отличаются высоким поэтическим чувством. Не знаю, за что ее разучивали и распевали в туристических автобусах, особенно вместе с приезжими иностранцами. Неужели только за то, что «подмосковные» вечера дороги? И что значит «речка движется и не движется», почему автор заклинает «так пожалуйста будь добра, не забудь и ты» эти т. н. вечера. Весьма примитивный, хотя и понятный всем образ. Так или иначе, включая транзистор и уловив позывной, особенно в бессонную ночь где-нибудь в лесу или у костра люди настраивались на эту волну, слушали. Частенько звучали на этой волне народные песни, добротнo исполненная классическая музыка, любимые народом голоса Шаляпина и Виноградова, Обуховой.

Нынче сплошь звучит либо иностранщина, либо не шибко мелодичная поп-музыка, либо блатная, либо... Вопли на чужих языках, свое кряхтенье, взвизги, словно с певички сдирают кожу. Дикие звуки сверлят наши бедные головы. Круглые сутки, уже много лет. Вот что преподносит нынешняя радиостанция «Маяк», освещающая дорогу другим и прочим. «Маяку» подражает «Радио России» и все местные. Про «Эхо Москвы» и говорить погодить. Налогоплательщик, куда и кому ты беспрестанно валишь свои рубли? Кто ими всеми командует, знаешь ли ты? Не знаешь... И не узнать тебе никогда, потому что задача поставлена тебя переделать. Создать заново! Чтобы ты не знал ни своего прошлого, ни своего будущего, чтобы твои дети, если ты посмеешь их родить, никогда не узнали, как и что пели раньше. «Я не буду больше ждть», — словно попугай, твердит и твердит радио. «Ты самая красивая», — убеждает кого-то кто-то своим педерастическим голосом. Тысячи и тысячи бездарных, на ходу придуманных строчек, сопровождаемых барабанной дробью и глухими ударами. А ТВ? Даже траурное сообщение о Галине Старовойтовой поборники поп-музыки обрамили в соответствии со своим вкусом, т. е. начали с органа, завершили

долбежкой рок-ударников. Существует «гробовая» музыка и отдельно, независимо от похорон Старовойтовой. Поют что-то о том, как «ветер рыдал», как «я ждала тебя в комнате» (хорошо, что не на морозе), как «свеча в гробу» то ли догорела, то ли потухла — не поймешь (почему в гробу?). И понимать до конца не стоит. Такие «зигзаги» мелодические и словесные вытворяют все эти эхи и маяки под флагом свободы и под знаменем российским. Попутно калечат и русский язык.

Что такое «Авторский канал от первого лица»? О, друзья, тут думать и думать. Разница в электрической обработке радиостанциями разных каналов невелика, но какая-то есть. Попцовы и шабдурасуловы не такие дураки, чтобы совсем открывать идеологическое забрало. Вдруг народ опять хлынет к Останкинской башне? Автоматчиков не напасешься, да и по кому бравые витязи будут палить? Еще неведомо... Поэтому время от времени они допускают до микрофонов и настоящих творцов типа Обуховой.

Тем не менее, с началом демократической перестройки «маяки» постепенно, но твердо меняли музыкальные и информационные программы. С развалом Союза пошли в дело все идеологические отходы. Даже иностранная классика исчезла, все больше звучала рок-музыка, дело дошло до тюремных шедевров и обычной халтуры т. н. бардов. Удивительные народные голоса и мелодии (например, армянские и грузинские) растаяли в дымке прошлого...

Как-то удалось поймать голос Шаляпина. Многие слушатели, в том числе и я, обрадовались, но, увы, ненадолго. Редактор поставил великого певца видимо случайно, был какой-то праздник или по заявке. Шаляпин не устраивал служителей нового «Маяка», они предпочитают визг лесбиянки, кряхтенье какого-то педика, цинизм и чуть не матерщину тюремщика. Пели и писали т. н. песни все, кому удалось приобрести гитару. Идет великое музыкальное перевоспитание. Люди, чуткие к подлинной поэзии и к настоящей мелодии, начали плевать и выключать приемники. Мелодия или вовсе исчезла, или выродилась. Самодельные композиторы в лучшем случае воруют мелодии друг у друга. Ритм, один ритм и ничего более! Поскольку он прост, поскольку он доступен каждому, не имеющему музыкального слуха. Есть подозрение, что именно по этой причине рок-музыка объела всю нашу планету, вытесняя классическую и народную музыку.

Но эта причина далеко не единственная. Наркотические свойства рок-музыки человечеству давно известны,

но миллионы беспомощно-юных жителей мира игнорируют зловещий факт. Кто сомневается, пусть прочтет западные и восточные исследования на эту тему, хотя серьезные работы есть и в нашей стране. Но поскольку «нет пророка в своем отечестве», познакомьтесь хотя бы с западными публикациями, например, Жан-Поля-Режимбаля.

Как много и как прекрасно пели русские люди еще совсем недавно! Почитайте книгу воспоминаний Федора Шалапина и вы убедитесь, что русский человек пел всегда и повсюду, песня сопровождала его при любых, даже горестных обстоятельствах. И тексты песен всегда были чисты, целомудренны. О причинах разрушения русской песни и русского мелоса автор этой статьи говаривал еще лет тридцать-сорок назад, задолго до нынешней музыкально-стихотворной катавасии. Посмотрите, наконец, тексты древнейших русских песен, собранных В. Киреевским, А. Соболевским, вы не найдете там ни одного даже двусмысленного, намекающего на безнравственное значение, выражения, не говоря уже о неприличных.

А каковы мелодии!

Правоту великого китайца Конфуция не подтвердила ли история с концертом Кубанского хора, выступавшего в московском зале им. Чайковского? Подтвердила, да еще как! Пускай москвичи вспомнят и другие примеры, хотя бы со свиридовскими и светлановскими концертами, иными не халтурными музыкальными коллективами. Не говорю о прекрасных солистах, исполнителях вроде Моторина. Давайте еще раз взглянем в этот злополучный ящик. Хотя бы «на пару дней», «на пару дружеских безудержных ночей» и стихло бесовское нескончаемое действо с поцелуями и дрыгающими дамскими торсами, с пульсирующими мужскими задницами, с ковбойской стрельбой и мордобоем, перемежаемыми грохотом шаманского бубна.

А что же законодатели? Бьются, бедняги, с этим телевидением, бьются, а толку всего на грош. Поутихнут чуть-чуть митковы и осокины, но тут же все начинают вновь. Холодная война в эфире идет много лет, не стихает ни на секунду. Эта схватка то тут, то там на Земле провоцирует настоящие войны. Так называемые «горячие точки» расплываются на картах кровавыми кляксами.

Поскольку и у журналистов, и у матерых бандитов тема заложничества сейчас в моде, так и тянет назвать депутатов заложниками свободы...

Часть вторая

**СОПРИКОСНОВЕНИЕ
С ПРОШЛЫМ**

ДОРОГА НА ВАЛААМ

После первого действия великой трагикомедии с ельцинскими выборами вздумал я сделать себе маленький отпуск...

Но почему я называю эти выборы трагикомедией? Я же явный сторонник жанровой чистоты. Что-нибудь одно: либо трагедия, либо комедия. Иное дело, что и сам не всегда блюду эту чистоту жанра, частенько грешу против нее. Что делать? Значит, не хватает умения (таланта). Вон и московские нынешние драматурги грешат. Не хватает умения, они и давай придумывать своим опусам новые жанровые названия. Оправдываются тем, что, мол, так и в жизни. Но мало ли как происходит в жизни! Искусство-то здесь при чем? У него свои тайны и свои законы.

На выборах тоже свои законы и тайны. Никогда не понять простому человеку, откуда появляются на свет, например, такие газеты, как «Не дай бог». Или почему демократы называют себя демократами, а всех патриотов коммунистами? Лукавство явное, и справедливость тут даже не ночевала. Что, разве Александр Николаевич Яковлев демократ? Увольте! К слову «демократ» без кавычек не обойтись.

Поэтому я редко слушаю радио, не получаю газет. По «ящику» гляжу только новости. Новости сообщаются главным образом «демократические», а если и бывают чуть правдивые, то очень редко и очень малыми дозами, да еще и перемешанные с так называемой «музыкой». Послушаешь — и тошно становится. Реклама противна того больше. Напрасно думают, что она безобидна! Реклама, если даже нейтральна в политическом смысле, всегда вредна в смысле моральном. Она ядовита в нравственном и противна в эстетическом. Но «демократу» ничего не докажешь. Сидит он далеко, студию его охраняют люди с оружием в руках. Посему хватай рюкзак и на поезд...

Прежде чем бежать на вокзал, включаю последние известия. Завершаются они «информацией для тех, кто собирается отдыхать». Говорят, что самая доступная путевка это на Кипр. Я как-то поинтересовался. Цена ее давным-давно обогнала мою двухгодичную пенсию. Обставила она

и гонорар за целую книгу прозы. А самое главное то, что я не хочу отдыхать. Я не молотобоец, не лесоруб. (Им-то действительно нужен физический отдых.) Работа — лучший мой отдых, несмотря на мизерные гонорары. Не желаю я никаких отпусков! Смена занятий — самый хороший отпуск. Телесная усталость проходит за шесть-семь часов крепкого ночного сна, усталость души не проходит ни в каком отпуске. Вот если б взять отпуск от «демократии!» Или, к примеру, от болезней, связанных с возрастом. Но подобный отпуск проводят в больницах. Не будем вспоминать о вечном отпуске за пределами физической жизни. Скорей на поезд! На пригородный...

При прослушивании демократического радио я всегда ловлю себя на противоречии. Не знаю, как быть. Смирить себя, укротить гордыню и гнев или осудить этих вселенских лжецов? По учению святых отцов надо радоваться, когда оскорбляют лично тебя, когда клеветуют и гонят. Но при этом сохраняется обязанность обличенья, обязанность борьбы с ненавистниками Христа. Так христианин ли я?

Не знаю, как смотреть и на здоровых крепких парней, целыми днями торчащих под полосатыми тентами. Продают они парфюмерию и всякую пеструю дрянь — тряпичную и пластмассовую. Неужто этим ребятам не хочется двигаться, создавать что-то, строить, облагораживать среду?

На вокзале покупаю все же газету, чтобы узнать, что происходит в Москве. И там все то же. Деньги, рынок, челноки. За окном вагона — челноки. И на улице — челноки. В самолетах, в автобусах — челноки. Челночная жизнь. Растительная. А есть еще просто бандитская. Рэкет... Что за манера внедрять в печать иностранные термины? Жулика и бандита демократы назвали культурно: рэкетир. Гулящую девку демократические газетчики нежно кличут «жрицей любви». Но при чем любовь, когда речь идет о пороке, о физиологическом акте, постыдном с точки зрения нормального человека?

Я ненавижу современное телевидение, не терплю и демократическое радио, отучающее русскую молодежь от родных мелодий, от стыдливости, прививающее нахальство и пошлость. Не зря ведь порядочные москвичи в 1993 году так беззаветно пошли на останкинский... не могу вспомнить, как называется питомник для рептилий. Встреченные кинжальным огнем ельцинских башибузуков, прижатые к асфальту, эти юноши затихли на время. Многие навсегда. Мир праху расстрелянных...

Сегодня 22 июня. Радио доложило, что Отечественная война началась не в 41-м, а в 36-м. И не в Бресте, а в Испании. Может, еще раньше? Однако мой отец погиб в 1943-м, именно в ту пору, когда гибли миллионы русских, а не испанцев. «Общую газету», редактируемую т. Яковлевым (вторым), я отбросил с тем же чувством, с каким выключаю телевизор и радио.

Разговоры в пригородном поезде почти не касаются выборов. Они вращаются вокруг низкой зарплаты. Вон на станции Семигородняя, которая за окном, бастуют работники лесной промышленности. Третий месяц сидят без зарплаты. Про пенсию в вагоне говорят: на еду не хватает, только на дрова. Тут и там ругают Ельцина. Те немногие, что побогаче, благоразумно отмалчиваются. Эти, конечно, проголосовали в первом туре «за демократию, против прошлого», как выражается радио. Баш на баш, как говорится. Половина за демократов, другая за патриотов. Россия поделена. Раскол.

Страшная вещь раскол, к примеру, в семье. Раскол в Отечестве еще страшнее...

По новым районным правилам инвалидов войны раз в неделю везут в автобусе бесплатно. В остальные дни и здоровому ехать накладно. Сколько нелепостей происходит по одной этой причине!

В деревенской лавке в ожидании привозного хлеба старухи и молодые готовы вцепиться в седины друг дружке, кричат кто во что горазд. Спрашиваю у Марьи, соседки: «За кого будешь голосовать?» — «За Ельцина!» — «Почему?» — «А ведь как, он мне пенсию дал». (Говорить, что «пенсию» дает государство, а не Ельцин — бесполезно). — «Ну, а велика ли у тебя пенсия?» — «Пенсия-то не велика, дак ведь постоянно прибавка. Вон опеть прибавил». Вот и весь сказ.

Другая старуха, поумнее, эта шумит за Зюганова. Третья, наоборот, зачумлена «свободой» хуже Марьи. Говорит, что голосовала за... Горбачева. Оказывается, жизнь он (то есть Горбачев) сделал хорошую, зря его и ругают. Летом она вон до самой Тюмени на самолете летала... На нее набросились и зюгановки, и ельцинистки:

— Дура лешева! От его, сотоны и пошла вся беда! Диво дивное, никто его, беса, не может стрылить-то!

Нет, не пожалели бы, не поплакали бы мои старушки о Горбачеве, если бы его «стрылили» где-нибудь в темном подъезде. Живут они в домах, срубленных еще в прошлом веке. Летом еще ничего, дров надо не так много. А каково

им зимой, господин Вяхирев? Дрова берегут, воду экономят даже на умывании. Лекарств нет и в помине. Медиков тоже нет. Пенсии хватает еле-еле на черный хлеб. (На белый хватает лишь инвалидам войны.) «Иной и на войне-то не бывал, — говорит Марья, — а пенсию весь миллион огребают...»

У Марьи сыновей нет, у нее две дочери. Одна в Вологде, вторая за военным в Мурманской области. У других старух детки кто в Самоглоре, кто где-нибудь в Архангельске.

«Друзья! — хочется мне обратиться с ним. — Сыновья вчерашних крестьян газовики, шахтеры, нефтяники! Одумайтесь, что вы делаете? Вы же грабите родной дом, в котором родились! Вы гоните газ австрийцам и немцам, чуть ли не до Ла-Манша, а ваши родные бабки клянчат в колхозе трактор, чтобы привезти волочугу дров. Последние рубли отдают сперва в контору, потом еще и пьяницам, чтобы привезли эти дрова из лесу, чтобы не замерзнуть в старой избе в крещенский холод. Да ведь и замерзают старушки одна за другой. Проголосуют и умрут. Безропотно, как некрасовская Арина. Что же вы, внуки, куда глядите? Почему даете себя одурачить вином, телевизором, фальшивой газетой?»

Мои вопрошания и восклицания летят в пустоту. Никто не слышит. И демон отчаяния даже в деревне снова хватается мое сердце в свою когтистую лапу. Когда же он ее разжимает, когда вновь появляется желание труда и действия, подсказывают бесы помельче: раздражение, нетерпение, торопливость. То и дело суют они свой нос в мою жизнь, нарушая душевное равновесие. То же радио убеждает меня, что Великая Отечественная началась не в 41-м, а в 36-м. Будто бы не пятьдесят пять лет назад, а шестьдесят. И не на наших границах, а в Испании... Этакие вот любители юбилеев. Я не могу выдержать всего этого, я болен, я убегаю в деревню, на родину. Сколько раз спасали меня от отчаяния мои земляки! Хотя бы и та же Марья Дворцова, дом которой от моего в двадцати шагах. Совсем хромая после неудачного удаления грыжи («Раньше плясала-то и я добро, пока дохтур жилу-то не перерезал»). Когда спит — непонятно. Не одну пятилетку работала дояркой. На пенсии тоже каждую минуту в трудах. Дрова, огород, скотина. Картошку сажает каждый раз самая первая.

Мой друг японский профессор Ясуи-сан предлагает Марье сфотографироваться. Она положила на лужок вицу,

которой дирижирует коровами и теленком. Приобдерила затрапезную юбочку, улыбочиво приняла торжественную, как ей казалось, позу. Минако-сан, жена профессора, фотографирует Марию, а мне вспоминается японский фильм «Голый остров» режиссера Кимэто Синдо. Разница только в одном: никто не захотел и уже не захочет, наверное, сделать фильм про Марию Дворцову!

Профессор смеется, рассказывая, как они с Минако-сан учились топить русскую печь (я поселил их отдельно, в старой отцовской избе). Все они сделали вроде бы правильно, но одного не учли. Не открыли трубу: задвижку и вьюшку. Когда полная изба набралась дыму, они закрыли печь заслонкой. Дрова сами погасли, но дыму в избе стало еще больше. Я уже писал где-то, как Ясуи-сан осваивал русскую баню в первый его приезд. В этот раз он осваивает избу. Любит он вместе с женой ходить на речку, сидеть на траве под горой, гулять в безлюдных, тихих полях. Особенно хвалит мою сестру Лидию Ивановну за непритязательную деревенскую кухню.

Сегодня он вместе с Минако-сан уговаривает меня приехать в Японию... Мои гости уже спешили в Москву и затем домой, виза у них заканчивалась. Я тоже вскоре уехал в Вологду. Потом побывал в Москве и еще где-то... Смятенье в душе началось опять...

В голову приходит иной раз такая мысль: «А не слишком ли много ты, сударь, ездешь? Пожил бы хоть одно лето в своей вымирающей, но древней Тимонихе. Скоро, скоро от нее останется одна твоя баня...»

Действительно, не успел прилететь из Дамаска, пока тил в Сербию. Вернулся из Белграда — лермонтовские дни тут как тут. Это не считая постоянных метаний между Вологдой и Москвой. А в деревне сиротливо лежит недописанная глава новой книги. Труба у тебя там развалилась. Морковь не прорежена, картошка не окучена. Лук не прополот... Вологодские литературные коллеги обижаются: игнорирую, дескать, областные мероприятия. Все едешь. Уже девять лет не хватает времени разобрать архив. Не зря у тебя и денег никогда нет...

В ноябре 1993-го прямо с обрызганного кровью асфальта, что около Останкинского телецентра, я поспешно удалился в Тимониху. Анфисы Ивановны в живых не было, печь в доме давно остыла, пришлось разогреть несколько дней. Тогда ли была написана моя стихотворная молитва? Или раньше?

О Боже мой! В тиши лесов,
В безлюдье дедовских угодий
Убереги от праздных слов
И от назойливых мелодий.
От суеты и злобы дня
Спаси и впредь, спаси меня.

Покуда в душах ералаш
И демократы жаром пышут,
Я обновлю колодец наш
И починю родную крышу.
Не дай устать моим рукам,
Еще — прости моим врагам.

От всяких премий и наград
Убереги в лесу угрюмом...
Но вечерой Кремля набат
Не заслони еловым шумом!
...Не попусти сгореть дотла,
Пока молчат колокола.

Нынче уговорил жену снова поехать в деревню. Утром завел «Ниву». Мы приехали в Тимонику в середине дня. На улице было безлюдно и тихо. Только в Марьином доме поминутно трубила корова.

— С утра корова-то ревет, — сказала мне другая соседка, ковьялявшая куда-то в поле. — Мы утром стукались, стукались, а Марья не отворила ворота-ти. Мы и ушли. Надо бы корову-то выпустить... Ужо пойду позвоню сватье Марьиной, зять-то Марьян вроде еще в отпуске.

Не мог и я попасть в свой дом, потому что мы с женой оставили ключи в Вологде. Пришлось ломать замки... Корова то и дело мычала. Марьян зять Гурий, ночевавший у матери в другой деревне, прибежал и каким-то известным ему способом проник в тещин дом. Когда я ломал свои замки, он в ужасе выбежал на улицу, потому что Марья лежала под коровой мертвая. Уже остывшая.

Наши звонки на медпункт и участковому были втуне. Милиционер и медичка отказались приехать... Корова трубила на всю округу. Она трубила весь день и вечер, потому что ее некому было подоить. Наконец вечером подоила, кажется, Серафима — другая соседка. У Марьи не нашлось даже досок на гроб. Доски пришлось «позаимствовать» у пустого соседнего дома (хозяева приезжали в отпуск, но уже уехали).

Какая же, однако, беспечность! Постучали утром, но

Марья не открыла. И все ушли. Только одна корова «ре-вела» на всю деревню. Вот так же под коровой нашли пять дней назад председателю нашего колхоза «Родина» сорокапятилетнюю Раису Алексеевну Мартьянову. Она умерла от инсульта, когда доила корову. К чему бы ей-то так рано?

А может, оттого, что нечем было платить дояркам и механизаторам? Вместо денег она рассчитывалась с ними водкой. Брала деньги в долг по списку у пенсионеров. Ехала в Вологду прямо на ликеро-водочный. Покупала по дешевке водку, а дома рассчитывалась с механизаторами бутылками. При этом и сама не брезговала «веселой» жидкостью. Когда я узнал об этом, то вздумал через печать обратиться к демократам Москвы. Письма читателей переменяли мои намерения, я обратился с этим воззванием уже не к одним демократам, а ко всем москвичам.

Слово к Москве

«Уважаемый Василий Иванович, почему же не слышно вас и не видно? И В. Г. Распутину нигде не слышно и не видно! Что же, вы думаете, что ваши слова нам не нужны? Нужны, даже очень! Особенно в это смутное время. Ответьте, если будет возможность...» (Из письма).

Не знаю, как В. Г. Распутину, а мне таких писем последнее время приходит все больше. Это обстоятельство не только обязывает отвечать, но дает право и спросить кое-что. Особенно москвичей. Уже много раз слышал от московских друзей и единомышленников упреки русскому народу, дескать, что с него возьмешь? Его морят голодом, морозят, обманывают, а он все равно голосует за своих обманщиков и предателей. Ну, во-первых, не всегда... Во-вторых, давайте разберемся, кто кого предал: народ ли Москву или Москва предала русский народ? Может быть, это слишком опрометчиво, но я обращаюсь с таким вопросом к целой Москве...

Спрашиваю об этом каждого жителя великого города. Независимо, кто он, этот житель: президент ли громадного государства или чесоточный божж, ночующий под москворецским мостом. Премьер ли, имеющий акции «Газпрома», или торговец колготками. Депутат или не депутат. Демократ или коммунист, банкир или уборщица, подземный труженик или надземный, вооруженный или безоружный. Это обращение (воззвание, открытое письмо,

воплоть отчаяния, назовите, как вам удобнее) я хотел предложить газете «Вечерняя Москва». Друзья лишь рассмеялись. Да, «Вечерняя Москва» создана не для Москвы и не для России. Не для нас крутятся ротационные машины «МК», «Известий», «Комсомольской правды» и т. д. Не для России, а против нее вещают многие дикторы телевидения и радио, возглавляемые господами типа Сванидзе, Попцова и Сагалаева. Четвертого октября участвовал в манифестации в память о погибших в 1993 году. Вот что скандировали участники демонстрации: «Банду Ельцина — под суд!», «Янки, гоу хоум!». Ни одна «независимая» и «свободная» радиостанция, ни один так называемый «бесцензурный» телеканал не озвучили эти призывы! Не смейтесь, господа, не кривите улыбки, когда слышите и такие слова: «Идет война народная, священная война!» Война в Москве и в России действительно идет... И вам, демократам, не поздоровится на этой войне. Правда, вы пока побеждаете, как побеждали вначале и гитлеровцы, дошедшие до Волоколамска, как побеждал и Наполеон, стоявший уже на Поклонной горе, где сегодня строится синагога.

Какая-нибудь демократическая дамочка вроде Кучкиной или Митковой, читая мои вопросы москвичам, обязательно скажет, что Белов не любит Москву. Самое интересное в том, что многие поверят ей, а не мне, который наизусть с детства и вслух, и про себя (когда уж совсем тяжко) читает лермонтовское «Бородино».

Полковник наш рожден был хватом.
Слуга царю, отец солдатам...
Да жаль его: сражен булатом,
Он спит в земле сырой.
И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! Не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой.
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали.
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.

Да поверят дамочке, а не мне, такова дьявольская сила демагогии и телевизионного ящика. Недавно в радиопередаче «Начало» такая дамочка прошебетала на всю страну: «Итак, Закон «О продовольственной безопасности», что это? Для кухонного разговора или вопрос государственной важности?»

Как ловко снижается политическая и социальная значимость необходимейшего закона, как незаметна тайная издевка над законодателями! Попутно глотает слушатель (пусть и малую) дозу правового нигилизма...

Нет, я люблю Москву и ее святые соборы не меньше Лужкова, который в поисках золота перерыл Манежную площадь, настроил на каждом шагу банков, нашел мундиров для бутафорских полковников. О, мы знаем, какими на Руси были когда-то настоящие полковники! Каковы были генералы, тоже знаем. Да что говорить о военных, если подмосковная девочка, вчерашняя десятиклассница, не пожалела ради Москвы и свою юную жизнь! Демократические журналисты оплевали подвиг Зои, как оплевают они подвиги маршала Жукова, как пробуют представить бессмысленной и гибель моего отца в 43-м году. В раздражении против таких журналистов, живущих главным образом в столице, я однажды публично сказал, что прежде русские люди всеми силами защищали Москву, нынче они... обороняются от Москвы. Тоже всеми силами. Чудовищно, однако же это факт! Приходится обороняться от Москвы!

Боже милостивый, почему Москва так безжалостна, так жестока к тем людям, которые кормят ее и поят, одевают и обувают, защищают от врагов и захватчиков? Почему, дорогие москвичи, в конце XX века вы поставили на грань вымирания русское крестьянство, унизили и оскорбили армию? Вы скажете: это не мы. Это сделали президент и правительство. Тогда я спрошу, почему же вы терпите такое правительство? Вы скажете: вся страна терпит. Терпит и эту власть, и этого президента, и эти средства массовой информации. Терпит ради того, чтобы не случилось гражданской войны. Но, дорогие друзья, русский народ всегда доверял Москве. Да и гражданская-то война уже давно идет! Холодная и горячая.

Хотите факты? Их более чем достаточно. Такой хотя бы, который вы не хотите даже и замечать. Моя деревня уже третий год не пашет землю, не сеет ни льна, ни хлеба. Стоят или работают вполсилы перерабатывающие заводы. Ликвидированы молочные фермы. Ликвидированы практически и сами крестьяне, потому что ни школы на моей родине нет, ни медпункта, ни добротного магазина, ни черномырдинского газа. Уже много лет не звенят детские голоса. Ежегодно численность русских сокращается на миллион человек! Интересно, кто будет защищать Москву через 15—20 лет, если понадобится? Может, масха-

довские бандиты? Или митингующие дамочки вроде г-жи Новодворской? Боюсь, что мадам не защитит Москву.

Допустим, что война Москве больше не грозит (допущение весьма рискованное). Но почему все вы, генералы и бомжи, питаетесь зарубежными продуктами или объедками, пьете зарубежные напитки, и ваша совесть по отношению к собственному кормильцу-поильцу молчит? Все словно этой зарубежной воды набрали полон рот и довольны. Поддерживаете чужих фермеров, а свои сидят без солярки, без машин и удобрений, иногда и без газа и электричества. Мой сосед в деревне вырастил полдюжины овец, а государство не хочет их брать. Молоко тоже не принимает это государство. Какое же это фермерство? Каллистрат Хватков пасет за моей баней громадное стадо нетелей. Хотел он стать т. н. фермером, завел трех коров, а ветслужба приказала сдать их на мясо как лейкозных за бесценок. Каллистрат Иванович (Каля, как его называют) на эту выручку уже не смог купить и одну здоровую телку. Где ему взять деньги на новую телку? Пошел пасти колхозных коров. И вот уже восемь месяцев не получает зарплаты. Но я знаю, с каким аппетитом едят москвичи ветчину, пусть и от бешеных английских коров. Вы спросите, отчего Каллистрат восемь месяцев не получал денег и чем он сам-то питается? Наивный, чисто интеллигентский вопрос, особенно первая его часть. А питается он, как во время Великой Отечественной, картофелем со своих грядок. Брат его Вениамин живет в другой, тоже гибнущей деревне Пронихе, держит с женой несколько коров. Зашел я как-то к ним, а хозяйка чуть не плачет: не знает, куда деть молоко.

Вот и все фермерство, товарищи и господа москвичи!

Но вам, видимо, все равно, чью жевать ветчину, какие сорочки носить, льняные или нейлоновые. В нашем колхозе (объединении) по полгода не платят мизерную зарплату, председательша выдает вместо денег сгущенку. Пробовали вы питаться одной сгущенкой? Пусть и с картофелем с собственного огорода? Сгущенку вместо денег председательша однажды удачно заменила обычной водкой. Берут. Особенно трактористы... Пьют и гибнут. На днях и сама Раиса Алексеевна умерла от инсульта. (Прямо под коровой нашли эту цветущую сорокапятилетнюю женщину). Вы знаете, от чего бывают инсульты? Долги города русскому крестьянству достигли астрономических цифр! Радио называет сельское хозяйство черной дырой.

Платит ли Лужков пенсию москвичам? Каковы лужковские надбавки рабочим? Бывают ли такие случаи, что по восемь месяцев москвичи не получали зарплату и пенсию? Насколько мне известно, в Москве таких случаев мало. Даже нищие стремятся в столицу — тут они живут сытнее, чем где-нибудь. Я уж не говорю про ваших министров, депутатов, банкиров и разных вооруженных и безоружных бизнесменов. Демократы делают Москву чем-то вроде Гонконга, у вас даже свое правительство. Хорошо, пусть у вас будет свое правительство, но тогда каким правительством руководит Черномырдин? И почему бы не учредить правительство, например, для Рязани?

Радио, возглавляемое Москвой, решило и нашего Каля сделать бизнесменом: каждое утро настойчиво учит его, как торговать и как говорить по-английски.

Господа на российском радио! Вы учите английскому языку голодных женщин, ограбленных старух. Раньше вы учили их марксизму-ленинизму, теперь — английскому языку и бизнесу. Бывший фермер Каля Хватков пасет нетелей — стадо голов сто. Уже восемь месяцев государство не дало ему ни рубля! Если бы вам всем так? Но все вы получаете пенсию либо зарплату. А сколько тысяч или миллионов москвичей живут на банковские проценты? Я своими глазами видел митинги московских «мавроди-ков». А на моей родине водкою выдают зарплату. Лившиц, конечно, как Пилат, умоет руки и скажет: «Москва тут не при чем, виновата местная власть». Еще и улыбнется по-мефистофельски. Что ж, прикажете и впредь, следуя примеру Москвы, терпеть такое правительство? Или ждать, когда оно от стыда перед Америкой и Европой само уйдет в отставку? Стыда ни у Европы, ни у Лившица, на мой взгляд, нет, поэтому правительство не уйдет. Так называемая оппозиция и в ус не дует, бремя власти ее страшит...

Третий год не сеют, не пашут в моей деревне. Заводы и фабрики остужают свои котельные одну за другой. Господин Черномырдин, из газа можно готовить продукты? А то, что вы превратили страну в колонию, тоже местная власть виновата? Да и власти-то в моей деревне никакой нет. Лес, к примеру, рубят кто попало. Уже в райцентре и в областном центре, не говоря про обширное Подмосковье, появились многоэтажные особняки в восточном стиле. Уже... Впрочем, не буду продолжать, слишком все это горько.

Но вы, москвичи, имею ввиду президентов, депута-

тов, банкиров, министров, челноков и кабатчиков, да и трудовой люд, как будто и не видите ничего этого!

Напрасно. Время расплачиваться за преступления или за равнодушие все равно придет. Не сочтите эту фразу за шантаж или запугивание. И недоброжелательству в моем обращении к вам тоже нет. Впрочем, не ко всем. Кое-кого не мешало бы отправить в Лефортово. Но московскую честь, к счастью, еще спасают многие, не потерявшие совесть и здравый смысл. Есть честные люди и среди писателей, и среди журналистов, и среди академиков. Не все же ненавидят и оплевывают свою Родину!

Позвольте напомнить, что на русском Северо-Западе тысячи деревень, которые все до одной существовали уже в начале XVII века, стараниями таких академиков, как Заславская, были объявлены «неперспективными». Это произошло еще при коммунистической власти. Демократы во главе с Ельциным даже не пытались и теперь не пытаются снять с моей родины гнусное звание «неперспективной». Наоборот, усугубляют действия заславских. Они уже всю Россию пробуют объявить неперспективной, отсталой, нецивилизованной. Что это за правительство, что это за власть? А власть в России, скажем прямо, всегда устанавливала Москва...

Мой деревенский сосед Фауст Степанович Цветков не мог сдать государству своих превосходных баранов, а вы, москвичи, едите голландские, немецкие, даже американские и австралийские харчи. Мои пожилые соседки, которые день и ночь трудятся не покладая рук, не знают, куда деть молоко (молоко принималось даже во время войны, когда не было ни машин, ни дорог). А вы, дорогие москвичи, едите новозеландское масло и финский творог. Москвич Ю. Черниченко утверждает, что... Не буду повторять, что утверждают живущие на асфальте «специалисты» по русскому крестьянству. Рынок, вы скажете? Дешевле купить этот творог у финнов? Нет. Никакой это не рынок, а обычный грабеж. Грабеж народа с помощью цен на энергоносители, установленные с подачи чужих советчиков. И лгут асфальтовые спецы о том, что в США один фермер кормит столько-то, а у нас один колхозник столько-то. Везде, в любом государстве, кое уважает само себя, сельское хозяйство стоит на государственных дотациях. На американского фермера трудится весь американский народ: сотни специализированных институтов, мощная промышленность. Ветеринарная, агрономическая, мелиоративная и десятки других служб работают день и ночь на пользу крестьянина.

А вы, господа черниченки, называете наше сельское хозяйство черной дырой... Как же не стыдно вам произносить такие слова? Москвичи! Не верьте таким деятелям, которые ориентируются на чужую картошку!

Нынешняя Москва не может вступить не только за крестьянство, но и за армию. Вы, вернее, многие из вас, митингуете против традиционной народной армии, и бездарные генералы вытягиваются перед этой западной модой во фронт. Но где у Москвы гарантии от появлений новых наполеонов и наполеончиков? В Америке, что ли? Эти американские «гаранты» уже и сами безнаказанно летают над нами, ныряют в наших водах, уже маршируют на земле «незалежной» Украины... Москву они покорили пока с помощью денег, эти гаранты. Нынешние завоеватели Москвы никаких ключей от города покамест не требуют, им нужны ключи от банковских сейфов да еще новые синагоги.

Мой отец погиб на подходе к Смоленску, когда Гитлер, огрызаясь, и отнюдь не поспешно бежал от Москвы. В те дни на Арбат из Ташкента и других хлебных мест уже возвращались осторожные предки нынешних демократов. А вы, «надменные потомки», называете русских фашистами! Как же у вас язык-то поворачивается?

Но мне хочется обратиться не к вам, господа демократы. Ваши ответы известны заранее. Хочется пробудить совесть у коренных москвичей, кои забыли сороковой год и год тысяча девятьсот девяносто третий! Да, вы забыли убийц и снайперов, вы голосовали за свору предателей. Только благодаря Москве страна избрала на высший пост больного человека, пьяницу и лучшего друга врагов России! Ни Клинтон, ни Коль не скрывают своего враждебного отношения к России. Вдумайтесь, откуда пришла на Русь такая, например, зараза, как проституция. Не из деревни Тимонихи, не из Вологды же! Это московские электронные средства, московские дикторы и редакторы назвали трудом проституцию. Это они же финансовым спекулянтам, обычным валютным менялам, за всю жизнь не ударившим палец о палец, присвоили почетное звание предпринимателей. Челнок, снующий между Москвой и Стамбулом, палаточный торгаш, перекупщик, банкир, строитель финансовых пирамид и просто мелкий обманщик — все они стали предпринимателями, героями московских газет и улиц, притонов и роскошных банкетов. Лужков забросил все дела и публично пресмыкается перед Майклом Джексоном. Генерал Коржаков публично дарит

ему же саблю с вензелем. Так чего же удивляться визгу миллионов московских девчонок, млеющих при одном виде заморской дивы, если до этого докатилась московская и кремлевская элита!

Это с их подачи внушили Москве мысль о необходимости инвестиций и иностранных займов, словно мы бедны и беспомощны. (Интересно, а как же государство восстановило послевоенную промышленность без иностранной помощи?) Это с их легкой руки внедрение колониальных порядков назвали реформами. Ничего себе реформочки! Теперь ведро молока дешевле, чем ведро минеральной воды. Грабительская цена! Да и эти жалкие рубли крестьянину не дают. Чем ему жить? Экономят на крестьянине и солдате, даже на офицере. Экономят на студентах, на детях, на учителях, врачах. А т. н. СМИ взхлеб твердят, что это и есть реформы, все это необходимо России. (Вот и сейчас, когда пишу я это письмо, мадам Миткова с каким-то странным пафосом, словно речь идет о спортивном рекорде, сообщила, как шахтер, не получая зарплату, взорвал себя гранатой.) Эти мадамы приравнивали спортивные сообщения к сообщениям о смерти и катастрофах. Да, да, это они, телевизионные и газетные деятели, извратили священное слово «труд», называя трудом спекуляцию и проституцию. Эти т. н. электронные СМИ, кино, столичная сцена, журналы за немногим исключением, видеозараза делают все, чтобы развратить женщину еще в молодости, чтобы лишить мужчину здоровья еще в детстве, чтобы он одряхлел уже в юности. Торжество порока эти СМИ соединили с романтизацией насилия, бессмертную человеческую душу губят деньгами и подлыми зрелищами, тело — болезнями, сексом, алкоголем, наркотиками...

И все это начиналось у вас, в Москве! Но Россия всегда, много веков смотрела на свою столицу с любовью и надеждой, следовала ее примеру, подражала хорошему, и, к несчастью, дурному. Но Москву обманули, как в начале XVIII века, когда во время семибоярщины в Кремль вошли оккупанты. Большая Советская Энциклопедия говорит, что «одним из первых решений семибоярщины было постановление не избирать царем представителей русских родов», что, «опасаясь выступлений москвичей и не доверяя русским войскам, правительство семибоярщины совершило акт национальной измены: в ночь на 21 сентября впустило в Москву польские войска».

Москвичи, неужели и вам нравится быть обманутыми?

Вы почти отменили русскую речь в рекламе и на конторских вывесках, отменили падежные окончания к таким словам, как «Останкино», простили убийцам кровь ваших расстрелянных сыновей. Убийцы известны вам по фамилиям. Одно дело, когда верующий христианин прощает лично своего врага или обидчика, как поступила родная сестра последней русской царицы. Но прощать врагов Отечества своего нельзя! И юристы прощать убийц не имеют права. Они обязаны сказать свое слово, иначе какие они юристы, какие прокуроры и судьи?

В Москве, а значит, и в России, увы, нет пока правосудия. В Кремле московском (даже не в Москве, а в Барвихе) сидит больной ставленник западной «демократии». Он поручал судьбу страны продажному, хотя и остроумному генералу, а тот спал и видел себя в кресле своего шефа. Теперь уже вместо генерала правит бал рыжий регент. Что припасли они нам на завтра? Премьеры, вроде Лившица, дружно считают доллары. Рубли, не говоря уже о копейках, они уже исключили из нашего лексикона...

Москва, Москва, очнись же, голубушка, страхни с себя свои тяжкие сны, а заодно и ядовитую пыль чужебесия!

Лишь в ноябре, после многих событий, после моей поездки на Валаам обращение с какими-то добавками было напечатано в газете «Завтра». Не знаю, обратил ли кто из москвичей свой взор на мои отчаянные вопросы. Зато с известным указом о «примирении» ко мне обратился с вопросами вологодский корреспондент ИТАР-ТАСС...

Я сказал, что думал. Что ничего, кроме лицемерия, не вижу в очередном президентском жесте. Почему такой указ не появился в октябре 1993-го, когда танкисты Грачева снимали чехлы с танковых пушек? (Не помешал бы такой указ и чуть пораньше, когда ОМОН еще не начал бить москвичей дубинками.) Теперь же, когда народ выходит на улицы уже в другом качестве, президентское окружение изрядно перепугалось. То и дело генерирует оно всевозможные праздничные и будничные затеи. Готовы демократы на все, лишь бы успокоить ограбленных вкладчиков, работников, по полгода сидящих без зарплаты, голодных не только солдат и студентов, но и самих академиков.

Так с кем же призывают примириться униженных и голодных людей? Может, с банкирами типа Березовского? Или со всякими басаевыми? А может, с украинскими

незалежниками, кои приватизировали Севастополь? Или с генералами НАТО?

У меня никогда не было особого восторга от Октябрьской (1917 г.) революции, нет его и при виде нынешних уличных шествий. Но я всей кожей чувствую, что с антинародной властью Россия не примирится ни сегодня, ни завтра.

Нет, не примирится Россия ни с так называемыми «демократами», ни с нынешними, ни с бывшими коммунистами, пока все они не принесут покаяния перед страной и перед Богом за крестьянское раскулачивание, за нынешние реформы и лагерные десятилетия, за ленинские попытки вытравить из нас православное самосознание.

Но покаяние безбожникам, увы, неведомо.

Говорят, что теперь у нас нет цензуры. Но ТАСС не обнаружил четыре моих абзаца. В наших многочисленных и разнообразных печатных органах места для них не нашлось...

Сейчас, перечитывая обращение к Москве, вспоминаю летние страсти с выборами. Как легко и как просто власти манипулировали народным мнением с помощью так называемых «демократических ценностей», признанных во всем так называемым «цивилизованным мире». Парламенты, партии, президенты, выборы... А все ценности западной демократии сводятся к денежной калитке, к нездоровому народному любопытству, к предвыборным схваткам. И не только у нас в России, а повсюду. Не будет конца всевозможным выборам, нет, не будет! Кто не верит, пусть читает Л. А. Тихомирова. Уже дошло до того, что достаточно двадцати процентов пришедших голосовать для объявления выборов легитимными. То есть законными. Но законы нравственные, законы сердца и совести при такой системе власти — не в счет! Не в счет и укоренившиеся национальные традиции, вера, народные пристрастия, освященные не десятилетиями, а веками... В хаосе бесконечных выборов президентов, парламентов, конституций все это побоку. Зато деньги, демагогия, бесстыдство, обман и угрозы всегда сопровождают подобную систему верховной власти.

Так (или примерно так) думалось, когда однажды я неожиданно для себя купил билет на питерский поезд с твердым решением добраться до Валаама.

Почему Валаам и почему неожиданно? Очень даже «ожиданно»!

Много лет, после однодневной туристической поездки

на Соловки, меня тянуло на Валаам. (Приходит сразу прошлое сравнение «как магнитом».) Но я не люблю технических, да еще таких затасканных, терминов. Хотя разве не таинственно, разве не чудесно такое простое, такое всем известное явление, как магнит? В детстве был у меня «свой» магнит, таскал я его в карманах штанов и демонстрировал сверстникам. Теперь вот один врач посоветовал тоже носить в кармане магнит, но уже с другой целью. А какая цель была в детстве? Да никакая! Просто магнит и магнит. Интересно было размышлять, почему липнут к нему обыкновенные гвозди, почему издалека ползет за ним обычная материнская приколка либо ученическое перышко. Я бескорыстно демонстрировал своим сверстникам таинственные свойства магнита.

Вот и Валаам так же притягивал меня к себе все последние годы. И не только меня. Чем это объяснить? Не все в жизни поддается объяснению.

Профессор Токийского университета Рёхи Ясуи после первого пребывания на моей родине писал мне из Японии, что жизнь его разделилась теперь на две части. Та, что до Тимоники и та, что после... Я недоумевал: что такое? Вологодская деревня (всего пять домов и пять бань) стала для японского ученого каким-то жизненным рубежом. Вот и я сейчас пользуюсь выражением токийского профессора: жизнь моя разделилась на две части — до Валаама и после Валаама.

1 августа 1996 года я тихонечко уселся в четырехместном купе ночного санкт-петербургского поезда, в тайне от себя мечтая о том, что никто больше в купе не придет. Ведь сколько раз ездил так из Вологды или в Вологду. То есть почти в пустом вагоне. Простые люди ездят теперь в общем вагоне, а ты в купейном! Да еще и один хочешь. Нет, братец, это уж слишком.

За пять минут до отхода поезда в купе с какими-то тяжелыми сумками ввалились двое шумных мужчин. Мечта о тишине и одиночестве мигом улетучилась.

Соседи то и дело ходили курить. Потом начали ужинать. Я терпеливо вдыхал не дым, а табачный запах. Курили они, разумеется, не в купе, а где-то около туалета. Раздражение, вызванное табачной вонью, я погасил, но с трудом. (Пришлось вспомнить собственное курение, которому посвятил около двадцати самых лучших лет.) Но ведь я же бросил. Что за мужик, если он не в силах бросить курить! Словом, гордыня тут как тут: я вот не курю и уже пятнадцать лет не беру в рот алкогольных ка-

пель. Они же через каждые двадцать минут палят. Да еще и пьют вроде бы... Ну да, водку теперь продают как плодовый сок, в алюминиевых банках...

«Не суди, да не судим будешь», — каждый раз вспоминает моя жена во время наших размолвок. Я согласен с евангельским выражением, но странная нынче пошла мода. Пассажиры в вагонах даже не знакомятся. Не говоря друг другу, как их звать. Не предлагают вместе поужинать. Про себя ничего не рассказывают и у тебя ничего не спрашивают...

Боясь фамильярности, я тоже уткнулся в чтение журнала «Держава». Хотелось поделиться с соседями выступлением Виктора Тростникова на монархическом совещании, а также собственным опытом бросания курить. Но соседи не подавали повода для знакомства. По репликам выяснилось, что они были инженеры, ехали в Питер в частную командировку. Вскоре мне поневоле пришлось слушать их непонятный, специфический разговор.

Читать нельзя, свет был плох, и говорить не с кем. В придачу явилась проводница и заявила: «Мальчики, а что же вы радио не слушаете?» Она врубила на полную мощь два динамика справа в коридоре, затем в нашем купе. Это было ужасно. Я вышел, подождал, пока в коридоре никого не будет, и украдкой выключил оба вагонных громкоговорителя. Но она разнесла чай и врубила снова.

Тайное соревнование по децибелам продолжалось у нас с ней и утром, при подъезде к Санкт-Петербургу.

Все время дивлюсь, с какой легкостью переименовываются названия улиц и городов. Еще большее удивление вызывает так называемое «российское» радио. Оно с каким-то странным упорством уже несколько лет навязывает слушателям всякую звуковую дрянь, ритмический сор, не имеющую смысла белиберду, посильнее алкоголя одурманивающую нашу юную и не очень юную поросль.

Господи, куда прятаться от этих диких звуков? Казалось, что с уходом на «дипломатическую» работу Попцова отвратительная какофония на радио хоть чуть-чуть ослабнет. Не тут-то было! С приходом в руководство радио товарища Сагалаева ничего не изменилось. Как ничего не изменилось после того, как товарищи стали называться господами. И почему, почему информация, пусть она даже наполовину лживая, обязательно смешивается с этой «музыкой»? Эти музыкальные «прокладки» нелепы. Ведь не солит, наверное, и не сыплет перец жена Сагалаева в клюквенный кисель? Не добавляет клубничное варенье в салатку с луком! Впрочем, кто ее знает, может, и добавляет...

Разъединить сотни натальей (музыкальных редакторш) с многочисленными натальями-информаторшами сейчас, по-видимому, так же трудно, как разделить «мирных» чеченцев от «немирных», от всех этих «одиноких волков», рыскающих по кавказским ущельям, на лету хватающих турецкие либо какие иные подачки.

Нет, ящик ТВ или динамик на стене для народной души, пожалуй, опаснее, чем автомат «Узи». Хотя и считаются признаком цивилизации. Добро бы, не было у России таких голосов, как голоса Владимира Моторина, Нестеренко, Архиповой, Петровой... Но ведь у нас есть! Есть и почти волшебная дирижерская палочка Владимира Федосеева. Живут и здравствуют на Руси такие талантливые люди, как Свиридов, Хворостовский, Гаврилин и десятки других. И все разные... Но господин Сагалаев ташит к своим микрофонам совсем других. Заправилам демократических СМИ мерещится, что они ведут своих рок-королей и рок-певичек напрямик ко всемирной славе. А слава-то колотильщиком и крикунам никак почему-то не дается. Вот и сегодня, 17 августа, во время завтрака, перед тем как сесть за рабочий стол, включаю «российское» радио... «Начало», — вещает оно. Прежде чем узнать прогноз погоды, ты, батенька, должен выслушать «Доктора Ватсона» — группу бесов, ворующих любые мелодии у любых народов. Конечно, эти мелодии группа превращает в какофонию, в звуковое издевательство над народной мелодией. Сегодня «Доктор Ватсон» потчует слушателей сперва коктейлем из чего-то азербайджанско-советского, потом эстрадно-советского вроде «Черного кота» и «Черного дьявола» из музыки кинофильма «Человек-амфибия», с которого и начинались когда-то ростки разврата и пошлости.

...А в тот день, в день моего приближения к Валааму, проводница в вагоне так и не смогла понять, почему для меня так нужна тишина, почему нельзя обычную информацию то и дело перемежать музыкальными, да еще таким бездарными, звуками.

Между тем поезд неумолимо приближался к Питеру. Зеленые леса за окном, стога на скошенных лугах и эти скромные уютные полустанки с картофелем, цветущим на огородных грядках, уже сменялись иными пейзажами. Чувялась близость промышленного, видимо, не до конца придушенного и разворованного гиганта: маячили кое-где фабричные трубы, проплывали жилые многоэтажки, высоковольтные мачты, какие-то полуразваленные пакгаузы и склады. Все это перемежалось болотной зеленью, кустами и травами, обширными болячками городских свалок.

И враз повеяло на меня грустью чухонских болот, воспетых русской поэзией...

Но куда же движется наше бедное человечество — то самое, которое так активно стремится к научно-техническому прогрессу, то самое, которое с такой напористой мощью строит заводы и всякие железные и бетонные штуки вроде чернобыльского саркофага, не замечая ужаса и мерзости грандиозных городских свалок?

Последний раз я был в Ленинграде года три назад. В Санкт-Петербург еду вообще впервые. Интересно, что изменилось? Пожалуй, свалки из брошенного железа, осколков бетона и кирпича, облитой мазутом земли, — эти свалки стали вокруг Петербурга еще страшнее. Зловещие болотные пустыри, заваленные чем попало, природа стыдливо пытается замаскировать свежей зеленью. Но эти попытки тщетны. Вообще, возможна ли безотходная цивилизация? Тягаться с человеком природе не под силу, но ведь не под силу и человеку тягаться с природой! Так они и конают друг дружку.

Правда, если люди по отношению к природе совсем безжалостны, то она-то, природа, к нам все еще милосердна. Каждый год по весне обрастают свежей травкой ободранные танками и бульдозерами южные холмы. Каждой весной проклеывается листва, обрамляя незаживающие лесные раны Севера. Очищается, хоть и с трудом, речная вода великих сибирских рек. Продуваются свежим ветром загазованные, запыленные места нашей Родины, дождем обмывается все, что успеваем загадить и испохабить за долгую и безденежную зиму.

Увы, уже не все... Чернобыльское похабство и за сто лет не смоют никакие дожди. Говорят, что на нейтрализацию одного цезия (какой там у него номер?) нужно больше двухсот лет. А «Независимая газета» устами очередной натальи (Ратиани) опять заговорила о воде, будто бы без пользы текущей на север. На юг ее, такую-сякую, на юг... Руководство Средней Азии будто бы затаило обиду на отмену проекта. Мол, необходимо хорошее, грамотное ТЭО, только и всего-то. И уже поговаривает эта наталья про «дополнительные источники финансирования» этого дьявольского ТЭО за счет не только России, но и за счет Международного валютного фонда или просто ООН. Вот так! Сгубили Арал дикой мелиорацией, а спасать озеро должны Международный валютный фонд и ООН. (На этом месте я впервые в жизни посочувствовал МВФ.) И ведь дадут, если демократы как следует поклонятся

толстосумам! Дадут, потому как на такое подлое дело денег не пожалеют. Знают, что сибирскую Русь погубить этому пресловутому ТЭО ничего не стоит, и тогда уж почти вся Русь окончательно превратится в колонию. По-видимому, солидарен с Натальей Ратиани и сам Третьяков, редактор «Независимой газеты», иначе не стал бы он печатать этот занудный Натальин опус.

Впрочем, указанную наталью-прогрессистку я прочитал позже. Тогда же, то есть в начале августа, я больше думал совсем на другие темы. И пожалуй, совсем о другой Наталье. Вдруг вспомнилась почему-то игривая пушкинская грусть и не менее грустная жена величайшего поэта. И стихи пушкинские, посвященные Екатерине Вельяшевой:

Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса
И вспомнил ваши взоры,
Ваши синие глаза.

Александр Сергеевичу пришлось добавить лишний слог, чтобы глагол «вспомнил» плавно вошел в строчку. Какой-нибудь теперешний поэт сказал бы «припомнил». Но это было бы что-то не то... Припоминают ведь только то, что плохо запомнилось.

Через несколько лет Пушкин писал жене: «Вельяшева, мною некогда воспетая, живет здесь в соседстве. Но я к ней не поеду, зная, что тебе было бы это не по сердцу». «Вспомнил» и я всех своих друзей, под Ижорами обретающихся, начал спешно перелистывать записную телефонную книжку. «Интересно, писал ли Пушкин стихи в альбомы красавицам после женитьбы?.. И главное, куда мне сейчас сунуться в таком необъятном городе, если придется ночевать? И вообще, кто ты такой, чтобы пускать ночевать?» И впрямь, беспокоить ночлегом академика Углова или писателя Глеба Горышина у меня не хватит нахальства. Художника Мельникова или композитора Валерия Гаврилина тоже не хочу трогать, хотя с каждым не мешало бы и увидеться. Ну а гостиница? Честно говоря, она мне нынче просто не по карману...

Многим она не по карману, если судить по количеству людей, идущих навстречу пассажирам поезда. Никогда не видел столько встречающих, кои предлагают ночлег на день, на два, на неделю, на месяц. Комнату, а то и всю квартиру. Деятельность собчаков и гайдаров не проходит бесследно.

И вспомнился клетчатый пиджак Собчака. Сей това-

риш то и дело маячил у микрофона Верховного Совета СССР. «Лучшему спикеру Европы» А. Лукьянову не больно-то хотелось каждый раз включать микрофон для Собачка, но включал. Куда денешься от собчаков, хоть ты и спикер?

Постеснялся я спрашивать стоимость одной ленинградской ночи, на картонках же ничего не написано. Но чтобы устроиться, надо все-таки звонить кому-то знакомому. Чтобы позвонить в Питере необходимы либо электронная карточка, либо специальный жетон. Чтобы купить жетон, надо зайти в метро, чтобы зайти в метро... Впрочем, в метро меня пускают уже бесплатно. Первый признак старости. А может, и самой смерти?

Вчера из Москвы я позвонил одной женщине, просил ее выяснить, как уехать на Валаам. Сегодня мне не хочется вновь ее беспокоить. Авось и сам выясню. Зря. Жара и «шпоры» в пятках быстрехонько развеяли мою самонадеянность. Вымотала меня одна покупка жетонов и поиски телефонных автоматов. Плохо, когда ничего не знаешь, когда ты один, когда жара и ноги уже не те, на которых служил я когда-то солдатом в Красном Селе (там же, где служил действительную и мой отец Иван Федорович, а меня еще не было на земле). В увольнение за три с половиной года отпускали всего несколько раз. Тогда, правда, были другие страхи. Увольняемые солдатики и матросы больше всего боялись попасть на глаза многочисленных патрулей. Провести восемь—десять часов увольнения в комендатуре у Бармалея, как мы прозвали одного комендантского начальника, было вовсе не интересно. В увольнение пустили меня первый раз лишь через полтора года службы и — точно! На Невском проспекте нам с приятелем не повезло. Пока заходили в охотничий магазин, приблизился к этому месту морской патруль. Прямо на панели среди нарядных прохожих нас и сцапали. Велено было показывать сапожные каблуки, стоя то на одной ноге, то на второй. Все остальное у нас было безукоризненно. Подковки же на каблуках оказались чуть сношенными, и мы загремели напрямик к Бармалею.

Впрочем, солдатские впечатления здесь неуместны, я поберегу их для отдельной книги... А пока не худо бы разобраться, почему последнее время так невзлюбил я выражение: «Не повезло». Или: «Повезло». Иные добавляют еще и словечко «дико». «Мне дико не повезло», — говорит какой-нибудь коммерсант. Что значит «повезло», «не повезло»? Выражения эти годятся только для атеистов либо

для полуатеистов. Верующий человек говорит: «Господь послал». Атеисты долдонят одно: «Нам повезло».

Женщина в справочной будке деньги взяла, но адрес Валаамского подворья на бумажке не указала. Написана была одна станция метро. И вот я спустился в питерское метро. Оно показалось мне глубже московского. В Вологде, к примеру, нищих почти нет, хотя вологодская жизнь отнюдь не легче московской и питерской. Впрочем, нищие и бомжи тянутся в Москву, им там легче прожить. Тема столичных и провинциальных нищих весьма интересна, только оставим и ее для другого раза. Вспоминается моя тогдашняя растерянность: на Валаамском подворье, которое я наконец нашел, никто ничего не знал. Шла служба в честь обретения мощей преподобного Серафима. Я положил чемоданчик к чьим-то рюкзакам и авоськам и затерялся в толпе молящихся. Служба кончилась. Что дальше? Я подошел к группе монахов и решил поведать им о своих затруднениях. «Сейчас отец Панкратий из алтаря выйдет, — сказал один монах, приземистый и еще не старый, хотя седина уже посеребрила его темную окладистую бороду. — Ты подойди к нему...» — «А кто такой отец Панкратий?» — «Наместник монастыря. Он и благословит на поездку...» — «А если не благословит?»

Монах ничего не ответил. Мой вопрос был, вероятно, бестактным. Я стал ждать, но опять не утерпел и просил уже другого монаха, что же мне делать, поскольку я не знаю отца Панкратия. Хотя это и было не очень-то приятно, пришлось сказать, кто я такой, что за птица и чем занимаюсь. Монах вдруг оживился и назвал себя отцом Александром. Он подал мне ленинградскую газету «Вести». Статья Николая Коняева о возвращающейся в Россию иконе Тихвинской Богоматери заставила меня вспомнить свою историю, длящуюся около тридцати лет...

Лет сорок тому назад, будучи атеистом, я наконец отслужил срочную службу. Четыре без мала года тянул под Ленинградом солдатскую лямку. Что такое солдатская лямка во время Лаврентия Павловича и под его непосредственным командованием? Долго рассказывать... Отравленным, вымотанным, но полным смутных надежд на будущее я приехал в Тимонику к материнскому крову.

Уже тогда, в 50-х годах, во всей нашей округе (это около десяти деревень) жило всего трое девчонок. Ни одна из них меня не заинтересовала. Еще три были перестарки (позднее их прибрали к рукам ребята, которые были моложе их едва ли не в два раза).

Летний храм с полуразрушенной колокольней еще возвышался над озером и над всей нашей волостью. Зимняя церковь была до основания разобрана. При Хрущеве тужились уничтожить и летнюю. Обуянный ложной романтикой, я уехал к брату на Урал, затем меня повлекло обратно в Вологду. По-видимому, Создатель долго, осторожно и, может быть, бережно пробуждал мою совесть, понемногу приближая к себе: сперва болью за крестьянскую участь, жалостью к матери, затем юношеской, с шестого класса не умирающей любовью к одной землячке. Далее моя жизнь украсилась интересом к русской деревянной архитектуре, к сочинительству, к хору Юрлова и к «Черным доскам» Вл. Солоухина.

И вот явились на моем пути книги Иоанна Лествичника и св. Игнатия Брянчанинова.

Такими ступеньками и притопал я к первой в моей жизни исповеди. Но как долго пришлось подниматься!

Однажды в семидесятых годах в деревне Крутец я случайно забрел в сарай, заполненный сеном. Строение никому не принадлежало. Хозяин давно уехал или умер. Сено же было накошено кем-то из местных колхозников. Коняев говорит в своей статье о чудесах, связанных с Тихвинской иконой Богоматери. Можно ли назвать чудом то, что позднее случилось со мной? Около разломанного входа из-под сена торчал угол какой-то доски. Я откинул сенной пласт — и превосходно сохранившаяся икона глянула на меня печальными глазами Тихвинской Богоматери. Изображение было без клейм. Надпись внизу сохранилась весьма четко, но славянскую вязь с титлами я разобрал с большим усилием:

«Образ пречистыя Богородицы мерою и подобием против самого ея чудотворного образа Одигитрии Тихвинская празд. месяца июня 26-го дня».

Красиво было написано, золотом на светлом охристом поле, непривычным для меня стилем. Я увез икону сначала в Тимонику, позднее в Вологду и всего лишь как живопись повесил над своим рабочим столом. (Помнится, работал тогда с рукописью романа «Все впереди».)

Несколько лет висела «живопись» над рабочим столом. Я часто ездил на деревенскую родину, продолжая интересоваться иконами. Однажды меня поразило странное действие моих земляков. Куча каких-то удобрений, какая-то дрянь из железа и проволоки, птичий помет, озеро синее в широких зияющих церковных прогалинах. Два мощнейших трактора — то ли С-80, то ли С-100 — тросами пытаются растащить остатки летнего, как я считал, Николь-

ского храма, чтобы обрушить стены и купол. Здесь я учился когда-то в первом и втором классах. Двухэтажный, он давно был без креста, наполовину без крыши. Стоял с разломанными оконными проемами, как бы «изба на курьих ножках», обреченно, покорно. Тучи галок поднялись над куполом. Остатки железной крыши скрежетали от ветра. Зимняя одноэтажная церковь, алтарная часть и высокая колокольня, куда мы, ребяташки, не без риска лазали когда-то по ветхим лестницам, давно были отломаны. Теперь трактористы пытались разрушить и летнюю часть. Они прицепили к железной кованой тяге, идущей по периметру кирпичных стен, дружно затарахтели. Стена не поддалась ни на йоту. Железная тяга петлей вытянулась из церковной кладки.

Даже разрушать они не умели... (Если б трос прицепить к тягам, которые под куполом, и дернуть даже колесным, а не гусеничным, то купол бы тоотчас обрушился, а разломать остальное ничего бы и не стоило.)

Глупость трактористов спасла остатки нашей церкви, десятиметровое двухэтажное здание уцелело до следующей атаки. Меня что-то кольнуло в сердце, я не стал ругаться ни с механизаторами, ни с начальством, но вдруг неожиданно для себя решил спасти церковь от разрушения. Вовсе мой кошелек не был тугим! Вначале даже и не мечталось о дверях и окнах. Заложить хотя бы зияющие проломы, спасти остов бывшей моей школы. В одном только первом классе училось более сорока моих ровесников. (В живых осталась всего одна моя сверстница — Марья из деревни Лобанихи. Об этом я уже говорил то ли в статье, то ли в каком-то очерке.)

Теперь мне кажется действительно чудом то, что с помощью трех-четырёх моих друзей мы заложили проломы. Отштукатурили, побелили... Крест водрузил я дубовый самодельный, на старых растяжках. Пол тоже стелил в одиночку. Тяжело было вставлять железные кованые решетки, но и с этим почему-то справился без помощников. Кое-какие оставшиеся кровельные недоделки помог устранить москвич Александр Саранцев, приобретенную в Литфонде старую люстру привез из Москвы старый мой друг Анатолий Заболоцкий. Так постепенно дошли до освящения престола. Для иконостаса я снял с моей деревенской стены икону, сохраненную покойным Василием Анатольевичем Задумкиным из деревни Горка. Икону Спасителя отреставрировал и подарил вологодский художник Валерий Страхов, он же хлопотал о дверях и оконных рамах. Престол, иконостас и жертвенник мастерил я, а два вели-

колепных подсвечника подарили храму братья Михаил и Петр Хлебниковы, живущие в США (из Москвы их привез опять же Толя). Сосуды благословил владыко Виктор, в Москве. Тихвинская Богоматерь, найденная мною в сенном сарае, все это время оставалась в Вологде. Не благодаря ли ей наши дела двигались без всякой задержки? Лишь недавно, уже после освящения престола в честь Николая Мирликийского, после многих служб я узнал, что престол-то в восстановленной нами летней церкви был испокон веку в честь иконы Тихвинской Богоматери... Не знал, не ведал об этом. Забыли про этот факт и все наши старожилы, в том числе и жители деревни Тимонихи. Когда я, будучи депутатом и членом КПСС, закладывал зияющие провалы, сосед Корзинкин в трезвом виде начал доказывать мне: «Никакого Бога нет, все одна выдумка». Я спросил: «Виталий Васильевич, а что есть, ежели нет Бога?» — «Ничего нет! Умрем, дак в землю заруют, вот и все...»

Позднее, правда уже по другому поводу, он начал прямо и за глаза материть меня, и моя дружба с этим соседом закончилась. Другой сосед... Впрочем, чего это я про соседей? Сам ведь был не лучше соседей. В пятидесятом году, будучи голодным фэззошником, сделал, помню, такой «научный эксперимент»: перевернул икону в деревенском углу вниз головой. Хотелось узнать, заметит ли этот подвох молящаяся женщина, у которой мы жили. (Строили пилораму буквально на костях местного кладбища.) Но верующие женщины отнюдь не молились в присутствии таких остолопов.

Все это проносилось в памяти, пока я читал статью Николая Коняева и гадал, где бы мне ночевать сегодня.

Разве не удивительно то, что отец Александр оказался настоятелем Тихвинского монастыря? Он куда-то исчез, и я всерьез не знал, что делать... Вдруг он появился и со словами: «Идите на трапезу» чуть не силой втолкнул меня в какую-то дверь. Я опешил, подался вспять. «Нет, нет, идите! — повторил монах. — Отец Панкратий благословил вас на трапезу...» И вновь подтолкнул меня в нужном направлении. Что оставалось делать? Вместе с другими монахами я пошел на трапезу.

Повезло, скажет какой-нибудь коммерсант. Я же не коммерсант и, не стесняясь, скажу, что икона Тихвинской Богоматери помогала мне все эти годы, помогла, видно, и тут. Не могу промолчать о том обстоятельстве, что за одно лето в этом 1996 году судьба несколько раз приводила меня в стены православных монастырей.

Во-первых, в московский Сретенский. (Помнится, отец Тихон вместе с Толей Заболоцким, еще будучи послушником, приезжал в гости в Тимонику.) Никогда не забуду православный женский монастырь св. Феклы в Сирии. Как сейчас вижу узкую каменную щель в неприступной скале. По преданию, скала раздвинулась, пропуская сквозь себя сирийскую девушку, убегающую от язычников. Печь патриаршья в Сербии — монастырь древнейший в живописных горах на границе с мусульманской Албанией. Восстанавливаемая в Пензенской области женская обитель. И, наконец, сегодня, 1 августа, я очутился в преддверии Валаама. Уже сотрапезничаю с валаамскими насельниками. И все это за какие-то три месяца... Случайно ли? Человек православный никогда не скажет, что все на свете происходит случайно.

* * *

Только после трапезы отец Александр представил меня отцу Панкратию — немногословному наместнику Валаамского монастыря. Что же мешает подробно рассказывать про внешний облик монаха или говорить про монашеский возраст? Я не знаю что, но что-то мешает. Иное дело возраст духовный. Человеку светскому, прожившему всю жизнь в бездуховной среде, понятие духовный возраст малодоступно. Пытаюсь постичь, что значит духовный возраст. Увы, чувственное восприятие мира то и дело мешает этому постижению. Вспомнился внешний облик недавно умершего митрополита Иоанна (могилу которого я, будучи в с.-Петербурге, так и не сумел посетить). Ничего потрясающего в нем не было. Деревенский старичок, по-домашнему добрый и хрупкий, стесняющийся своих телесных недугов. Но как по-богатырски могуча его духовная суть! Какова смелость и глубина постижения родной земли и родного народа, какое бесстрашие в борьбе со всевозможными бесами! Как безукоризненна, как велика вера, как чиста была его жизнь, отнюдь смертью не прерванная, продолжающаяся за гробом, во что ученые люди никогда не поверят.

Однажды, будучи еще в этом мире, владыко «в две смены» принимал русских недемократических писателей. Я осмелился рассказать про вологодских горшечников, то есть про молодежь, попавшую в сети каких-то забугорных проходимцев. Я спросил, как вести себя с иностранными проповедниками. «Гнать в шею!» — воскликнул митропо-

лит Иоанн. Мучал меня и до сих пор мучает вопрос: как совместить христианское смирение с необходимостью активного, иногда вооруженного противостояния бесовщине? Можно ли буквально во всем полагаться на волю Божию? При таком изобилии недугов Православия и Отечества? Но задать митрополиту этот вопрос я не осмелился...

Тем временем вологодские горшечники под сенью местных и зарубежных банков смело вторгаются в души наших детей. Они ведут себя в России как хозяева, а демократические губернаторы не знают разницы между Православием и католицизмом. Тем более начальству неизвестна разница между православным священником и протестантским пастором, засылаемым в глубину России коварным Западом.

Интересна и очень популярна одна «метода» некоторых демократических публицистов. Они с фальшивой откровенностью называют Запад «коварным». Во всеуслышание, вальяжно-простецким тоном произносят такие термины, как «хитрые масоны», «подлые мондиалисты», «зарубежные агенты». Произносят эти термины подчеркнуто громко, словно речь идет о мифе, известном всему нормальному человечеству. Мол, одни вы дураки и верите в эти мифы, больше никто...

Но беда-то в том, что никакие это не мифы, а самая жестокая реальность, преподносимая как миф, как выдумка, как нечто придуманное и не достойное даже сатирического упоминания. В том и состоит весь фокус, что Запад действительно коварен, что впрямь существуют хитрые масоны, еврейские агенты.

На этом месте спотыкаются, замолкают даже самые смелые представители журналистской среды. Замолкают «страха ради иудейска». Не буду и я нарушать двухтысячелетнюю традицию... Не потому что боюсь — антисемитский-то ярлык все равно давно пришлепнут ко мне, — а потому что скучно до зелени...

Я поднялся на второй этаж подворья вслед за отцом Панкратием. Его останавливали молодые и пожилые женщины, просили благословения. Он переговорил с каждой. Вскоре предложил мне сесть в своей просторной приемной. Я начал путано объяснять, зачем я еду на Валаам: «Не знаю, отец Панкратий, паломник я или турист. Наверное, и тот и другой сразу...»

Настоятель не обратил на мою рефлекссию никакого внимания. Он сразу заговорил просто и ясно: как доехать,

что надо сделать. Написал записку к благочинному, поручил меня питерскому семинаристу Виктору, который тоже стремился на Валаам. (У Виктора каникулы, он просил разрешения до следующих занятий потрудиться в монастыре.)

— Ну, чего другого, а работы-то мы тебе найдем! — усмехнулся отец Панкратий.

Теплоход на архипелаг шел только на следующий день. Мы с Виктором по совету отца Панкратия решили добираться поездом сначала до ст. Сортавала. «Оттуда ходит монастырский катер, — успокоил меня отец Панкратий. — Уже утром будете в монастыре». Он даже наметил Виктору место, где мы должны встретиться на вокзале: «Увидите паровоз в стеклянном павильоне. На нем приехал когда-то Ленин». И о. настоятель опять улыбнулся совсем не по-монашески — просто и добродушно.

Я спросил его, где сейчас библиотека Валаамского монастыря. Оказалось, в Финляндии. Попыток вернуть библиотеку истинному хозяину пока не существует. Почему бы не заняться этим возвращением министерству культуры, возглавляемому литературным критиком Евг. Сидоровым? Или тому же Степанову, карельскому губернатору, позволяющему соседям уничтожать реликтовые сосняки? Монахам-то валаамским не до библиотеки, финны монахов не очень и слушают.

Спросил я отца Панкратия, кто из писателей и когда посетил Валаам, не бывал ли там Александр Пушкин. «Нет, — говорит настоятель, — Пушкин на Валааме не был. Бывали в монастыре Лесков, Шмелев, Зайцев». Я, конечно, читал превосходные очерки Шмелева и Зайцева о поездках на острова, но меня сильно интересовал вопрос о знакомстве с Александром Пушкиным моего земляка святителя Игнатия (Брянчанинова). В прекрасной книге Л. А. Черейского «Пушкин и его окружение» помещены все пушкинские знакомцы. Однако братьев Брянчаниновых там нет. Между тем в жизнеописании святителя сказано: «...Родственные связи ввели его в дом тогдашнего президента Академии художеств Оленина. Там, на литературных вечерах, он сделался любимым чтецом, а поэтические и вообще литературные дарования его приобрели ему внимание тогдашних знаменитостей литературного мира: Гнедича, Батюшкова и Пушкина. Такое общество, — продолжает биограф, — конечно, благотворительно влияло на литературное развитие будущего писателя*.

* Имеется в виде св. Игнатий. (Примеч. автора.)

Преосвященный Игнатий до конца жизни сочувственно отзывался о советах, какие ему давали тогда некоторые из этих личностей».

Как видим жизнеописание прямо называет св. Игнатия писателем. А разве не о писательском даровании свидетельствуют такие сочинения, как «Душа на берегу моря», «Древо зимою» и «Сад во время зимы»?

Конечно же, св. Игнатий был писателем. В молодости он наверняка близко знал Александр Пушкина. Каковы были их личные отношения? Когда и почему русская литература разделилась на два плохо соприкасающихся потока? Противостоит ли писатель Александр Пушкин писателю Игнатию Брянчанинову? Неправомысленным, во многом искусственным представляется мне такое противопоставление!.. Если же русская литература действительно разделена на две части, то опять приходит на ум дьявольская формулировка: «Разделяй и властвуй».

...Отец Панкратий сказал, что дня через два сам будет в монастыре. А пока написал для меня еще одну рекомендательную записку. В канцелярии нам выписали командировки в пограничную зону. Я подал Виктору деньги на билет до ст. Сортавала, мы договорились, в какое время встретимся на вокзале. Впереди был целый свободный день. Сходить в Эрмитаж, в Русский музей либо на Мойку времени явно не хватает. Не встретиться ли мне с Валерием Гаврилиным? Можно бы увидеться и с академиком Угловым, и с Огурцовым, если он в городе. Нет, в Питер нельзя приезжать на восемь часов. С этой мыслью я позвонил Толе Пантелееву. Про Толю надо говорить отдельно, в другом очерке. Я чувствовал неуловимое сходство между ним и отцом Панкратием. В чем же оно? Один — сотрудник Ленинградского университета, другой — валаамский монах. Сходство было поразительным — не столько в возрасте, сколько во внутренней и духовно-сердечной сути. Оставалось время, и я не без пользы истратил его в университете. Толя вздумал меня провожать. Я давно не был в Питере, предложил пешком идти на вокзал. Город этот прекрасен! Нева была спокойна, величественна. На фоне сиренево-молочных небес четкие силуэты шпиль, башен соборов раскинулись по горизонту. Эти силуэты и пантелеевские объяснения делали живой, освящаемой историю Родины. Душа металась то ко князю Меншикову, то к полковнику Пестелю. То художники мира искусств вспоминаются, то воспрянут собственные впечатления: первое солдатское увольнение, обворовавший меня

«Ленфильм», премьеры по моим пьесам... Как много оказалось всего, что связано у меня с этим великим городом!

В тот день был он под стать погоде, спокоен и светел. Не надо мне сейчас вспоминать Собчака и его ленинградскую шушеру со всеми ее продажными типами, с европейскими бесами, пролезающими в окно, прорубленное на Запад Петром Великим. Бесы решили крестить русский народ, но не будем об этом... Прекрасен этот город в первый день теплого августа, светла и все еще чиста (по крайней мере снаружи) Нева. Снова удивило меня то, что здесь нет небоскребов, а двух-трехэтажная архитектура величественна, прекрасна.

Теперь я хотел сам для себя познать разницу между паломником и туристом... Вспомнился грустный и добрый взгляд поэта Александра Решетова, на встрече с которым я заразился прилипчивым литературным вирусом. Вспомнились и последние солдатские увольнения. Один раз отпустили на целые сутки. Я потратил время грешно и бездарно. Позднее зато дважды ездил в десятидневные отпуска. Один раз по тому случаю, что нас, осназовцев, Булганин уравнил по срокам службы с военными моряками. Второй раз начальство предоставило отпуск за то, что я обнаружил в эфире новый радиопередатчик. (Говаривал я уже где-то, что, будучи солдатом, сражался в эфире с самим Даллесом.) Мои солдатские воспоминания, может быть, дождутся своей очереди.

Мы пришли к ленинскому паровозу за час-полтора до поезда. Виктор с билетами не появлялся, и правильно делал.

Паровоз безмолвно торчал под стеклянным колпаком, аз же, грешный, опять вспомнил клетчатый пиджак Собчака, поминутно мелькавший когда-то перед лукьяновским микрофоном. Мы с Пантелеевым говорили о многом, в том числе и про Собчака. Наблюдали вокзальную публику. Вот подошел к ленинскому паровозу юноша с сумкой и начал что-то объяснять. Говорил он по-русски, но ни я, ни Толя так ничего и не поняли. Ушел юноша к билетным кассам, и опять к нам! И вновь что-то говорит, говорит. Мы не сразу сообразили, с кем свела нас судьба... Ощущалась какая-то смутная связь между «паровозом», клетчатым пиджаком и этим юношей.

Вокзальная обстановка не внушала оптимизма, хотя ленинградские вокзалы и общественные места намного чище московских. Демократы объясняют эту разницу, разумеется, близостью Европы, Скандинавии и т. д. Отчасти

это так и есть. Но только отчасти. Основная причина этой разницы в чем-то ином. Впрочем, ежели говорить о нужде, то и разница не велика, просто нищие в Питере не такие грязные, не такие разнообразные, как в Москве.

Близость Европы действительно сказывалась. Девочка лет пяти терпеливо ждала наши бутылки. Толя пил пиво, я — какую-то слащавую воду. Хорошо одетая девочка, никакая не нищая! Но расстроила меня не пятилетняя девочка, собиравшая бутылки, а юноша с сумкой. Я долго не мог понять, что был он просто сумашедший. Сумашедшие всегда вызывают во мне какой-то страх, иногда ужас. И раньше я бегал от них куда глаза глядят, хоть считал шутивными такие стихи Пушкина:

Не дай мне Бог сойти с ума,
Нет, легче посох и сума...

Александр Сергеевич явно не шутил с такими вещами. Паренек, таская свою поклажу, перебегал с места на место. Какой бес тревожит его изнутри? Врожденной или приобретенной болезнью был этот бес, которого психиатры относят к общему названию шизофрения?

Всего больше удручают пьяные женщины... Почему так много стало пьяных женщин? К мужчинам-то появилась кое-какая привычка.

Крохотная, хорошо одетая девочка вежливо, по-европейски, попросила у Толи бутылку из-под пива. Снесла куда-то и пришла за моей лимонадной. Как расширились «права человека»: бизнес в пять лет...

Наконец, появился Витя-семинарист. Он сказал, что не смог достать настоящих билетов. Купил места в разных вагонах — мне плацкарт, себе в общем, а самое главное — не до конца. Мы не стали особо тужить, я распрощался с Толей и вскоре влез на грязную верхнюю полку. Подушкой служила кепка на моем «дипломате».

Ах, не это было страшно, ежился я и совсем под лавкой! И на вагонных крышах ежился. Страшно стало при виде молодой, красивой, но совершенно пьяной женщины, разместившейся на нижней полке с родным сыном — мальчиком лет десяти. От нее на весь вагон разлило сивушным запахом. Несколько раз она пыталась завязать со мной разговор, мальчик терпеливо ее останавливал. Особенно волновала ее почему-то моя борода, но я сделал вид, что дремлю. Чуть не до слез было жаль мальчика. Я видел, как он страдал от стыда...

Ночью пришел на мое место пассажир, и проводница

выселила меня. Я пошел искать бригадира проводников, который продал мне билет до Сортавалы, как называется нынче город Сердобль. Я перебрался в дугой плацкартный вагон. Утром ждала меня стычка с еще одной дамой. Наверное, женщина средних лет, вероятно челночница, приняла меня за священника. Она сначала вежливо выяснила, куда я еду. И вдруг заявила ни с того ни с сего:

— Никакого Бога нет!

Я имел неосторожность возразить:

— Почему вы так думаете?

— А потому что нет, и все. Одни сказки... Какой там еще Бог?

— Если вы в Бога не веруете, то во что же вы веруете?

— А ни во что! Ежели Бог есть, то почему он допускает, что люди страдают? Я вон троих чужих детей вырастила... Чего вижу хорошего? Нет никакого Бога... И говорить про него нечего...

— Человеку дана свобода выбора — верить или не верить. Это ваше личное дело.

Она заговорила опять про троих, якобы чужих, детей, но Сортавала уже приближалась. Я пошел искать вагон Виктора. Пришлось пройти по вагону трижды, разглядывая спящих отроков. Виктор сладко спал на боковой полке. Будить не хотелось, я присел на свободное место. Он пробудился сам, без моей помощи, но без его помощи мне нельзя было обойтись, пришлось бы долго искать пристань, чтобы плыть в монастырь. Пока мы завтракали в какой-то кофейне, он рассказал, как приехал в семинарию с Украины. Сердобль ничем не заинтересовал нас, кроме дома художника Рериха. Я вспомнил про мадам Блаватскую, и на душе опять стало как-то муторно... Дурное состояние усугублялось дурацкой музыкой, звучавшей на катере. Кому жаловаться на эти дикие звуки? Кого просить, чтобы если не выключили, то хотя бы сбавили громкость? Некого. Надо, видно, терпеть. Жаждающий тишины, наблюдаю, не могу даже подремать. Туристы суетливы и беспокойны, они то и дело с криками бродят то на палубу, то обратно. Места впереди нас заняли две толстушки дамы с детьми. Трещат как сороки. Одеты как-то бесстыдно. Одна по-мужски. Обвинять женщин за то, что носят мужскую одежду? Мне казалось, что это несправедливо. Хотя такая мода никогда и не нравилась (сперва сапоги, шапки, брюки... А там и ухватки мужские, и словечки, жесты). Оказывается, еще Ветхий Завет говорит об этом очень определенно: «Да не будет утварь мужеска на

жене, ни да облачится муж в ризу женску...» Теперь допускается все подряд. Дети вон то и дело что-то едят, грызут, что-то пьют. Мальчишка лет восьми взял на себя обязанность потешать взрослых. Мамаши хохочут, подкидывают двусмысленные вопросы. Обе играют своими детьми, словно бы куклами, развлекаются. Детки, видя такое дело, еще больше входят в раж.

Витя рассказывает мне о своей родине. На Украине у него родственники, отец и мать. Я предпочитаю спрашивать о семинарском быте и предыдущей поездке на Валаам. Судно, не торопясь, долго выбирается из ладожских шхер. Острова, обросшие лесом луды. Лудами называют здесь каменные лбы и площадки, уходящие в воду. Бессонные воды Ладоги веками лижут эти скалистые берега, веками плещутся в гранитных расщелинах, переливаются по каменным площадям. На протяжении многих тысячелетий вода разглаживала каменные морщины, упорно шлифовала эти скальные нагромождения. Образовались ровные обширные площадки, как бы округлые каменные лепешки правильной формы, слоистые выступы и даже лесенки и террасы. Возможна ли такая архитектура без высшего разума? Очень сомнительно!

Небо над Ладогой прояснилось, мы с Виктором вышли на палубу. Острова и сердобльские заливы остались в нашем тылу. Водная ширь мерцала светлыми бликами. Золотисто-синяя небесная даль сливалась на горизонте с ясными водами Ладоги. Какое, оказывается, грандиозное озеро! В Европе нет больше такого... Самый крупный запас пресной воды. Глубина и просторы позволяют нашим предкам называть Ладогу морем, как называли они морем Байкал. Не видно никаких берегов... Еще сильнее действует на воображение глубина этого моря, о которой мне сказали позднее. А вот как выглядит озеро во время сильного ветра: «Великолепна буря, когда при ясном небе, при сиянии солнца порывистый ветер передвигает влажные холмы на поверхности глубокого, широкого озера. Эта необъятная поверхность вся усеяна холмами лазуревго цвета с белоснежными, серебристыми гребнями. Смятенное бурею озеро представляется одушевленным.

...Ветер был очень свежий, быстро неслись под небом белые облака отдельными группами, как стада птиц, совершающих свое переселение осенью и весной. Величественна буря на открытом озере; и у его берегов она имеет свою краску. Там свирепые волны — в вечном споре с ветрами гnevаются, грозно беседуют между собою, а здесь

оне — в ярости на землю, с замыслом дерзновенным. «Смотрите, как лезет волна на берег», — говорил сопровождавший меня Коневский старец. Точно, волна «лезет» на берег. Это прямое выражение действия. И лезет она с упорством не только на берег отлогий — на огромную скалу гранитную, стоящую отвесно над бездною, от начала времен мира смотрящую спокойно на свирепые бури, как на детские игры. На сажень, на две сажени подымается волна по скале и в изнеможении падает к ее подножию в мелкие брызгах, как разбитый хрусталь; потом снова начинается свою упорную, постоянно безуспешную попытку».

Неискушенный читатель ни за что не догадается, что описание бури принадлежит св. Игнатию. Знал ли и сам Белинский, кому из его современников принадлежали эти строки? Если великий критик и читал их, то, наверное, постарался не заметить, отбросить прочь. А ведь они и по духу, и по языку, и по самой обязанности родственны Пушкину, Тютчеву, Гоголю. И всей русской литературе. А разве сама-то литература не родственна и по языку, и по духу творениям таких людей, как святитель Игнатий? Не один ли народ породил всех этих писателей? Но никто не задумывается над таким интересным фактом. Вот и я зарисовку о буре прочитал всего лишь год назад и не знал, что писал ее православный святитель. Как не знал и того, что на Валаам приезжали не одни цари и наследники.

Назовите профессора Литературного института, который рассказал бы в своей лекции, как приезжал на Валаам французский писатель Александр Дюма. И знают, да не расскажут. Неведомо студентам и до сих пор, что бывали в монастыре такие великие люди, как Менделеев, Тютчев, Чайковский, художник Федор Васильев. А зачем приезжали сюда Миклухо-Маклай, философ Соловьев? Художники Куинджи, Шишкин, Коровин? Видать, было зачем...

Но вот украинский юноша, учащийся в ленинградской семинарии, по имени Виктор, показал мне далекую точку:

— Смотрите, это колокольня Преображенского собора.

Валаам тихо, медленно, однако же неотвратимо приближался ко мне.

* * *

Не мешает вспомнить, в каком состоянии духа, вернее, в каком **душевно**м состоянии был я перед этой поездкой. Впрочем, говорить о духовном состоянии, поскольку это высшее человеческое состояние, имеют право одни подвижники. Даже многие верующие живут всего лишь

душевной жизнью, а подавляющее большинство — вообще одной чувственной либо даже животной. Последние знают лишь сон, еду и похоть. Ну, может, еще физкультуру, телевизор и шаманские ритмы.

Когда-то начал я писать очерк под названием «Жажду мелодий». Речь шла о засорении эфира, о заражении эстрады дешевой, бездарной, зато ритмичной продукцией. Чужеземной и доморощенной. Статью я не доделал, подошла осень-93. Нынче многие люди жаждут уже не мелодий, а просто тишины. Некуда скрыться от дикого шума. Сколько их, разнообразных динамиков! Негде спрятаться от музыкальной халтуры «российского» радио, от бездарных шлягеров и жалких безголосых певцов, от бренькающих гитарных бардов и менестрелей. Они буквально преследуют. Дома сверху, снизу и с боков — соседи (стены не помогают). В телевизоре, на радио — хочешь ли узнать новости — и тут они. На улице, на базаре. Что ни киоск — то дикие звуки. В поезде, в самолете, на пароходе — везде долбят, визжат, вскрикивают. Кому не известно, что творится в Москве около Ленинградского и Ярославского вокзалов? Тут не слышны даже милицейские свистки. В какофонии, которую изрыгают десятки заглушающих друг друга торговцев, тонут вокзальные объявления. В лесу и там транзисторы. Повсюду, повсюду! Как тут не уехать в деревню! Там тихо. Там изредка можно услышать даже родную мелодию, русский напев...

Там простой шум ветра, треск поленьев в печи, шорох дождика, плеск озерной воды, шелест осинки — все ненавязчиво, сдержанно, не говоря уж о ласточкином чирикании. Там, в тишине можно поставить и пластинку с записью Глинки, Чайковского, Моцарта. Или прекрасного церковного пения. Какая это радость для человека! Только прежде чем очнуться душой, сдери с себя чешую равнодушия к людям. Примирись сам с собою. Разберись, отчего так яростен, так неспокоен становишься, когда слышишь все это вместе с оскорблениями в адрес твоей родины. Твердят и твердят, например, о рабстве. Русские, дескать, рабы! Но ведь ни один демократ не скажет о разнице между рабом страстей и рабом Божиим. Враги России как бы нарочно не замечают эту разницу. Они сами рабы, рабы дьявола. А может, и сам ты служишь ему же, когда так страстно обличаешь врагов России, или когда негодуешь по поводу клеветы на русских, или когда впадаешь в уныние от непонимания родных и близких, или когда сердисься на то, что твой собеседник до сих пор не

прочел Льва Тихомирова? «Не знаю, не знаю!» — говорю я в отчаянии. Знаю только, что «Независимая газета» сильно зависит от банкира Березовского. Знаю, что бесы телевидения бесстыдно лгут, что «Российское радио» никакое не российское, что в журнале «Россия» России нет.

«Георгий Победоносец за демократию», — вещает обложка журнала, где помещена фотография народной скульптуры. Копье св. Георгия поражает не змия. Оно устремлено на обрывок колючей проволоки. Не поленились, нашли скульптуру, скрутили пассатижами лагерный символ, а ведь сами же и были авторами, создателями лагерей! Сфотографировали, поместили на глянцевой обложке и пустили в ход по Руси вместе со всякими «мегаполисами».

Ни совести, ни стыда. Цинизм. Ложь. Разврат. Сплошь педерасты и проститутки. Фамильярность со слушателем и снова разврат. Таковы, за немногими исключениями, атрибуты современного радио, кино, печати и телевидения.

И вдруг вся эта мерзость пошла немножко на убыль: близятся, видимо, какие-то выборы. Не какие-то, а президентские. Кто сделал Россию беспомощной ко всем европейским политико-государственным вирусам? Кто автор всех наших расколов, начиная с Никона и кончая расколом нынешним? Верующие русские знают кто. Поэтому их так и преследуют. Знают они почти все и про нынешние «реформы», знают, почему власть ввела в России чужую валюту, отменив слово «копейка», почему ЦРУ в Киеве и в Москве чувствует себя как дома. Знают, почему украинские бывшие коммунисты вприпрыжку бегут в сторону НАТО. Подсчитывал ли кто-нибудь, сколько у президентов СНГ одних американских советников? Выборы и то с помощью чужих денег и чужих шпионов. Диву даешься, с какой нахальной самоуверенностью западные весьма многочисленные экономисты, побросав свои домашние дела, ринулись в Россию учить русских, что хорошо, что плохо. Удивляет восторг доморожденных демократов, с коим вещают они об успехах смертельных «реформ». Еда чужая. В Москве она чужая на две трети, в Вологде, может быть, на четверть. Язык, алфавит на улицах Москвы не русский — чужой! Ведущие на ТВ — чужие. Они говорят о России и о Москве в третьем лице. Прогнозируемая и во всем нормированная жизнь: хлеб, вернее, денежки — по норме (иногда человек и совсем без хлеба). История (русская) — тоже по норме, можно доказать с документом в руках. Музыка русская по строгой

норме, живопись — все нормировано! Одним мерзости вроде порнографии да еще бутылки со своим, а больше зарубежным пойлом — сколько хочешь! Двадцать второго июня, может быть, самый печальный для Родины в двадцатом веке день. А «Российское радио» хвастается какими-то фестивалями и карнавалами. Есть ли предел этому отвратительнейшему нахальству, наглости, наконец, очевидной глупости поведения? Они же не думают и о собственном будущем...

* * *

Судно движется довольно споро, но Валаам приближается к нам сдержанно, с неспешным достоинством. Колокольня Преображенского собора уже господствует на островной горизонтали в золотистой озерной дымке. Вскоре я перестану обзывать Ладогу озером, а Валаам островом. А пока мое географическое невежество не позволяет говорить о Ладоге как о море, о Валааме — как о гранитном содружестве множества островов...

Почему бы не вернуть слову «архипелаг» его первоначальное значение? Оно похищено у нашего языка прихотливой судьбой родины, вернее, литературными изысками на тему об этой судьбе. Валаамский архипелаг не избежал новейшего, суженного значения слова «архипелаг». Моей душе ближе первоначальное значение.

Итак, не озеро, а море, не остров, а целый архипелаг, созданный Творцом как бы нарочно для России. Судьба Валаама — судьба России. Около пятидесяти островов, бесчисленные заливы, протоки, бухточки, живописные леса, суровые скалы. Преображенные человеком заводи и протоки, дороги в дебрях. Множество скитов, прекрасных православных церквей, убогих монашеских келий среди скал и лесов. То разрушаемых бесовскими силами, то снова чудесным образом являемых миру. И так длится много-много веков...

Говорят, что сюда ступал ногой апостол Андрей. С тех пор не стихала здесь борьба духа с «лукавством мира сего», не прерывалась тяжба пламенной веры с аферизмом, как называл Александр Пушкин холодную рациональную мысль. Даже каменные лбы Ладоги отнюдь не безмолвствуют, напоминая об этой вековой борьбе, а что сказать о православных скитах?

Но вот золотая главка неподражаемого горностаевского творения сверкнула совсем близко. Никольский скит торжественно проплывает рядом. Теплоход, приглушив

свои дизели входит в монастырскую бухту и тихо причаливает. Паломники, туристы, местные жители сходят на берег и как-то сразу рассасываются, исчезают. Мы с Витей поднимаемся по довольно крутому спуску вверх, к монастырским воротам. Терпеливо ждем, когда появится кто-либо из тех монахов, которые занимаются приезжими: беседуют, сортируют, устраивают в гостиницу. Я представился отцу Гурию, подал записку от настоятеля; он, не рассуждая, поспешно повел нас напрямик в трапезную. Затем монастырский «комендант» Григорий так же поспешно устраивает нас в гостиницу. Небольшая келья с дровами и печкой, опрятная кровать, чайник, стол и ведро с водой. Прекрасно, мне больше ничего и не надо! (Витю, моего спутника, поместили в общежитие.)

Что может быть лучше одиночества на Валааме, в теплую, почти осеннюю пору, в тишине и при солнышке, когда у тебя есть время одуматься, что-то прочесть, что-то записать, благоговейно припомнить что-то самое главное и давно позабытое?

Первым моим желанием было затопить печь, что я и сделал. Когда она протопилась, я закрыл трубу и отправился в лес. Ориентируясь на синюю бухту, чтобы не заплутаться, пошел по дороге, свернул на тропу. Вода, лес и скалы. Тихо, тепло. Коровы пасутся. Под ногами в траве черника, даже поздняя августовская земляника. Суета и сердечное смятение не тотчас от меня отступились, не сразу исчезли тревоги, и не в тот же миг посетили меня благие мысли. Нет, душевная ржавчина отпадала на Валааме по малым частям, не за один день. Я углубился в лес, долго искал, где присесть. Сменил три места, мне не сиделось. Какие запахи, какие звуки и какие пейзажи обступали меня! Воздух, насыщенный озоном, пахнувший сосновой иглой, совсем сморил. Но, улегшись в траву, я не сумел подремать. Черничная полянка и придорожная земляника напоминали далекую, запредельную пору детства. Высокие сосны, замшелые камни и пни, прихотливые дорожки и тропы. И ягоды. И синие спокойные воды в заливе. Я очнулся от густого звука — от удара монастырского колокола.

Боясь заблудиться, повернул к дому уже другой дорогой. Первый скребок по сердцу устроила мне консервная банка, затем начали попадаться пластиковые раздавленные бутылки. А вот и целая куча какой-то дряни валяется прямо на заповедной дорожке. Кто загадил, кто набросал? Туристы? Местные жители? Не монахи же...

В первые же часы пребывания на Валааме душу пронизывает по очереди то скорбь, то радость, а то приходит и просто отчаяние. (Я уже видел сегодня, как монах вежливо, но настойчиво выпроваживал за ворота монастыря пьяную, да еще и с собакой, женщину.) Женщина сквернословила и махала руками. Монахам некуда спрятаться от мирских влияний. Пестрые жители Валаама плотно окружают обитель, они приехали сюда из разных мест и живут постоянно. Кто в бывших кельях, кто построил дома. Живут, прямо скажем, по-разному.

Вот прямо на деревянных мостках, ведущих на остров Никольского скита, спит здоровенный парень. С похмелья, что ли? На плоском, видимо, теплом камне храпит второй человек. Среди белого дня. Может, им нечего делать? Я погасил в себе позыв разбудить мужиков и поспешно ретировался. А вот под горой, где печалится древняя уже опавшая лиственница, старый, явно из прежних времен, забор с кирпичными столбами. Вместо того чтобы залатать заборную дыру, кто-то полуметровыми буквами салатной краской намалевал: «Долой правительство Янаева!» Что ж, этот маляр добился своего, но теперь эту краску он, наверное, не стал бы тратить. Сэкономил бы...

Невдалеке заброшенный монастырский сад. Лучше не перечислять, что и как выращивали когда-то монахи в этом саду. Дальше я вижу жилой домик, около него тархит колесник. Еще чуть подальше маячат развалины — старый скотный двор. Совсем все развалилось. Балки и стропила сгнили — кои упали, кои опасно висят, крыши нет, ворота сломаны. Особенно опасны нависшие бревна, они еле держатся. Мне хочется найти топор и обрушить эти нависшие бревна, чтобы они не задавили кого-нибудь. Хлев пустой. Зачем держать опасные развалины в таком виде? Я уже подумывал прийти сюда с ломом, с топором и опустить на землю нависшие бревна. Зашел в хлев, слышу, кто-то шевелится. Мальчишка лет пяти сидит на потолке под развалинами. Сено свежее. Старуха какая-то появилась. Ругает мальчишку. Старуха в штанах, наверное, нездешняя. Второй мальчик, еще меньше, вылез из-под опасной кровли. Показываю на висячие, готовые упасть бревна:

- Куда это ваши мужики глядят?
- А никуда! Мужикам только пить.
- Но ведь задавит мальчишков...
- Не задавит.
- Чего они думают, мужики-то? — не отступаюсь я.

- А ничего не думают.
- Как же так? Ведь задавит.
- Доживем как-нибудь и так.
- Вы-то, может, и доживете, а они? — Я киваю на мальчишек, вылезających из-под сена.
- А пусть оне сами и думают.
- Да ведь они же маленькие!

Ухожу, чтобы не разругаться. Старуха не настроена говорить по душам. Ребятишки с любопытством слушают наш диалог. Их отец или брат у дома заводит колесник. Может, это не их отец? После разговора с бабкой я плохо воспринимаю красоты архипелага. И позже все валаамское время я ощущаю тесное контрастное пограничное состояние между делами человека и безгрешной природой. Да, да, как тесна здесь связь между мерзостью запустения и добротными творениями монашеских рук! Так близко они друг от друга. Так отрадно и облегчающе звучат молитвы и песнопения посреди безбожных слов и дел непотребных! Ангельское и бесовское — рядом. Бесы, вероятно, чуют свое скорое отступление, но по-прежнему хозяйничают в душах островитян. И приезжих, конечно. Молитвы и физические подвиги монастырской братии, послушников, верующих мирян то заслоняются мерзопакостными явлениями, то снова проявляются во всей своей силе и полноте. А может, я ошибаюсь и эти контрасты обозначены лишь в моей душе? «Силен бес, горами качает, а во мне и пяти пудов нет», — думаю себе в оправдание. И с трудом преодолеваю сонливость, голод, отвращение от зарубежных туристов, наконец, желание сходить поудить. Говорят, что как раз идет хариус, но без благословения о. благочинного, говорят, нельзя рыбачить.

Комендант Григорий все-таки дал мне припасы, чтобы устроить рыболовную снасть. Отец Борис — благочинный — благословил сходить на рыбалку. Послушник Сергей Севастьянов вызвался научить ловить хариуса. Анатолий Федорович Захаров рассказал мне кое-что по истории Валаама. Хор приезжих певцов в Никольском храме, издалека услышанный мною, был прекрасен и чист, но на душе было все еще не очень чисто. И не очень спокойно. То звучали голоса финских туристов, то вспоминался голос барда: «Года, как чемоданы, оставим на вокзале». Тыфу ты... Какие пошлые словеса. Как бездарна песенка. Представляются вдруг то чмокающий Гайдар, то облик Явлинского — этих политических нарциссов, командующих моей родиной. Вот пришел теплоход с финнами. Местные жи-

тели униженно добывают марки, продают какую-то рыбу. Нет, не позавидуешь нынешнему православному монаху или отшельнику! Многие ездят по монастырям просто из любопытства... Народ проникает в самые дальние лесные скиты. Люди, жаждущие духовного обновления, ищут помощи со стороны, вместо того чтобы каждому навести порядок в собственной душе. Ездят и путешествуют. Обращаются к монахам совершенно бесцеремонно. Стремление к вере — это еще не вера. Впрочем, все начинается с малого. И к чаше приходит каждый своим путем, и не счесть числа этих путей... Давно ли и сам ты был таковым? Да и далеко ли ты ушел от просто любопытствующих? О других судишь, а сам... с трудом преодолеваешь тщеславное чувство. И всегда ли преодолеваешь? Вот думал раньше: если человек способен подать милостыню и тут же забыть о своем поступке — это и есть подлинный христианин. Оказывается, одного этого маловато...

Мы говорим на эту тему с послушником Сергеем Севастьяновым, направляясь к месту рыбалки. Он рассказал, как ездил недавно в Палестину, сопровождая отца Рафаила. Он присутствовал на богослужении в Кувуклии. Я спрашиваю: «Сергей, а ты сам видел, как из ничего возник и зажег свечи святой огонь? Расскажи об этом подробнее...»

Очевидцев этого чудесного явления и раньше на Руси было немало, а что знает народ об этом великом чуде? Однажды в энциклопедии Брокгауза и Ефрона я случайно наткнулся на такую заметку:

«Гагара (Василий Яковлев) — паломник XVII века, казанский купец, в 1634 году отправился по обету в Святую Землю, захватив слугу своего Гараньку. Чтобы добраться до Иерусалима, он употребил более года». Далее говорится в заметке, что Гагара пробыл в Иерусалиме три дня, затем съездил в Египет к александрийскому патриарху, от коего получил грамоту к царю Михаилу Романову. «Посетив Синай, Гагара возвратился в Иерусалим, где уверовал в сошествие в Иерусалимском храме, в день Пасхи, небесного огня, так как прикладывал тот огонь к своей бороде и она не загоралась».

В БСЭ Гагару, конечно же, не допустили и близко. Вот и я узнал о казанском купце лишь под конец жизни, и то случайно. Теперь ездят в Палестину отнюдь не по году в одну сторону. А все равно много ли народу знает про небесный огонь, сходящий каждую Пасху?

Сергей Севастьянов — очевидец. Он же рассказал мне

о страшных приметах современности: о засохшей ветви Мамрикийского дуба, о некоторых палестинских явлениях и видениях, не предвещающих человечеству ничего хорошего.

Сергей сопровождал меня в наших путешествиях по некоторым скитам, когда из Питера возвратился отец Панкратий. Что такое скит времен, например, игумена Дамаскина? Это прежде всего храм с кельями, домами, иногда службами, то есть целый монастырь в отдалении от главного. Иногда одинокая келья. Отцы-пустынники, удаляясь от грешного мира, уходили в леса, в безлюдные и суровые места, вырывали себе пещеры или рубили убогие избушки. В поэтичной и доброй книге Михаила Янсона «Валаамские старцы» говорится о быте и жизни монахов и схимников. Михаил Янсон так описывает возникновение скитов:

«Фруктовый сад, большой огород. Землю зимами на себе возил, с соседних островов. Ломом откалывал, мерзлыми комьями сваливал. Двадцать лет назад. А теперь вот как все поднялось, питается, плодоносит. Воды тоже по полтораста ведер нашивать приходилось. Видали мы потом уж, как, в высоких сапогах, в белой рубашке русской, а поверх — большой крест на груди и параман на спине, с непокрытой, белой, сияющей головой, весь в радостном солнце, работает, трудится старец над землей. И поняли: вот она, мечта воплощенная. Мечта не одиночного человека, а взлелеянная миллионами простого русского народа, возвращенная веками. Еще тогда, давным-давно, когда в чаянии иной жизни уходил в дремучие, нетронутые леса подвижник и там в делях ставил свою пустынную келию, тянулись за ним и мирские, жались ближе к иноку, и предносилась им жизнь благословенная, омоленная, от Христа неотрывная.

И вот — осуществилась здесь. Вся жизнь — во Христе. Целиком, без остатка, денно-нощная жизнь, со всеми хозяйственными мелочными заботами: и гряды, и сенокос, и варенье, и хлебы».

А скитов-то на валаамских островах было сколько? Один отец Дамаскин, сын тверского крестьянина, основал Никольский, Святоостровский, Предтеченский, Ильинский... Не зря святитель Игнатий Брянчанинов советовал Николаю I сделать отца Дамаскина игуменом Валаама. В тексте к валаамскому альбому говорится: «О. Дамаскин обладал даром не только мудрого духовного наставника, но и талантами строителя, архитектора и агронома, метео-

ролога и ботаника (Дамаскин первый начал изучать климат и природу Валаама), писателя и библиографа, историка и экономиста...»

А сколько сделано было, сколько создано иными игуменами и подвижниками. И все это не раз погибало во время набегов и революций. Русские верующие строили, разрушали язычники-иноземцы. Сжигали, паскудили и свои бесы во плоти, взращенные в недрах Отечества. Отец Рафаил показал мне храм, восстановленный на Всесвятском скиту. Все стены и апсиды испещрены надписями типа: был здесь такой-то, тогда-то, фамилия и его «событьишки». Подпись: «Вожак». Под многими такими сочинениями стоят адреса. Кто они? Туристы? Высланные?

Не стал я допытываться, кто разрушал и похабил храм, не стал спрашивать и о том, почему не хватает извести, чтобы замазать эту похабщину. К тому же Сергей принес целую шляпу крупной, спелой клубники. В ожидании наместника мы устроились в келье и начали поглощать земные дары. В ожидании отца Панкратия пошли мы с отцом Рафаилом через лес вниз, к воде. На тропе попадались тут и там съедобные грибки. Ядреные. Черника, крупная, спелая. Какой чудный вид открывался с лесистой скалы над заливом! Вдруг я весь содрогнулся от омерзения: черная, довольно большая змея, гревшаяся на тропке, не торопясь уползла в заросли. Как же много лет прожил в скальной пещере в соседстве со змеями иеросхимонах Никон? Царь Александр I посетил в 1819 году эту пещеру. Митрополит Михаил всего лишь похвалил жизнь пещерника, Никон же после этого, пугаясь мирской славы, удалился в иное место...

Хотелось мне о многом спросить отца Рафаила, но времени оставалось совсем немного. Он дал мне все же несколько духовных советов, высказал несколько пожеланий. Кротко и ненавязчиво. Он осторожно развеял мои горькие раздумья по поводу греховности литературных трудов. На пользу ли такие труды? Церковь не очень-то жалуется, например, театральную, лицейскую деятельность. Может, та же участь постигнет и нашу литературу? Вспомним на нигт пословицу «Глупый погрешает один, умный соблазняет многих». Быть может, и мне на закате жизни станет стыдно за свои писания, кто знает...

Поговорили мы с отцом Рафаилом и об экуменической ереси, так сильно и так незаметно проникшей в современное Православие. Старец назвал эту ересь главной бедой России...

Но вот настоятель приехал в скит на узике. Далее мы

должны были ехать на лодке. Отец Панкратий не благословил отца Рафаила ехать с нами в лодке на Предтеченский скит. Это было опасно. И я, может быть, навсегда расстался со схимником.

«Какой я старец, я просто старый», — шутливо говорил отец Рафаил. Отец Панкратий также не лишен юмора, хотя строг по отношению к себе и к братии.

Прекрасную монастырскую ферму, построенную более ста лет назад, я не успел разглядеть, как следовало бы это сделать. Мы спешили в Предтеченский скит. По-моему, таких ферм нет и в самых лучших хозяйствах. Она построена из красного кирпича при игумене Ионафане и напоминает скорее дворец или жилой дом, чем скотный двор. «Труд инока, кажущийся непосильным светскому человеку, радостен и легок, как бремя Христово, поскольку совершается с молитвой во славу Божию», — пишет Ал. Берташев.

Что бы мы ни говорили, о чем бы ни спорили, в конечном итоге все сводится к одному: к вере или безверию. Для меня в этом нет никакого сомнения. Русские люди явно делятся на активно верующих и активно неверующих. Вторых в России покамест несравненно больше... Но самые многочисленные — это, как говорится, ни то ни сё, ни рыба, ни мясо. Или: «Ни Богу свечка, ни черту кочерга». Как раз на три таких группы и разделился в XX веке весь русский народ.

Быть может, я говорю банальности, которые необходимо знать каждому мало-мальски просвещенному или даже просто грамотному. Тогда почему же большинство людей не знает простых этих истин? Ведь большинство как раз достаточно грамотно. Есть, конечно, и просвещенные, но просвещенные, увы, не светом Христовым. Слово «просвещение» давно утратило свой первоначальный, гоголевский смысл. Безбожная интеллигенция много сил положила, чтобы лишить это слово первоначального смысла!

Градация между истинным *просвещением* и просвещением в нынешнем понимании так многообразна, так многочисленна, что мне ее лучше не трогать. Просвещенное общество, во-первых, поставило в один ряд с православной, истинной восточной верой буддийскую, магометанскую и иудейскую. словно это нечто равносильное в истине. И непонятно для него, отчего православные патриархи критикуют Папу Римского. Для большинства обывателей (вплоть до имеющих институтские дипломы де-

путатов) что православная вера, что католическая или иудейская и мусульманская. Никакой, мол, разницы. Во-вторых, не ведают депутаты и просвещенные разницы между католиками и отколовшимися от католиков протестантами. Поэтому и непонятна для них кровавая борьба, например, в Ольстере.

Да что вспоминать примитивность представлений об одинаковости всех (вплоть до сатанинской) религий, если «просвещенные» не знают разницы между такими понятиями, как чувственное (эмпирическое), душевное и, наконец, духовное восприятие мира! Такое «просвещение» все свалило в одну кучу. Что греха таить, и сам-то я совсем недавно был в числе таких «просвещенных»... Не больно-то легко, словно барону Мюнхгаузену, вытаскивать самого себя из атеистической трясины. Сначала надо было хотя бы остановить погружение, чтобы не задохнуться...

На этом месте как раз и просится к объяснению такой религиозный термин, как «благодать», но я для этого не имею ни места, ни времени, ни способностей. Найдутся и другие для этого, не такие косноязычные... Одно знаю твердо: что далеко не каждый термин можно и нужно расшифровывать, что человек может безнаказанно покушаться далеко не на каждую тайну. Есть вещи в нас и вокруг нас не объяснимые, сопротивляющиеся любым объяснениям, как бы нахально и смело мы к ним ни приступали.

Именно такое ощущение не покидало меня все четыре дня валаамского пребывания. Особенно проявилось оно при посещении Предтеченского скита. Мы ехали туда на моторной лодке по каким-то заливам, по каким-то протокам, устроенным задолго до нас. Берега были выложены громадными валунами. Следы какого гигантского, какого бескорыстного труда! Не верится, что все это было сделано руками: и протоки в каменных ложах, и величественные поминальные кресты, и дороги среди лесных скал, и причалы, и одряхлевшие ныне лестницы, и кельи-избушки, и прекрасные, почти разрушенные ограды скитов, и церкви, и многочисленные часовни... словно кто-то физически помогал монахам, нашим предкам, строить все это!

А кто разрушал? Мы молчим, размышляем. Отец Панкратий завладел у Сергея фотоаппаратом. Сам снимает пейзажи с водой и лесом. Как прекрасны они, эти пейзажи, даже в соседстве с руинами, этими униженными, но полными достоинства свидетелями былого.

На Валааме есть все. Древность русской истории, камни и скалы, чистейшая, необозримая вода, хвойный и лиственный лес. И вновь теплится на этих островах вера Христова! Пока она скорбно и мощно звучит в песнопениях, в молитвах не очень многочисленной братии, в молитвах еще менее многочисленных паломников. Есть надежда. Сам Патриарх Алексий II, еще девятилетним мальчиком приехавший сюда, следит за возрождением древней русской святыни. Но монастырь, его главный, Спасо-Преображенский собор до сих пор оплетены строительными лесами. Мощные бревенчатые постаменты, многэтажные настилы уже чернеют от многолетних ветров и дождей. Возможностей для продолжения реставрации нет. Порядка на островах, не считая монашеского, тоже пока нет. А тут еще постигла Россию эпидемия суверенитетов. Ничего себе словечко! Натощак не выговоришь. А что, если по примеру чеченцев потребуют независимости все сорок национальностей, живущих в одном Моздоке?

Демократы не отвечают вслух, что тогда будет. Но они знают, чего хотят. Они хотят уничтожить Россию. Разговоров об этом с валаамскими насельниками я не то чтобы избегал, просто сама здешняя природа и монастырская атмосфера не способствовали этому. А может, и на здешних безбожников это обстоятельство действует? Судя по валаамской свалке и по заборному лозунгу, пока не очень действует.

Предтеченский скит возвышается на суровом трехкилометровом острове Ладоги. Ветер шумит над ним, вокруг день и ночь плещутся волны. Скучные силы трех-четырех здешних монахов поддерживает братия главного монастыря, однако, восстановление Предтеченской церкви идет медленно. Пока строят дом для жилья.

Мы поднимаемся по замшелым ступеням высоко вверх. Мощные, тревожные ели с густым подсадом, мшистые скалы... Поклонный крест, несколько келий, в том числе и настоятельская. Отец Панкратий любезно предлагает мне здесь ночевать, но я должен покинуть остров сегодня. Во время скромного чаепития в закопченной избушке отец Панкратий добродушно подшучивает над Сергеем, якобы неудачно снимающим ладожские пейзажи. Подшучивает и над еще не старым монахом, который постоянно живет в скиту, отчего совсем забыл некоторые необходимые слова. К сожалению, я не запомнил его имя. Другой монах, отец Василий, прячется за плечи своего товарища, когда Сергей пробует фотографировать всех нас.

Поклонный крест, стоящий над Ладогой на отвесной скале, величественен. Вершины могучих еловых и сосновых дебрей под нами. Далеко внизу синеют озерные воды. Видно, как бесчисленные волны с белыми барашками на гребнях бегут и бегут к здешним скалам. Еще шире открываются перед нами ветреные просторы Ладоги когда мы ярус за ярусом поднимаемся по строительным лесам. Я уже хотел остановиться на третьем ярусе. Но неужели я и впрямь устарел? Вон отец настоятель легко поднимается на четвертый и даже на пятый ярус. Здесь ладожский ветер пробует сдирать мою кепчонку, леса скрипят. Чуть-чуть качаются, подрагивают, словно палуба старинного парусника, но стоят прочно. Отец Панкратий по отвесной, весьма ненадежной лесенке смело следует дальше вверх, на последнюю площадку, построенную вокруг креста.

Отсюда мы с минуту любуемся сине-стальной Ладогой. Я долго держался за медное литое основание креста, сохранившееся еще со времен Годунова. Как трагична история одного этого храма! Наемники Делгарди не смогли навек уничтожить Предтеченский скит. Вернее, русские столько же раз его восстанавливали, сколько раз шведы его разрушали.

Спустившись, мы еще раз навешаем скитский колодец. Как поднимается озерная вода на такую высоту по скальным породам? Удивительно!

Не менее удивительно и трудолюбие русских монахов, в свое время корзинами таскавших на эти скалы землю, а воду — деревянными ведрами. Сейчас скитские монахи с некоторой гордостью показывают свои нынешние ягодные насаждения. Мы прощаемся. Радуга неожиданно встала над озером и скитом. Сергей говорит, что она встала нарочно для нас, он торопит отца Панкратия сфотографировать этот великолепный вид. Радуга действительно быстро исчезла. Сумерки затаились в лесу, но ладожская вода роскошно и сурово переливается медью. Мерцает она и серебром, и вечерним сусальным золотом. Шумит озеро. По довольно крутой и опасной волне возвращаемся в монастырь, причаливаем на Никольском острове. Прощаюсь со своими новыми знакомцами. Отец Василий, видимо, на лодке возвратится на Предтеченский. Пробую подарить ему свой зонтик, но он не берет. Взял все же, чтобы не обидеть меня, и то лишь после разрешающей реплики отца Панкратия.

Вскоре я покинул архипелаг...

Отец Панкратий еще успеет рассказать мне несколько

удивительных историй, происшедших с нынешними насельниками монастыря. Истории эти порой трагичны. Неповторимы они, и я не осмеливаюсь смущать читателя теми порой вполне детективными происшествиями. Даже разговор об удивительной валаамской природе несколько пугает меня. Я как бы рекламирую Валаам, приглашая туда безобразные толпы туристов. Монастырь не боится паломников. Но туристы...

О, я узнал, что такое нынешние туристы. На роскошном теплоходе, в роскошных ресторанах и барах, в двухместных и четырехместных каютах... О туристах лучше помалкивать. Двое совсем юных монахов, Сергей и Михаил, плыли со мной в Питер в одной каюте. Они подарили мне на прощание книжку «Валаамский летописец». С добродушными улыбками рассказывают, как пристают к ним некоторые люди. Особенно возмущает звание монаха некоторых экзальтированных дамочек. «Привет, папик!» — фамильярно возгласил какой-то интеллигентного вида молодой оболтус при встрече с Сергием на теплоходной палубе.

Не знаю уж, что ответил ему Сергей. Скорее всего, промолчал.

А ты, спрашиваю сам себя, смог бы ты промолчать? Простить бестактность, хамскую реплику? Увы, увыв... Пожалуй, пока не смог бы.

На вокзале, уезжая из Санкт-Петербурга, обнаружил в кармане не использованные жетоны для междугородного телефона. Чтобы они не пропали, предложил их первому встречному. Тот, кажется, испугался и подальше, подальше от меня. Второй тоже: «Куда мне их?» Третья — девушка — тоже не хочет брать. Нищих полно в Питере, а жетоны не берут. Но я же от чистого сердца, чтобы не пропали! Не может быть, чтобы вон хотя бы тот мужчина никогда никуда не хвонит по междугородному. Ему бы пригодились.

После четвертого обращения я бросил в урну горсть жетонов и побежал к отходящему поезду. Вскочил в вагон чуть ли не на ходу...

Нет, если и сформируются в России когда-нибудь подлинное сословие (так необходимые для всероссийского собора), то пусть начинается это формирование с монашеского сословия. Глядишь, дойдем и до офицерского, и до крестьянского. Чем больше их будет, сословий-то, тем лучше.

Конечно, бомжи с банкирами — это никакие не сословия...

ТЯЖЕСТЬ КРЕСТА

(воспоминания о В. М. Шукшине)

Осмеливаясь на эту рукопись, я набросал план из восьми разделов. Вот они:

1. Родина. Детство (по циклу «Из детских лет Ивана Попова» и воспоминаниям Марии Сергеевны, матери Шукшина).

2. Перед уходом из материнского дома. Первый бросок из Сросток. Техникум в Бийске. Разочарование. Возвращение домой. Воспоминания матери.

3. Второй бросок. Алтай оставлен. Сибирь за спиной. Какая она, Европа? Близость Москвы. Случайная встреча с Пырьевым.

4. Рабочий период. Май 1947 — январь 1948, Калуга. Январь 1948 — апрель 1948, Владимир. Апрель 1948 — август 1949, ст. Щербинка. Москва и впрямь не верит слезам.

5. Служба на флоте (Ленинград — Севастополь), август 1949 — январь 1953. Мечты. Демобилизация.

6. Второе возвращение домой. Женитьба. Школьная «эпопея». «Директорство» и РК ВЛКСМ. Аттестат. Второй бросок на Москву.

7. ВГИК (с июня 1954). Преподаватели. Вторая женитьба. Заботы о родных. Кинематографические дебюты. Третья женитьба. Семья. Артист кино. Литературные дебюты. (Режиссерские сценарии, роман, рассказы.) Борьба за место под солнцем.

8. От Пашки Колокольникова до Ваньки, которому надо держать ухо востро. Киносценарии. Первая книга. Поездки за границу. Опыт бомжа. Прописка. Планы, труды. Встреча с Шолоховым. Интервью Цитриняку и болгарину Спасу Попову. Неожиданная смерть. Слезы матери — слезы России. Что бы сказал Шукшин, если бы остался живым?

* * *

Конечно, план одно, а его выполнение нечто иное... Обычно планы трещат почем зря, особенно в экономике.

Но ведь и выпонялись они сколько-то, пусть хотя бы наполовину! В те же пятилетки и семилетки. Сделано было так много, что нынче и не представить. Совсем без плана? Хуже было бы, это надо признать... Один плотник Нестерко мог без плана воздвигать гениальные творения и бросать свой топор в озеро, всем же остальным нужен был хоть маленький, но чертежик, примерный хотя бы план, что делать и что не делать... Так и у нашего брата, литератора, журналиста или иного какого деятеля.

Пусть выполнишь отнюдь не все, но хоть что-то, да сделаешь. А иногда и перевыполнишь... «Дерзай! — внушаешь себе. — Все у тебя получится». Так называемое кредо (какое неродное слово!), писательское кредо, было выработано мною не без помощи Макарыча. Оно отражено в книге «Лад». В противовес дьявольскому разладу наш православно-этический лад не позволяет душе двоиться, трюиться или вообще дробиться на мелкие части. Такому ладу, я думаю, отнюдь не противоречат высокие жизненные цели и, на первый взгляд, непосильные задачи, вроде создания шедевров, подобных Кижам. Все это так, но как определить, на что ты способен? Вот тут-то и требуется дерзостный, смелый шаг. Бог помогает дерзающим... Тяжесть жизненного креста, если человек встал с колен и шагает истинно православным путем, увеличивается с каждым последующим шагом. Такое, то есть религиозное, отношение к жизни постепенно и сперва неосознанно вырабатывалось в моем сердце. Оно объясняет сейчас и мою чисто литературную задачу, поскольку я дерзнул заняться именно литературой, а не каким-то другим делом. Я рассуждал просто: надо, как штангист-физкультурник, мечтающий о рекорде, постепенно наращивать граммы и килограммы на своей штанге. (Сравнение в эстетическом смысле ужасное, спорт, на мой взгляд, произошел отнюдь не из христианской стихии, зато сравнение логически точное.) Мне казалось, да и сейчас еще кажется, что я не надорвусь, если буду понемногу увеличивать тяжесть на штанге. Но как, и кто, и какими килограммами измеряет художественную тяжесть? Только ты сам, с помощью какой-то таинственной силы... Никто не запрещает тебе ставить поистине божественные задачи! Стремись быть лучше Толстого и Пушкина (только молчком), получится, быть может, не хуже, чем у Тургенева. Стремясь делать не хуже, чем у Тургенева, авось, и напишешь не хуже Глеба Успенского... Если ориентируешься на Глеба Успенского, то, как у Тургенева, у тебя наверняка не получится. Вели-

чина и сложность художественного замысла помогают максимуму исполнения. Одним словом, максималист. (Опять не свое, не родное слово? Конечно, не свое, но со временем станет и своим.)

*Боюсь, что не будет над нами
Таинственной силы,
Что выплыв на лодке,
Повсюду достану шестом, —*

писал Николай Рубцов, не стеснявшийся сравнивать себя с Тютчевым и Есениным. Что бы с ним было, если б он стеснялся?

Василий Макарович Шукшин, как мне представляется, был максималистом, его жизненный путь усыпан максимальными трудностями, максимальными замыслами, а то, что им свершено, останется в русской культуре. (Являются ли максималистами Тарковский или, скажем, Евтушенко? Решите, читатели, сами...)

Вот примерно таких взглядов я придерживался во время моего знакомства с Макарычем. Наша многолетняя дружба случайной не была.

Тяжесть шукшинского креста с годами все увеличивалась, но Макарыч шел на свою Голгофу, не оглядываясь и не озираясь. «Как горько мне было уезжать!» — говорит он о первой, еще краткой разлуке с родным домом. Вторую разлуку Шукшин описывает так: «Душа потихоньку болит — тревожно, охота домой. Однако надо выходить в люди».

Поступление его в техникум я назвал первым вполне осмысленным броском из крепких материнских рук, из прочных деревенских объятий. Сельский парнишка, лишенный не только родного отца, но и отчима, становится мужчиной, берет на себя ответственность за мать и сестру.

Учиться! Учиться во что бы то ни стало, чтобы, во-первых, облегчить ношу, сдавившую материнские плечи. Но какое надо было иметь упрямое мужество, чтобы отказаться от учебы и привезти обратно к матери «постельную принадлежность», когда почувствовал, что автомобильный техникум — это совсем не то, что надо нечто другое, что для того другого необходимо двигаться в европейскую часть государства. «Поучившись полтора года, бросил учебу, пошел работать, — пишет Шукшин в автобиографии

1973 года. — Работал сперва в колхозе, потом с 1947 на стройках...» Стоп!

Прервем на минуту наше повествование, осмыслим, чего это стоило матери, Марии Сергеевне. Из техникума он ушел и уехал с Алтая. Ближе к Москве...

Но вот и первая серьезная радость: денежный перевод родным на Алтай. Не ахти сколько, но все же... Где только ни носило, кем только ни вкалывал, чтобы самому прокормиться, одеться-обуться, да и послать денег в Сибирь. Такелажник на строительстве турбозавода в Калуге, слесарь на тракторном заводе Владимира, слесарь на ремонтно-строительном поезде ст. Щербинка... И почти с каждой полочки переводы в Сибирь. Немного, но душа смягчела от почтовых квитанций, эти переводы не давали ожесточиться.

В такой тревоге за будущее сестры и матери настигла Шукшина необходимость служить действительную. Военно-морской флот, Ленинград... Флотская романтика (тельняшка, бескозырка, военные корабли) слегка скрасила суровость матросской жизни, но никуда не делись ни заботы о матери и сестре, ни почти несбыточные мечты о десятилетнем образовании*. Появляются друзья из офицерской и матросской среды. Другой мир, другие впечатления! А вот и Черное море, солнечный город Севастополь, отстроенный после кровавой войны, город сопок и флотских музеев, пронизанный золотыми лучами русской истории. Здесь Василий Шукшин становится старшим матросом-радиостом. Должность хоть и невелика, но позволяет ежеквартально скопить денег и послать на Алтай. Но где же среднее образование? Его нет... Время идет, вот уже и на третий десяток двинуло. Аттестат зрелости даже и не маячит, он все еще в морской дымке... Как повернется судьба после службы? И далеко ли уедешь на морзянке и художественной самодеятельности? Свистеть умеешь так, что ребята в восторге... Тужи не тужи, служба быстрее не побежит. Одно спасение — новые книги, да еще — кое-что начал на досуге записывать. Да что толку от этих записей и пустых мечтаний? Надо делать что-то более серьезное, как хотя бы тезка Ермилов. Его художественные опыты заражают не только Шукшина, но кое-кого даже из офицеров. Не от этих ли ночных раздумий завелась изжога? Желудок ноет и ноет...

* В ту пору учиться в вечерних школах разрешалось только офицерам либо сверхсрочникам («сундукам», как мы их называли).

В январе 1953 года Военно-медицинская комиссия из-за язвенной болезни списала старшего матроса Шукшина с корабля... Прощай, Черное море. Поезд стучит колесами по снежной бесконечной России, стучит и сердце — то тревожно, то радостно. Час за часом ближе и ближе к родным. Вот и Алтай за окном! Как-то там в Сростках мать и сестренка? Мелькают один за другим березовые колки. Но лишь в Бийске, когда выбрался на Чуйский тракт, почувствовал, что теперь он дома, минутное дело — и Сростки.

Вот и знакомый заборчик с родимой калиткой. Радостным визгом встретил Шукшина пес Борзя, в слезах выбежали из дома Мария Сергеевна и подросток сестра Таля, прибежали соседи. Что тут началось! Не мог и сам удерживать счастливых слез...

При первой возможности, после застолья, когда угомонились родственные восторги, накинул шинель, вышел к реке. Взглянул в сторону гор, окинул поспешным взглядом заснеженную тополиную рощу на Поповом острове. Тихо. Только в камнях глухо шумит незамерзшая часть родимой реки. Скорей на Пикет! И когда вышел на громадный крутолобый и широкий увал, добрался до того места, где резко и круто, почти под ногами обрывается он, захватило дух от простора, от бескрайности отцовской земли, заплакал чуть ли не в голос. Оглянулся. Никого вокруг не было... Чуть не бегом спустился с Пикета. Пришел в себя около сестры и матери, слегка успокоился и только после этого начал ходить по родне, кого не успел встретить на чаепитии. Хотелось обнять каждого, даже незнакомого встречного. Но главный визит после родственников — школа, библиотека. Не пропадем! Сразу же, не теряя ни одного дня, в рукопашную за учебу...

А Катунь глухо и спокойно шумела за шукшинской спиной, весна торопилась в Сростки. Небо разверзлось над Пикетом еще светлее и шире, еще дальше стала видна родная Сибирь.

Да, пожалуй, и некогда любоваться меняющимися по цвету просторами, обложился учебниками. Прорвемся, он обязан взять эту крепость! Заветный аттестат зрелости даже снился во сне. Зрелости? Какой такой зрелости, он давно созрел, вот залечить бы только проклятую язву. Мать достала у знакомых пчелиного меду. А пчелки уже летают по сибирским цветочкам. Как прекрасна земля в цвету!

Визит в райком не исчез бесследно. После того, как

поставили на учет, Шукшину предложили работу в Сросткинской школе. В том же 1953 году Шукшин становится вторым секретарем Сросткинского РК ВЛКСМ, о чем свидетельствует К. Николаенко в барнаульской газете «Голос труда»: «...я был в командировке в Бийске. В номер гостиницы, где я жил, поселили второго секретаря Сросткинского райкома комсомола В. М. Шукшина». («Голос труда» от 31.12.99.) В автобиографии 1973 года Шукшин не упоминает об этой работе, он как бы стеснялся ее афишировать. Слишком не совпадал данный кусок жизни с судьбой расстрелянного отца, судьбой всей родни, да и всей биографией самого Макарыча! Со мною он говорил об этом эпизоде с улыбкой, и то потому, что я тоже прошел партийную школу.

...Казалось, матросский период благополучно завершен, но снова появилась изжога, язва не зарастала. Сколько же раз глотать эту жуткую кишку? Гастроскопия вновь подтвердила диагноз, а учеба в полном разгаре. Работа нашлась, и женитьба приспела — а куда от нее денешься? Лихая была пора для Макарыча, ничего не скажешь! Подсобляли ему все: мать и сестричка, родня отцовская и материнская, учителя и дружки-одногодки, работники клуба и сросткинской библиотеки. Наконец победа, сдан последний экзамен, получен заветный аттестат зрелости!

Как досталась матросу эта победа, Макарыч особо не распространялся, никогда не рассказывал он и о первой женитьбе... Только глухо покашливал, переводил разговор на другие темы. Все эти годы он тайно вынашивал план второго броска на Москву. По-видимому, как раз весной и летом 1954 года он твердо решил покинуть Алтай. Наверное, великая жалость к жене, матери и сестре точила ему сердце, когда он думал о своих планах. Для будущих честных биографов Шукшина не помешает и сценарий «Позови меня в даль светлую», и нехитрая сибирская песенка «Миленький ты мой», и некоторые рассказы, пронизанные болью не только за мать и сестру, но и за женщину, оставленную в Сибири. Разрыв с этой женщиной был предопределен переездом в Москву, которая не верит никаким слезам.

Только мать Мария Сергеевна простила ему все, что связано с новой разлукой; жена, кажется, не простила... К тому времени скопилась порядочная папка с рукописями, пресловутый аттестат зрелости вместе с этими рукописями подбадривал Шукшина. Он скопил какие-то

деньги, поднапрягла семейный бюджет мать, и к осени 1954 года он все бросил и ринулся в Москву. Словно с головой прыгнул в холодный омут! Что ждет его? Какие напасти припасает судьба, как «опружить»* эти напасти? Надо поступить в институт, чего бы это ни стоило!

Бывший матрос трусливым не был. Без колебаний отыскал он калитку на Тверском бульваре. Редакцию журнала «Знамя» он вряд ли заметил, но по скверу Литературного института шагал с замирающим сердцем. Бронзового Герцена в то лето тут еще не стояло. Шукшину не понадобилось заходить в главное здание, на фронтоне которого красовались знаменитые музы. Приемную комиссию он обнаружил во флигеле. На какого цербера нарвался Шукшин со своей рукописью? Или какая-то серая московская галка пропищала жестокую фразу? Надо пройти конкурс. Художественный, причем... Исписанную от руки пачку листов даже не стали читать. Сердце его обрушилось. Что ж, конкурс, значит конкурс... Кто там сидел, не Юрий ли Пухов, которому через несколько лет униженно заглядывал в глаза и автор этих воспоминаний? Я волновался не менее Шукшина. По утрам ежедневно мы приезжали на Тверской бульвар, бежали в приемную: не вывешены ли списки принятых? Наконец появились эти списки, на отвергнутых было жалко глядеть.

Мне не известно, кто завернул Шукшина из Литературного института. И я тоже с тревогой ожидал «от ворот поворот», пока не вывесили фамилии принятых. Не думаю, что дело решил художественный конкурс, решающим был не конкурс, а партбилет, выданный Кагановичским райкомом города Молотова. Восьмимесячный секретарь РК ВЛКСМ сравнительно безопасно прорвал ограду, воздвигнутую вокруг Литературного института, и ректор Серегин метил меня в секретари комсомольского комитета. Ограда была действительно выше самой колокольни. Сейчас, осмысливая шукшинский провал с Литинститутом, я думаю, будь на месте первого встреченного на шукшинском пути в вуз не цербер и не бездушная дамочка, а сам ректор Иван Николаевич Серегин, он бы разглядел в матросе то, что надо. И неизвестно, по какому пути пошел бы дальше Василий Макарович Шукшин, то ли скользкой тропой всяких Эйзенштейнов, то ли каме-

* Слово «опружить», использованное Макарычем в одном из писем ко мне, я представляю в связи с возом сена или хлебных снопов. Специальным жимом, то есть большой жердью, и веревкой опружают, стягивают воз, чтобы не растряссти по дороге.

нистым шляхом Шолохова. Так решаются судьбы русской культуры: то гавкающими церберами, то ехидным шебетом столичных пташек. Шукшин повернулся и вышел. Он был близок к отчаянию. Ведь в ту пору еще не было в Алтайских горах ледника с его именем, не было бюста в родном селе. Планета имени Шукшина в небе тоже явилась намного позднее...

Предстояло самому преодолевать московские льды, карабкаться по холодным скалам на пути к диплому. Сколькo снега и льда, сколькo неверных осыпей и предательских острых камней! Если б он четко представлял все это, он, быть может, после холодной встречи с Литинститутом махнул бы рукой и подался бы на вокзал, уехал обратно в Сростки к своему добродушному Борзе. Но Макарыч был не таков...

Провидение отвело его от Архивного института, куда он поступал параллельно с ВГИКом. Вот он стоит перед не менее опасными дамочками, не допускающими случайных людей ни к литературе, ни к искусству. Велика Россия, бездонна и неисчерпаема! Безблагодатна пока столица ее Москва, несмотря на святые соборы. Но попадают и в Москве сибирские мужики вроде Пырьева либо Охлопкова...

Осенью 1954 года насмешники тиражировали анекдоты про алтайского парня, вознамерившегося проникнуть в ту среду, где, по их мнению, никому, кроме них, быть не положено, взобраться на тот Олимп, где нечего делать вчерашним колхозникам. Отчуждение было полным, опасным, непредсказуемым. Приходилось Макарычу туго среди полурусской, а то вовсе не русской публики. Часто, очень часто он рисковал, без оглядки ступал в непроходимые дебри. Вспоминалась иллюстрация в детской книге «Тысяча и одна ночь». Синдбад-мореход попадает в долину змей. Долина кишит разнообразными рептилиями, шипящими, свивающимися в клубки и кольца. Как уцелеть среди этого ужаса?

Спасали его книги, спасали, но не спасли. Даже будучи признанным всею страной, он шел по долине и озирался каждую секунду, ожидая ядовитого укуса, змеиного броска. Как ему еще удалось так далеко пройти по этой змеиной долине? Его кончина для меня и сейчас так внезапна, так нелогична, я просто не буду о ней рассказывать...

Смерть Шукшина, на мой взгляд, подобна смерти Есенина. Шипенье змей продолжается, яд копится, истекает

с их гнусных зубов даже после смерти Макарыча. Змеи, вернее, черти, захватившие монастырь, пишут этим ядом нашу историю... Прочтите хотя бы «юбилейную» статью Юрия Богомолова в «Известиях» от 30 июля 1999 г. Вы убедитесь, что шельмование шукшинского наследия за четверть века отнюдь не прекратилось.

* * *

В дневниках за 1817 год Василий Андреевич Жуковский оставил нам вполне загадочную, если судить с марксистских позиций, фразу: «Счастье не цель жизни». Александр Пушкин вслед побежденному своему учителю говорит, что «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Наконец, и Федор Тютчев однажды вскользь обмолвился о стыдливости страданий у русского человека, называя эту стыдливость божественной.

Стыдливость страдания, иначе говоря, терпение, нежелание жаловаться и мстить за личные обиды — вот главные христианские свойства. Кажется, лишь эти свойства и отличают русских от обитателей протестантской Европы, а может, и от мусульман великого азиатского континента. Конечно, русский характер вовсе не ограничивается упомянутыми свойствами. Когда иссякает народное терпение или грозит опасность Родине, он, русский человек, становится суров и грозен до непредсказуемости. Но именно тютчевская божественная стыдливость страданий приходит на ум (причем без очереди), когда я пытаюсь понять самого себя. Вот я разбираю свою родословную и пробую как-то осмыслить зигзаги российской судьбы.

Увы, я сознаю, что мне далеко до христианского всепрощения, хотя и стремлюсь к православной вере.

Помню, какая удушливая горечь всколыхнула однажды мою душу, какая обида обожгла сердце, когда в Литинституте руководитель поэтического семинара Л. И. Ошанин, человек в общем-то безобидный, назвал мое стихотворение кулацким.

Штампы вульгарного социологизма особенно раздражали Василия Шукшина, Макарыча, как звали его немногочисленные ближайшие друзья. Не знаю, читал ли он дневник Жуковского, но, судя по всему, в конце жизни, перед ничем не объяснимой смертью, тютчевская стыдливость страдания не покинула создателя фильма «Калина красная». Хотя главным событием для русской

культуры, по моим представлениям, стала его пьеса, где сказочный Илья Муромец бросил сакраментальную фразу, давшую Шукшину название произведения: «Ванька, смотри!» Этим «смотри!» неожиданно и странно погибший Шукшин сказал свое завещание друзьям и всем, кто считает себя русским. Горестные размышления о последующих российских событиях лишь подтверждают, что как раз эти слова и есть подлинное завещание Макарыча.

Змей Горыныч вновь сделал для нашей Родины все, чтобы ее оскорбить и унижить. Русские люди клюнули на перестроечную приманку... Пословица «нет худа без добра» здесь неуместна. Мы просмотрели даже трехмесячные жестокие бомбардировки Югославии. Оставили дружественную Сербию наедине с натовскими башибузуками. Кажется, что и до сих пор Ванька не совсем понял, с кем дело имеет и что его ждет. Сидя у телевизоров, мы подставили свои уши для очередной идеологической лапши. Эту лапшу бжезинские и киссинджеры старательно варят для нас в десятках и сотнях американских университетов. Вся жизнь и все творчество Василия Шукшина разве не доказывают правоту подобного утверждения?

Никогда не был я рьяным любителем кинематографа, считая кино синтетикой в искусстве. Об этом я твердил в своей публицистике еще при жизни Макарыча. Может быть, потому и пропустил фильмы с участием Шукшина. (Даже хуциевскую ленту «Два Федора», одну из лучших актерских работ Макарыча, смотрел с большим запозданием.)

Впервые я услышал о Шукшине году в 56-м, от вологодского поэта Игоря Тихонова*, активного и весьма способного участника местного литобъединения. Мы собирались в редакциях газет, обсуждали свои опусы, спорили, но время так называемой «оттепели» никто из нас не почувствовал. Насколько помнится, всю жизнь стояла идеологическая «холодьюга»... Тихонов был знаком со всеми актерскими работами Шукшина, с восторгом встретил он и его первую книжку «Сельские жители». Сам Игорь был незаурядной, несколько бесшабашной личностью, из числа тех русских парней, которые из-за войны и нужды не имели ходу в культурную привилегированную среду. Отсутствие десятилетнего образования держало за хвост миллионы российских юношей. По этой причине все до-

* Игорь Тихонов погиб недавно в драке под Вологодой.

роги к литературе и научной жизни были для них плотно закрыты. (Автор этих строк, впрочем, как и Шукшин, долго принадлежал именно к таким.) Игорь Тихонов, благодаря молодоговардейцу Владимиру Котову, уже опубликовал тогда первую книгу стихов «Северянка». (На этом он вроде бы не закончил литературную свою стезю, издал еще две книжечки.) Но семья копилась, надо было работать, растить детей, и поэтому он не смог обзавестись аттестатом зрелости. Зато культурную жизнь страны знал не хуже столичных литературных жлобов. Он искренне радовался тому, что наконец-то я заимел «бумагу» для продвижения, что я уехал учиться в столицу. В один из моих приездов на Вологодчину он рассказывал о Шукшине, о его работе в «Двух Федорах», о первой шукшинской книге. Где-то я приобрел «Сельских жителей» и поразился удивительному сходству своего и шукшинского детства. Через издательство я послал автору письмо, где восхищался рассказами*. Вначале я даже не думал о личной встрече с Шукшиным. Со всем пылом неофита осваивал Москву. Четыре десятка однокурсников составляли пеструю публику. Москва вскармливала своих будущих недругов. Шестнадцать студентов из одной Туркмении, из Азербайджана человек семь, я всех помню в лицо. Южане, особенно туркмены, частенько экономили воду в туалете, случался, видимо, этот конфуз и с русскими, но русских-то на курсе было раз-два и обчелся. Главным образом москвичи — в общежитии жило всего человек пять. Порой я краснел за наши туалеты и брал на себя функцию уборщика, спускающая из бачков не спущенную воду. (Какой материал для «МК»!) Мои романтические устремления жестоко страдали, тем более что в коридорах общежития иногда можно было встретить знаменитую Татьяну Самойлову. Вся Москва в ту пору была очарована фильмом «Летят журавли». Татьяна с мужем жила у нас в общежитии. Здесь же обитали слушатели Высших литературных курсов и почему-то киносценаристы.

* Во время чуть ли не четырехгодичной солдатской службы такое же сильное впечатление оставила повесть Федора Абрамова «Безотцовщина», что и привело поезднее к личному и довольно близкому знакомству с автором. В армии же заметил меня Александр Решетов, он опубликовал мое стихотворение в ленинградском «толстом» журнале. В 1957 году на ярославской встрече молодых руководили семинаром Николай Старшинов и Ярослав Смеляков. Тогда Ярослав Васильевич запиской рекомендовал меня в Литинститут. Кстати, Игорь Тихонов с успехом участвовал в этом же ярославском семинаре.

Однажды кто-то из студентов заглянул в мою комнату и попросил сходить на тот этаж, где проживал один белорусский сценарист. Мне сказали его номер. Я нашел комнату, постучал. Все стены были увешаны страницами очередного киносценария. Свой рабочий стол киносценарист уступил мужчине средних, как мне показалось, лет. Он сутуло сидел за столом прямо в темно-коричневом зимнем пальто. Обернулся на мой приход с широкой, но несколько грустной улыбкой. Произнес глуховато:

— А, дружище, так это ты Белов? Придется нам познакомиться...

— Это Шукшин, — сказал несколько недовольный киносценарист.

Я за руку поздоровался с обоими. Присел на свободный стул. Мы обменялись несколькими дежурными фразами.

И для Шукшина, и минского киносценариста я был всего лишь студент, которому не положена отдельная комната. Я испытывал неловкость и вскоре ушел, сообщив номер своей комнаты, где жил с Юрой Ладохой*. Вскоре я вновь встретился с Макарычем. Это было в пору его работы над фильмом «Живет такой парень». К этому времени я каким-то образом тайно от коменданта занял свободную комнату и благодаря этому за две недели написал повесть «Деревня Бердяйка», с которой и началась моя прозаическая деятельность. Мою «Бердяйку» напечатал в своем альманахе Борис Зубавин.

Раз в неделю я посещал семинар Льва Ошанина, где мы обсуждали друг друга. Лидировали Гена Русаков, Ваня Лысцов, азербайджанец Фикрет Годжа, горноалтаец Паслей Самык. Вроде не на последнем счету числился и аз грешный с Валей Ермаковым. Италмаз Нуриев и Огульгэч Оразбердыева смело отстаивали будущее туркменской литературы. (Половина их остальных земляков по каким-то причинам отсеялась.)

Однажды Лев Ошанин устроил нам экскурсию на «Мосфильм», и я впервые наяву увидел, как делаются кинофильмы. Мне это совсем не понравилось...

* Юрий Ладоха, рожденный в тюрьме, занимался в ту пору йогой и часто в прямом смысле стоял на голове. По окончании учебы он стал православным священником. Об этом уже в пору перестройки мне сообщил другой Юра, по фамилии Баранов, который после института бедствовал где-то в Казахстане и просил помощи. Начиналась горбачевская катавасия.

Режиссер Скуйбин снимал фильм по повести Тендрякова «Чудотворная». Тендряков то и дело вмешивался в работу:

— Володя, да убери ты эту самоварную трубу!

Говорилось о школьной модели ракеты. Обезноженный Скуйбин распорядился убрать муляж. Снимали ссору двух подростков-школьников. «Зараза ты! — запомнилась фраза. Сценка дублировалась три раза. Мы поглазели и ушли. Мне показалось, что никакого творчества на съемочной площадке не происходило, одна суета и крик, иногда матерный. Но грандиозная «фабрика снов», как называли «Мосфильм», действовала на всю катушку. Орел кино существовал в то время и для меня. Ленинское определение кино, как «главнейшего искусства», было знакомо почти всем.

Итак, я переехал в столицу, начал потихоньку публиковаться... С Александром Яшиным я уже общался в Вологде, он, как мог, помогал земляку. Это с его помощью мне дали командировку в «Новом мире».

Встреча с Шукшиным произошла в то время, когда он разводился со своей «библиотекаршей». Семейные неурядицы были у нас с ним, конечно, разные, но во многом иногда одинаковые: мы оба, как могли, противились благоглупостям своих жен, зараженных женской эмансипацией. (Это противостояние частенько завершается у русских довольно опасными для семейных союзов финалами.) Не избегал подобной опасности и Шукшин, когда женился на Федосеевой. Макарыч не скрывал от меня и от Заболоцкого* своего весьма тревожного семейного состояния, усугубляемого напряженной идеологической обстановкой в Москве. Мое настроение было не лучше шукшинского, но тут я слегка забегая вперед...

Осенью, кажется, 1964 года, после очередного нервного срыва он безуспешно гасил свое отчание сухим вином. Мне хотелось хотя бы на время оторвать его от семейного дискомфорта, от недружелюбной киношной среды, и я предложил ему поехать ко мне в деревню. Он согласился охотно.

Далеко не в лучшем духовном и физическом образе мы приехали в Вологду. Я познакомил его с женой Ольгой Сергеевной, показал закуток, где уединялся для работы (темная непроветриваемая кладовка площадью 2,5 кв.

* Анатолий Заболоцкий — кинооператор, работавший с Шукшиным на съемках фильмов «Печки-лавочки» и «Калина красная».

метра). Там умещался лишь стол и стул*. Матери Анфисы Ивановны дома не оказалось, она пестовала в ту пору моих племянниц. (Знакомство Шукшина с матерью состоялось позже, когда родилась моя дочь Аня.)

Мы переночевали и утром уехали пригородным поездом Вологда — Вожега. На разъезде Кадниковский (откуда я в морозную пору 1949 года шестнадцатилетним отроком безрезультатно ездил добывать документы на паспорт) зашли в диспетчерскую узкоколейки. Оказии в сторону 42-го километра не предвиделось, и надо было ждать встречный мотовоз, который вез на разъезд очередные хлысты. Пожилая женщина-диспетчер указала место, откуда пойдет в лес очередной мотовоз. Везде было множество древесных отходов, брошенного железа, опилок и щепок, обильно политых соляром и маслом. Не жалели лесозаготовители ни леса, ни железа, ни нефтепродуктов, ни самой земли. Нет, не жалели! Государство с 20-х годов щедро снабжало их всем, что они требуют. Еще при Ленине звучали колониальные ноты в грандиозном государственном оркестре, который за счет многострадального русского мужика был создан отцами нынешних демократов. О, сколько елок-сосенок за полвека ушло за рубеж, это трудно представить!

Мы дождались мотовоза и влезли в его грохочущее нутро. Моторист не узнал в Шукшине киногероя, чему Макарыч, кажется, был весьма рад и несколько повеселел, болтал с ним о том, о сем. Машина сильно гремела, качалась на каждом стыке, угрожая сойти с рельсов, что придавало нашему продвижению некоторую, связанную с риском, романтику. И впрямь, груженные чугунные сцепы на УЖД часто сходили в рельсов. Заготовители бросали их в болоте. Мотовозы падали то в мох, то в жижу, но их кранами вытаскивали из беды, а чугунные сцепы так и оставались лежать в болоте. На эту тему мы беседовали с мотористом сквозь гром дизеля. Мотовоз кренился то сюда, то туда, словно корабль во время шторма. Иногда машинист останавливался, бегал звонить диспетчеру и, если приближался встречный состав, переводил стрелку и вставал на второй путь. Мы пропускали встречный и продолжали путешествие.

На 41-м километре мы покинули мотовоз и отыскивали

* У самого Шукшина в то время и того не было. Когда он получил наконец прописку и квартирнку в Свиблове, кабинетом ему служила обычная кухня.

в лесу тропку, ведущую в родную мою сторону. До Тимо-
нихи осталось километров двенадцать. То по вырубленно-
му лесу среди ягодников, то по невырубленному мы ото-
шли от УЖД. Мотовоза давно не слышно. Лесная пред-
осенняя благодать окутала нас нежно и властно: Макарыч
крякнул от удовольствия. Мы настороженно оглянулись,
но я засмеялся: теперь можно говорить о чем угодно, без
угрозы быть услышанным кем-либо. Но даже здесь, в лесу,
где чирикали поздние осенние птицы, Макарыч нет-нет да
сторожко стихал. Моя дрессировка была хуже шукшин-
ской. Мало-помалу мы стряхнули с себя всю кэзэбешную
паутину и заговорили про все и вся... Я рассказал, как
чуть не четыре года служил под началом Лаврентия Пав-
ловича, как поклялся приехать с гражданки и плюнуть в
лицо одному капитану. Теперь пришла очередь смеяться
Макарычу:

— Ну что, выполнил клятву?

— Нет, прособирался... Так и не съездил.

Оказалось, Шукшин тоже имел отношение к морзян-
ке. Мы прислушались к свисту рябка, затаившегося в ель-
нике. Я рассказал, как с помощью азбуки Морзе высви-
стываю рябчиков на охоте. «А меня списали с корабля из-
за язвы желудка, — сказал Макарыч. — Приехал домой с
язвой, лечился медом. Мать и сейчас говорит: сходил бы
ты, сынок, к еврею... — Он опять засмеялся. — К какому
еврею, мама? Врачи и так чуть не все евреи. В кино, гово-
рю, их еще больше».

Было приятно, что Макарычу стало веселее в моем лесу.

Мы шли не торопясь все двенадцать километров, про-
шагали часа четыре. Осенний лес был не то что летний
или весенний, кишаший птицами. Сейчас все было спокой-
но, лишь иногда стучали дятлы и тонко свистели рябчи-
ки. Природа готовилась к зимнему сну. Шукшин совсем
повеселел, он вышагивал рядом, если позволяла дорога,
отставал, когда она становилась тропой. Он рассказывал о
своих детских эпизодах с алтайскими змеями, а я похва-
стался, что в моем лесу не водятся даже безобидные ужи,
не говоря о гадюках.

— Почему? — спросил он.

— Холодно, они тут вымерзают.

Я поведал ему, как пас однажды коров и заблудился.
(История описана в этюде «Иду домой» и в повести
«Привычное дело».)

Лесное безмолвье изредка прерывалось звучными оче-
редями. Эту пулеметную дробь запускали дятлы, смело

долбившие своими носами сухую древесину. Я вспоминал Александра Яшина с его незабвенным Бобришным утором. Для чего дятлы долбят?

Мы поговорили о головной боли, которая почему-то никогда не преследует эту нарядную птицу, но тайга навела Шукшину другие, более трагические темы. Он говорил о народных страданиях, о лагерях. Мы снова уперлись в Андропова...

Макарыч поведал мне об одном своем замысле: «Вот бы что снять!» Он имел в виду массовое восстание заключенных. Зэки разоружили лагерную охрану. Эта история произошла где-то близко к Чукотке, потому что лагерь двинулся к Берингову проливу, чтобы перейти на Аляску. Макарыч оживился, перестал оглядываться: кто мог, кроме дятла, нас услышать? Конечно, никто. Сколько народу шло на Аляску, и сколько верст им удалось пройти по летней тайге? Войск для преследования у начальства не было, дорог в тайге тоже. Но Берия (или Менжинский) послал в таежное небо вертолеты... Геликоптеры, как их тогда называли. С малой высоты почти всех беглецов расстреляли. Макарыч задыхался не от усталости, а от гнева, Расстрелянные мужики представились и мне. Поверженные зэки, так четко обрисованные в прозе Шаламова, были еще мне неизвестны. Читал я на эту тему всего лишь одного Дьякова. Шукшин поведал мне свою мечту снять фильм о восставшем лагере. Он, сибиряк, в подробностях видел смертный таежный путь, он видел в этом пути родного отца Макара, крестьянина из деревни Сростки...

Но лес моей родины кончился, мы незаметно подошли к заросшим ивой и ольхой полям, где я провел детство и раннюю юность. Макарычу была интересна любая деталь...

Мы вышли в поле, Макарыч сравнивал наши неброские поля с родными алтайскими. Рассказал о раскулачивании в Сростках, о расстреле отца. Он знал подробности по рассказам матери, да и сам кое-что помнил. Тайнственное, полученное однажды письмо, конечно, не оправдало его предположений о том, что оно прислано родным отцом. Этот случай он рассказывал мне несколько раз...

Разговор о них, о «французах», как тогда говорились, продолжался уже в моем обширном доме, где все было как и прежде.

Мы скинули рюкзаки и затопили русскую печь. Четвертинку водки, спрятанную в моем рюкзаке, я поставил в шкаф. Далее сюжет развивался так: едва мы успели пе-

реночевать, радио объявило о Дне колхозника. Бабы позвали меня на общий праздник играть на гармонии, Шукшин идти отказался. Я не настаивал и дал ему несколько книг. Показал, где стоит чекушка и что поесть. Ушел я «пировать» со старухами в крайний, уже нежилой дом.

Имевшиеся в наличии старухи и бабы, несколько мужиков из Тимонихи и Лобанихи — вот и вся наша когда-то многочисленная бригада. Сдвинули два стола, разложили какие-то пироги. Бригадиром тогда был Вася Смирнов. По прозвищу Опаленный. Все лицо у него в красных рубцах, горел в танке. Смирновым принесена была водка и чья-то гармонь. (Своей гармошки у меня в ту пору, кажется, еще не имелось. Или она оказалась неисправной.) Я так обрадовался встрече с земляками, что забыл и про гостя, которого одного оставил в своем доме. Вскоре женщины затагнули неизменного «Хас-Булата», спели некрасовскую «Коробушку», а затем им захотелось и поплясать. Мне пришлось взять гармонь. Думаю, сыграю разок и домой...

Раньше плясали у нас по двое, но когда гостей много, то переходили на пляску «кружком», то есть все вместе. Выкладывал я все свое умение, старались и мои земляки, вернее, землячки. Мужчин было всего двое-трое, и они не плясали. (В 1999 году я с ужасом обнаружил, что и землячек уже осталось в живых всего две. Моя родина вымерла.) Вдруг в бабьем кругу появилась высокая мужская фигура. Я обомлел — Шукшин! Он плясал с моими землячками так старательно и так вдохновенно, что я растерялся, на время сбился с ритма. Но сразу выправился и от радости заиграл чаще. Не зная бабьих частушек, Макарыч ухал и подскакивал в пляске чуть не до потолка... Плясал же он правильно, так же, как наши бабы, я видел его пляску уже во второй раз, о первом расскажу ниже. (Позднее, когда смотрел фильм «Печки-лавочки», я окончательно убедился, что на Алтае пляшут точь-в-точь, как и у нас на Севере, с индивидуальными вариантами. Одинакова оказалась не одна пляска, но и многие песни, и пословицы, и форма слогов, и названия упряжи или другой утвари. Родство с Алтаем было полным, причем не только с Алтаем, но и с Хабаровским краем... Не мудрено: Ерофей Павлович, мой земляк, дал название железнодорожной станции. Валентин Распутин, побывавший на Вологодчине, тоже во всем улавливал это родство.)

Шукшин плясал вместе с женщинами, пока в сенях не завязалась драка. Два мужика, пришедшие из Лобанихи, сводили счеты, оставшиеся еще с войны и связанные

с женой одного из них. Драчунов женщины успешно вытолкали из коридора на улицу, а на ворота накинули крюк. В горячке я тоже хотел было стать «миротворцем», то есть ввязаться в конфликт, топорщился и азартный Макарыч. Тем временем бабы передали гармонь другому игроку. Мы спели еще «Златые горы», поговорили, и я увел Шукшина домой.

Мы продолжили День колхозника уже вдвоем. Сидели за столом у окошка и пели. Спелись в прямом смысле, где забывал слова я, там вспоминал их Макарыч, где забывал он, там подсоблял я. И сейчас помню глуховатый его голос. Спели «По диким степям», «Александровский централ», «Шумел, горел пожар московский» и еще что-то. Так оставленная в шкафу чекушка разбередила Шукшину душу, он не выдержал одиночества и прибежал в дом, где праздновали женщины. Завершился «день колхозника» походом за речку в гости к моему приятелю Фаусту Степановичу.

Личность моего приятеля была примечательна не только странным именем Фауст. Он был потрясающий рыбак. Поклонник генералиссимуса Сталина, он в самые азартные годы гонений на исторического вождя не снимал со стены газетную вырезку с фотографией Рузвельта, Сталина и Черчилля. Сам он оставался колхозником, редко и нехотя работавшим в «коллективе». Все время устраивался то пожарником, то дорожником. Моя мать не любила его как раз по этой причине, однако мои отношения с Фаустом Степановичем были почти всегда отличными, пока он не начал требовать от меня того, что от меня никак не зависело. (Например, чтоб я снял с должности председателяшу. Мы рассорились с Фаустом как раз на этой почве, но в пору приезда Макарыча жили весьма дружно.) Я даже устраивал Александра Яшина на ночлег к Фаусту, когда Яшин простуженным приехал в Тимонику.

Помню, мы с Макарычем долго сидели у Фауста за самоваром, слушали рыбацкие и лесные истории. Мужик всегда изъяснялся образами, например: Чего задумался? Пусть думает мерин, голова у него больше». Или: «В нашей конторе стуликов не хватает, дак сидят и на подоконниках». О рваных сетях он говорил: «Наша рыба дыр не боится». Макарыч быстро нашел с Фаустом общий язык, а Заболоцкий позднее дружил с рыбаком до самой его неожиданной кончины. (Фауст пошел утром поить лошадей и не вернулся, умер прямо в конюшне.)

...Мы с Шукшиным ушли от Фауста глубокой ночью.

Фауст благословил нам свежей рыбы на завтрашнюю уху, я взял, сколько вместилось в кепку, и мы двинулись в ночь. Небо светилось от звезд, а внизу стоял плотный туман. Полное безмолвие окутало мою родину. В ночи с севера на юг бесшумно летело какое-то яркое небесное тело. Мы приняли его за метеорит, но оно летело какими-то странными зигзагами, оно как бы кувыркалось в ночной мгле... Моя деревня мерцала в тумане всего одним огоньком. Лавы через речку оказались узки, я поскользнулся, поддерживая Макарыча, и мы оба полетели с них долой. Воды в речке было всего по пояс, Макарыч тотчас выскочил, а я со смехом ловил в темноте уплывающих рыбок. Они уплывали от нас по течению, но часть из них я изловил и утром сварил уху. Печь к этому времени стала еще теплей, и Шукшин полюбил это место, вспоминая мать и прежнюю пору. У меня было точно такое детство, как у Макарыча, только нас осталось без отца пятеро. Мы говорили о странных именах, которые давал наш священник, о Яшине и Федоре Абрамове, о его повести «Безотцовщина», о яшинских «Рычагах».

На следующий день я истопил для Макарыча баню и повесил ему на печь керосиновую лампу. Вновь зашла речь «о них». Кто был Андропов, который дамочловым мечом висел над нашими темечками? Бог знает. Шукшин в тот вечер прочитал кое-что из моих писаний и посоветовал закопать их где-нибудь в доме, где нет пола. (Позднее я так и сделал.) Сидя внизу, я слышал, как Макарыч рванул на груди рубаху...

Через три дня он начал торопить меня с отъездом. Мы ушли за семь километров на центральную усадьбу, выехали на автобусе в Харовск. В райцентре нас встретили районные слишком гостеприимные журналисты, и мы начали гуртом ходить «по избам», как выражалась Ольга Сергеевна. Проходили «по избам» вплоть до архангельского поезда. Вечером покинули мой райцентр, но в Москве выгрузились без моего рюкзака. С похмелья и в суете оставили поклажу в поезде. Я несколько раз писал в Архангельск и железнодорожному начальству в Москве. Но ни из Москвы, ни из Архангельска ответов не последовало. Рюкзак так и канул. Кто-то сильно позарился на наши рукописи и пироги с рыбой Фауста Степановича. Шукшин лишился рукописи очередного киносценария, а я повести «Плотницкие рассказы». Ладно, что у того и другого оказались дома вторые экземпляры.

Шукшин писал после поездки:

«Вася!

(До чего у нас ласковое имя! Прямо родное что-то. Хоть однажды скажи маме спасибо, что ты не Владимир, не Вячеслав...)

Здравствуй, друг милый!

Письмо твое немного восстановило в душе моей «желанное равновесие». Ты — добрый. Как мне понравилось твое ВОЛОГОДСКОЕ превосходство в деревне! И как же хорошо, что эта деревня случилась у меня! У меня под черепной коробкой поднялось атмосферное давление. А ведь ты сознательно терял время, я знаю. И все-таки: помнишь ту ночь с туманом! Вася, все-таки это был не спутник, слишком уж он кувыркался. А внизу светило только одно окно — в тумане, мгле. Меня тогда подмывало сказать: «Вот там родился русский писатель». Очень совпадает с моим представлением — где рождаются писатели. Ну, друже, а за мной — Сибирь. Могу сказать, что это будет тоже хорошо.

У меня так: серьезно, опасно заболела мать. Ездил домой, устраивал в больницу. И теперь все болит и болит душа. Мы — не сироты, Вася, пока у нас есть МАТЕРИ. На меня вдруг дохнуло ужасом и холодным смрадом: если я потеряю мать, я останусь КРУГЛЫМ сиротой. Тогда у меня что-то сдвигается со смыслом жизни. Быт? Родной ты мой, ну, а что делать? Что делать?!?! Одному жить невозможно.

Не пишу. Ездил домой, потом ездил в Югославию. Кажется, это последний раз, что меня посылают за границу. Я перепутал Белград с Тимонихой. Ну и черт с ними! И в России места хватит.

Тебе известно, что Ершов отказался от твоей повести? Я тебе говорил, что это... Не горюй, Вася. Глупо звучит, но не горюй.

Маня растет. Обнимаю тебя. Шукшин».

Даты на письмах он никогда не ставил, это письмо было уже зимнее. В своем письме ему я, вероятно, жаловался на свой быт. Можно бы прокомментировать каждую шукшинскую строчку, но стоит ли?

* * *

Таково предисловие к поспешному описанию наших многолетних дружеских отношений.

Эта рукопись была бы написана лет двадцать назад, если б не одно странное обстоятельство, для читателя, если таковой будет, вряд ли это обстоятельство интересно,

и все-таки я должен объяснить. Почему я так долго не осмеливался браться за шукшинскую тему? Дело в том, что я как-то стеснялся откровенно рассказать о наших отношениях с Василием Макаровичем, поскольку многие эпизоды его судьбы до смешного схожи с моими. Впрочем, смешного в этом сходстве мало... Оно скорее трагично. Разница в нашем возрасте невелика. Его отец расстрелян во время раскулачивания, мой погиб на войне. Велика ли тут разница? Одни ненавистники нашего государства подчеркивают разницу в потерях военной поры с потерями предыдущих периодов. Для меня в этих потерях особой разницы нет. Гражданская война и троцкистская коллективизация ничуть не дешевле обошлась русским, чем наши жертвы во время Великой Отечественной.

Оставшиеся в живых мои одноклассники должны помнить одну книжечку — учебник для второго или для третьего класса, где помещены превосходные детские рассказы с рисунками. До сих пор помнится картинка с двумя воронами, которые воруют кость у собаки. Одна птица отвлекает собаку, клюет ее в хвост, другая ворона в этот момент тащит собачью собственность... В том же учебнике кошка охотится за мышонком, тот стремглав бежит от погони. Где спрятаться? Пригодился для этого старый, с оторванной подошвой башмак. Кошка сунула голову в башмак, а мышонок выскочил. Запомнился мне из этой книжки рассказ, как поехал Арефий в лес, а буран поднялся такой, что его вместе с дровами и лошастью засыпало снегом. Отлежался Арефий под снегом и так спасся от холода. Но особенно помнится рисунок с надписями:

*Велика у стула ножка,
Отпилю ее немножко...*

Далее чудо-мастер решает:

*А теперь вот эта ножка,
Отпилю ее немножко.*

Затем спилена третья и четвертая, в результате стул оказался совсем без ног, мастер глядит и скребет в затылке:

Ах, ошибся я немножко!

История с отпиленными ножками стула всплыла в моей памяти спустя многие, многие годы, она была похожа

на историю русского народа. Безжалостная пила революции начала с помещиков и духовенства, далее расстреляла интеллигенцию, потом дошло до самих крестьян и рабочих. Автор безобидного на вид рисунка, видимо, прекрасно понимал, что произошло в России... Наверное, и сам оказался среди отпиленных.

Но такими были далеко не все учебники, по которым учились мы в нашей бывшей церкви. На уроках пения мы всей школой старательно разучивали «Интернационал». Мальчики открывали рты, имитируя пение. Пели одни девочки-отличницы, да и то не все. Ах, дорого обошлась русским эта песенка, которую и сейчас поют некоторые!

Шукшин рано понял цену таких народных «концертов». Иначе не написал бы пронзивший меня рассказ, как мать с детьми добывала зимой дрова. Со мной все было так же, один к одному. Именно после того рассказа я осмелел, набрался нахальства послать автору благодарственное письмо. Ответ на него затерялся среди других писем, но я запомнил характерную фразу: «Аванс ты мне выдал большой, теперь придется отрабатывать...»

Как Шукшин «отрабатывал» мой «аванс», видно хотя бы из воспоминаний Анатолий Заболоцкого. Макарыча даже не прописывали в Москве, его выпустили из ВГИКа с волчьим паспортом*. Он жил в столице нелегально, подрабатывал игрой в каких-то случайных, порою бездарных фильмах.

Феномен массовости стал главной решающей причиной того, что Шукшин посвятил себя кино — этому общественному идолу. Идол, правда, долго не уступал шукшинскому напору. Как норовистый жеребец, он больно кусался, лягался задом и передом. Нужна была незаурядная смелость и неподражаемая сибирская энергия, чтобы одолеть этого жеребца, на что Шукшин тратил почти все свои силы. Писательство оказалось для Макарыча на втором плане. Но письмо Леонида Леонова, насколько мне известно, подействовало на него довольно сильно... Впрочем, письмо Леонова и встреча с Шолоховым были позднее. Вначале же был непреклонен, держался кинематографа и судорожно искал непродажных друзей среди земляков и столичного бомонда.

Наверное, с этим обстоятельством связан один характерный эпизод, происшедший вскоре после нашего с ним

* Вольно же было бестактно, а по сути злобно фантазировать на эту тему некоторым журналистам!

знакомства. Мы ехали однажды по столице ночью в такси, причем Шукшин был чуть «под мухой». Вероятно, он на ходу соображал, где бы ему ночевать. Тогдашняя Москва среди глубокой ночи становилась совсем пустынной. Шукшин остановил машину напротив Савеловского и вылез. Шофера не отпускал. Я не мог оставить своего нового друга одного среди ночи и тоже вышел из машины. Друг же неожиданно принял боксерскую стойку. Начал он задиаться и провоцировать меня на драку: «А ну, давай, давай, отбивайся!» И начал прискакивать вокруг меня. К боксу я был всю жизнь равнодушен и, хотя было обидно, отбиваться не стал. Шофер с любопытством глядел на нас из работающей машины. Шукшин сделал слабый непрофессиональный выпад, я оттолкнул его руку. «А, а, трусишь!» Я в сердцах уселся в кабину и хлопнул дверцей. Он сделал то же самое. Мы долго молчали. Таксист терпеливо ждал. Шукшин, смеясь, обозвал меня хлюпиком, упрекнул в боязни милиции. Я всерьез обиделся и надолго заглох. Шукшин почувствовал это, перестал хамить, начал просить прощения. Я промолчал. Не помню, куда мы поехали, кажется, к его благодетельнице Ольге Михайловне Румянцевой. Эта благородная женщина на свой страх и риск прописала Шукшина на своей жилплощади. Обиженный, я не стал заходить, решил уехать на чем угодно или уйти. Шукшин щедро расплатился с шофером и приказал ему свезти меня на улицу Добролюбова. Но я в тот раз уже закусил удила...

...Он не хотел уезжать на работу в Магнитогорск, зная, что без Москвы ему фильм не поставить и вообще никуда не пробиться сквозь густопсовую еврейскую толщу. Но и в Москве он задыхался.

Насколько помнится, уехал я от дома Румянцевой с некоторым сожалением, у меня имелся интерес к ее дочери Ире и зятю Юре Бухарину. Я готовился работать над хроникально-художественной книгой «Кануны» и своей широкой задумкой делился с Макарычем. Шукшин ездил ночевать в эту квартиру только в самых отчаянных случаях. Он стеснялся приезжать туда часто. Ольга Михайловна навсегда останется в благодарной памяти шукшинских почитателей. Не в пример многим начальникам, предательски подставлявшим Макарыча под тяжкий пресс неустроенного быта, она по-матерински принимала даже меня. Ее дочь Ирина и зять художник Юра Бухарин рассказали и показали мне очень многое из того, что мне потребовалось для работы. Тогда я, как многие, идеализиро-

вал Николая Бухарина, считал, что Сталин — это сатрап, и что Бухарин на суде был подставным, не настоящим. (Сергей Николаевич Марков, с которым после института я сильно подружился и который с удовольствием ездил в Вологду, говорил: «Ходили слухи, что у Бухарина на суде отвалилась борода»*.

У нас с Макарычем к Сталину и ко всей его братии существовал особый счет, о коем мы поговорим еще в этой книге. Юра Бухарин был сыном известной еврейки-красавицы, очаровавшей Николая Бухарина. После развода Юры с дочерью Ольги Михайловны Ириной он не ответил на мою просьбу о встрече. Следы его затерялись в грандиозной Москве, а может быть, и в Нью-Йорке. Но в то время я дружески встречался с Юрием Николаевичем.

Но дело не в нем, а в Ольге Румянцевой. Шукшинское покорение Москвы началось давно, еще с того времени, когда он ночевал под мостом, приглядываясь к столице и мечтая о вузе. Она, столица, действительно слезам крестьянским не верила. Макарыч рассказал случай, когда после очередного ночлега под мостом, на набережной, он познакомился с мужиком, вызывавшим какое-то доверие. Они встречались на набережной несколько раз. Мужичок говорил, как трудно русскому проникнуть в кино, и, видимо, сказал Шукшину свой адрес и однажды пригласил домой. Этот первый московский визит Макарыч не мог вспоминать без горечи. Жена нового знакомого, знаменитая актриса, встретила обоих слишком неласково. Мужичок оказался всемирно известным кинорежиссером Пырьевым. Не знаю, говорил ли Макарыч об этих встречах кому-либо еще, а если и говорил, то, разумеется с оглядкой, потому что знакомство с Пырьевым еще и сейчас не проходит для человека бесследно. Супруга Пырьева выставила Макарыча за дверь, да еще и обругала мужа. Шукшин, с его обнаженным сердцем, конечно, прекратил хождение по набережной. Кто была эта супруга, я долго не знал и знать в общем-то не хотел. (Лишь недавно догадался, что знаменитые режиссеры обычно снимают главными героинями собственных жен.) Шукшин об этом не говорил, он всегда боялся выглядеть болтуном.

Супругой же самого Макарыча была в свое время та самая библиотекарша из фильма «Живет такой парень»,

* Теперь—вот когда подходит пословица «нет худа без добра» — теперь, когда пресса осмелела, оказалось, что никакой фальшивой бухаринской бороды не существовало и что троцкистско-бухаринский заговор действительно имел место. Сталин был по-своему прав.

которая играла не только в кино, но и в семейной жизни. Она написала на Макарыча прямой донос в партбюро. Такого предательства Шукшин, разумеется, переварить не смог и оставил «библиотекаршу» в самый разгар съемок своего первого фильма. Он явился ко мне в общежитие, попросил никому не говорить, что он здесь, в общежитии на улице Добролюбова. Он жил у меня с неделю, прячась от всех. Я ходил за кефиром и варил пельмени, благо пельмени Макарыч любил и в еде был неприхотлив.

Однажды меня вызвали вниз, к дежурной. Около входной двери толпилась целая делегация во главе с бывшей женой Макарыча. Подсобляя этой жене кинооператор Гинзбург, который снимал «Парня» — фильм о шофере Пашке Колокольникове. Играл Пашку Леонид Куравлев. Не помню, присутствовал ли он среди посланцев. Делегация сразу же довольно агрессивно приступила ко мне. Помня наказ Макарыча, я сказал, что он заезжал, но где он сейчас, не знаю. Они потолклись еще минут пять и укатили. Поверил ли мне Гинзбург, так хорошо описываемый Заболоцким? Неизвестно. Но каждый час простоя на съемочной площадке стоил довольно дорого. Макарычу грозило увольнение со студии им. Горького. Между тем я получил какой-то гонорар, и пришла православная Пасха. Сбежал я в магазин через дорогу и купил в честь праздника гармонь. Впоследствии она стала вполне литературной, поскольку была причастна и к судьбе Макарыча, и к судьбе поэтов Лени Мерзликина и Коли Рубцова, и к судьбе прозаика Астафьева. (Как моя баня, описанная в документальном рассказе «Московские гости», эта гармонь достойна отдельной, подробно рассказанной истории.) Пришел к нам я комнату Ваня Пузанов. Мы устроили пасхальную вечеринку. Случайно заехал и Володя Котов, работник журнала «Молодая гвардия». (Журнал уже в то время приобрел славу «антисемитского органа».) В той же «Молодой гвардии» обретался тогда еще до конца не раскрывшийся великолепный нынешний публицист Владимир Бушин. (Не подумайте, что я его хвалю потому, что сам его побаиваюсь.) Пасху мы отпраздновали довольно оригинально: русской пляской. Но Шукшину было в общем-то не до веселья. Он тужил и расстраивался. Стали сообща думать, как его выручать, перебирали общих знакомых, кто бы мог подсобить... Родилось несколько вариантов.

Наутро я побрел на этаж ВЛК, где жила писательница (кажется, из Казахстана), имевшая любовника в соседнем

общежитии мединститута. Она близко к сердцу приняла нашу беду, пообещала связаться со своим кавалером. Впрочем, на этом месте я могу и сбиться со строгой документальности, поскольку этот сюжет использован в романе «Все впереди»...

Что значит документальный сюжет? И что значит документальный рассказ, введенный в литературный оборот именно Шукшиным?*

В горячке наших литературных разговоров я пытался доказать, что рассказ есть рассказ, художественный жанр, что никакого документального рассказа быть не может. Документальным может быть и даже обязан быть только очерк, а не рассказ. Я убеждал, что сюжет всегда является организующим началом рассказа, что без сюжета рассказ рассыпается, что стиль, язык, настроение в прозе отнюдь сюжету не противоречат. Сюжетов в нашей жизни хоть отбавляй, но их нельзя делать достоянием всех. Пусть это делают газетчики. Литература отнюдь не использует все сюжеты подряд. (См. мою статью о сюжете в книге «Раздумья на родине».)

Шукшин доказывал, что любой рассказ может быть документален и даже должен быть таким, что читатель больше верит документу. Мода на документ, применяемая в кино (например, фильм Герасимова «Люди и звери»), действовала, вероятно, и на Макарыча как на писателя и сценариста. Документализм позволял ссылаться на жизнь: так, мол, и происходит в самом деле, выходило, что разрешалось снимать любую тусовку, что и делал Герасимов. С такими зубрами, как он, Шукшину нельзя было не считаться, хотя он и имел свой взгляд на вещи. Запомнилось, как Макарыч встречал меня на киностудии им. Горького, куда я безуспешно совался со своим сценарием.

Поглядели мы кое-что в павильонах, понаблюдали суету со съемками и выбрались на свежий воздух. Мы направились в сторону гостиницы, где была стоянка такси**. В эту секунду Макарыч издал углядел Герасимова и сказал: «Постой здесь, я сбегаяю на минуту...» Я не стал подходить к ним, но видел, что Макарыч был вынужден что-то говорить, горячо объяснять мэтру. Мэтр был явно снисходителен и, по-моему, издал замечил меня. Но что

* На эту тему я частенько спорил с Макарычем. Дело однажды дошло до серьезной размолвки из-за одного, именно документального рассказа. (Речь идет о «Кляузе».)

** В ту пору такси не было предметом роскоши, этим транспортом пользовались все, особенно пожилые и куда-то не успевающие.

я значил для Герасимова, хотя в какой-то компании Макарыч и знакомил меня с этим боссом?

...Документальный сюжет с бюллетенем для Макарыча был каким-то способом завершен с помощью моего однокурсника Юры Никитина — друга Жени Титаренко, с которым на скучных лекциях они играли в «морской бой». С Женей Титаренко какое-то время позднее я жил в одной комнате. Он, бывший матрос, писал большие романы. Иногда с ехидцей упоминал про своего зятя — ставропольского бонзу М. Горбачева. О сестре вспоминал почему-то неохотно, язвил больше по поводу райкомовской карьеры зятя.*

Друг Жени Титаренко Юра Никитин и взялся помочь нашему горю. Макарыч начал возить нас на такси из конца в конец по Москве. Сюжет с бюллетенем к вечеру завершился-таки успехом, но мы слишком проголодались. Шукшин предложил* пообедать не по-студенчески в столовке, а в ресторане «Русская кухня».

Уговаривать голодного сибиряка, да и меня с Юрой Никитиным не пить перед обедом было бы напрасным занятием. Тогдашний вологжанин, увы, не был трезвенником. Пригубили перед рассольником по рюмке водки. Бутылку сухого после еды Макарыч велел повторить, но мы ее вроде бы даже не допили. После чего Юра уехал домой. Мы с Шукшиным отправились на улицу Добролюбова. Не доезжая до общежития двухсот метров, Шукшин отпустил машину. Напротив нашего общежития размещалась милиция. Впереди нас шли два милиционера. Макарыч увидел их и говорит: «Ты смотри, как они вышагивают! Кхе-кхе, муштрованные, вышколенные...» Один из милиционеров, видимо, услышал фразу или почувал ее интонацию. Обернулся. Но ничего не сказал. Они ушли. Отделение милиции было уже рядом, в ста метрах. Рядом был и переход через улицу, за которой маячило мое общежитие. Я по другому случаю знал, что значат московские милиционеры, и торопил Макарыча. Он не спешил. Вдруг подкатила сзади милицейская коляска. Ни слова не говоря в наш адрес, водитель жестом предложил проехать. «Ну, что я тебе говорил?» — торжествующе засмеялся Макарыч. Нас провезли метров сто — сто пятьдесят...

В отделении попросили предъявить документы. Мое студенческое удостоверение сразу вернули, а все шукшин-

* Этот документальный сюжет имел продолжение в ту пору, когда Горбачев сделал меня депутатом...

ские документы бросили в ящик стола. Он начал объясняться, я начал помогать ему объясняться. Он был практически трезв, для трех мужиков две бутылки сухого да еще с настоящей едой ничего, конечно, не значили. Меня милиционеры не стали слушать: «Идите, идите! Что значит кино, мы разберемся без вас». Я не уходил до прихода начальника отделения. Начальник пришел часа через два и разобрался за две минуты. Шукшин взял свои документы, и мы спокойно ушли. Наконец-то все кончилось! В общежитии развернули злополучное, на четыре дня, освобождение от работы. «Стенокардия» — стояло в диагнозе, но поперек бюллетеня была жирная резолюция, подписанная начальником: «Задержан в нетрезвом виде». Дата и номер отделения. Шукшин выругался по-сибирски. Бесценная для него бумажка и день жуткой езды на такси — все пошло прахом. Мы вновь призадумались... К счастью, писательница с ВЛК оказалась на месте, я объяснил ей все, и она побежала в соседнее медицинское общежитие. Ее ухажер обещал на завтра представить новый бюллетень, но уже не за двадцать, а за тридцать рублей, то есть примерно за мою стипендию. (Для пояснения тогдашних цен: гармонь, купленная мною на православную Пасху, стоила ровно двадцать пять рублей.)

Вскоре я узнал, что недельное сидение в моей комнате обошлось для Шукшина выговором. Гинзбург продолжил съемки. Пашка Колокольников пошел в народ и принес Макарычу первую победу на режиссерском поприще. Втроем с Куравлевым мы отметили выход фильма обедом в ЦДЛ. Студентов вроде меня тогда еще пускали в эту затветную московскую цитадель*.

Сюжет с медиками я использовал в романе «Все впереди», о чем неуместно писать, вспоминая Макарыча. «Но почему неуместно? — воскликнул бы он. — Как раз все уместно».

Я постоянно слегка забегаю вперед, вернее, из пе-

* Интересно, что через несколько лет волгоградский патологоанатом объяснил мне шукшинскую смерть именно стенокардией, а еще... злоупотреблением кофе. Обмолвился эскулап и об отравлении, но слишком много разглагольствовал об алкоголе. Говорить ему о том, что Шукшин в конце жизни никакого алкоголя вообще несколько лет не брал в рот, было бесполезно. Бесполезно было выяснять и в других инстанциях причину смерти. Отчего запретили повторную экспертизу в Москве в институте им. Склифосовского? Зловещих признаков отравления имелось много, вспомним хотя бы частное высказывание Георгия Буркова. Это к сведению Юрия Богомолова, печатающего в «Известиях» «юбилейные» опису...

редних, как говорили раньше, выскакиваю в более поздние времена.

Наше знакомство, теплые отношения с Макарычем закрепились и развивались уже по своим законам. Не так думали иные биографы Шукшина. Говорю прежде всего о наиболее серьезной книге покойного В. Коробова. Сейчас я с нравственными колебаниями думаю: а надо ли упоминать здесь все подробности, касающиеся моих друзей и знакомых? Может быть, не стоило все упоминать, например, о шурине Горбачева. Может быть... Но если быть документалистом (что я признаю в биографических книгах), то, наверное, надо рассказывать и о таких шепетильных подробностях о себе и своих друзьях.

...Скитаясь по разным ночлегам, Макарыч завез однажды на квартиру к Вике Софроновой. Я не видел тогда их маленькую дочь, может быть, я уклонился, может быть, девочки не было дома. Но разговор с покойной Викой Анатольевной помню. Мы засиделись, и меня не отпустили домой в общежитие, хотя в те времена окошки первых и вторых этажей в Москве еще не были зарешечены. Убийства и грабежи были весьма редкими. Мне было послано на полу, Шукшин устроился на диване рядом, и мы долго еще говорили с ним о крестьянстве, о диссидентах, о политике и евреях. Заснули уже под утро.

Вообще о евреях и тогда говорили почти все, одни напрямую и громко, другие тихо, с оглядкой. О слове «жид» вспоминали редко, и то в основном сами евреи. Это слово произносилось обычно с провокационными целями. Если человек вспомнил жидов, то это был верный признак того, что он сам еврей либо из еврейского круга и наверняка представит тебя своим близким как антисемита. Я несколько раз попадался в такую ловушку. Антисемитский ярлык был несмываем...

Шукшин прекрасно знал сие опасное обстоятельство, может быть, поэтому и устраивал мне экзамен с боксом. Большинству женщин он несколько не доверял, особенно в политике. Не верил, как теперь выяснилось, и своей жене Лидии Федосеевой, не верил совсем не напрасно, если судить о ее замужествах. Он был радикальнее меня в этом смысле. Актера Жору Буркова он долго подозревал в двойной игре, и тоже совсем не напрасно. О Буркове убедительно пишет А. Заболоцкий в книге «Шукшин в кадре и за кадром».

Частенько он спрашивал меня о Шолохове, о наших встречах с писателем по молодежному Болгаро-Советско-

му клубу. Его встреча с Шолоховым во время съемок фильма «Они сражались за Родину» перевернула все его интеллигентские представления о писательстве... Нельзя забывать, что евреи с помощью демагогии энергично и постоянно внушали нам ложные представления о Шолохове. Ядовитая мысль о плагиате, запущенная определенными силами и поддержанная Солженицыным, посещала иногда и мою грешную голову. Сердце, однако же, вешало нечто другое. (Стерляжья уха на Дону во времена Болгаро-Советского клуба тут ни при чем.) Я был в легкой оппозиции к современному классику и должен когда-нибудь написать о нашей международной встрече с Шолоховым. Надеюсь, что судьба подарит для этого и других литературных эпизодов еще хотя бы несколько лет жизни... Еще не написаны и воспоминания о Яшине, Абрамове, о Рубцове и Твардовском. Это одна из причин, по которой я все откладывал шукшинскую тему...

Литературную атмосферу шестидесятых годов формировали в Москве по известному классовому признаку. Марксизм ввелся глубоко и надолго. Вульгарную социологию я воспринимал как идеологическую изжогу. Членство в КПСС в какой-то мере подсобило мне выпрыгнуть за частокол, отгороженный крестьянину-колхознику, общественному изжогу, бесправному и даже беспаспортному. И я, подобно Шукшину, выпрыгнул на другую территорию, предназначенную избранным. Эти «избранные» отнюдь не всегда отличались природными способностями.

По моему твердому убеждению, Василий Макарович Шукшин не избежал этого изгойского чувства ни в детстве, ни в юности, ни в зрелую пору. Марксизм, как деготь, глубоко и надежно выдубил и мою кожу, но совесть пульсировала вместе с сердцем, боль за обманутых и ограбленных не отпускала. Ни на день, ни на час. Поэтому и писались такие вот строки:

*Себе вру,
Жене вру,
Друзьям вру,
Отечеству...
Почему вру,
Никак не пойму —
Миру всему
И всему человечеству?
Потому ли вру,*

*Что жаль всего
Мира целого,
Друзей, Отечества,
Жену жаль
И себя того,
Который враньем
И живет и лечится?
Враньем себя
И других учу,
Либо дальше жить,
Либо не врать...
Лучше врать буду,
Умирать не хочу.
Люди дорогие,
Не хочу умирать!
... Все равно умру,
Потому что вру.*

Я не показывал стихотворение даже Александру Яшину, не говоря о семинарских занятиях. Конечно, Лев Ошанин эти строки назвал бы кулацкими. Всё тогда называли кулацким, что не вмещалось в рамки интеллигентских московских представлений. Даже мой покойный тесть Сергей Дмитриевич Забродин, пусть и гордился моими литературными делами, называл меня контрой, хоть я и служил секретарем РК ВЛКСМ. Тесть всего лишь за то, что был правоверным марксистом, отсидел в лагерях восемь лет. Другое словцо в наших с ним спорах тесть употреблял еще чаще: «Вандея». А я даже не знал, что значит этот позорный для коммуниста термин! Мой марксизм оказался по числу райкомовских месяцев недоошенным, то есть всего восьмимесячным... Получив аттестат зрелости, я убежал от совпартшколы в Московский литинститут. От литинститутского секретарства спас меня дружинник из соседнего медицинского общежития, он сдал меня в милицию: слишком я радовался позднему поступлению в студенчество. Ректор Серегин позвонил утром начальнику отделения с просьбой немедленно меня выпустить. А через день вызвал и припугнул обсуждением на бюро, если не соглашусь стать секретарем комсомола. Тут я уперся еще больше... Секретарем сделали покойного Вячеслава Марченко, будущего моего редактора и (тоже будущего) мужа Вики Софроновой. Мой марксизм на этом и кончился. Серегин был мудрый человек, он спас меня от милиции, а от партбюро Бог спас. Правда, по

инерции и студенческой бедности я опубликовал очерк и халтурную поэмку «Комсомольское лето»...

Лев Ошанин, назвавший мои стихи кулацкими, написал предисловие к моей первой книге прозы, на что жутко обиделся непреклонный Яшин. Александру Яковлевичу и в голову не приходило, что я благоговел перед ним и не хотел утруждать мелочами типа предисловий для начинающих! У нас возникло бурное выяснение отношений, когда он приезжал с детьми в Тимонику...

Делал я еще в институте серьезную попытку разобраться в своей родословной. Кулак ли я, и если кулак, то почему? Все еще как-то верилось в светлое хрущевское будущее. Но долго копаться в классовых признаках было лень, обиды на Льва Ошанина и на армейского капитана быстренько испарились. Ошанин был в общем-то безобидным человеком, хотя вместе с Безыменским иногда и подворовывал у своих питомцев кое-какие образы и ситуации. (Поэт Толя Заяц, сидя на бульварной скамейке, сказал однажды об этом в открытую.) О шолоховском «плагиате» бубнили по всем радиостанциям, в каждом доме тоже в открытую. Обыватель по-дамски падок на маленькие мерзкие слухи, а тут такая смелая клевета! Не скоро отмоешься...

Но мои тогдашние представления о Шолохове связаны были не с солженицынской инсинуацией о «Тихом Доне», а с «Поднятой целиной», где главный герой учит мужиков-казаков, как надо пахать. Я не напрасно считал эту книгу уступкой конъюнктуре, что и подтвердилось в серьезных и благожелательных исследованиях.

Нынешний секретарь российского СП, будучи работником ЦК ВЛКСМ, опекал в то время молодежь. Он привез Болгаро-Советский клуб на Дон, всю громадную делегацию с переводчиками и зарубежными «марксистами». Меня поселили почему-то вместе с неким Мишей Членовым. (Не спутайте, пожалуйста, с Михаилом Ивановым!) Членов переводил с немецкого. До сих пор осталось стойкое ощущение, что этот Миша переводил не все и не точно, особенно наши политические разговоры с немецким писателем Гюнтером Гёрлихом. Из прилетевших на Дон поляков запомнился мне симпатичный Ежи Кжиштонь (впоследствии я встречал его в Варшаве и слышал потом о его трагической гибели). Другой поляк был, вероятно, совсем не поляк, а еврей, но его день рождения мы праздновали весьма хлебосольно. После очередного банкета утром я раскрыл гардероб и был поражен догадливости

Миши Членова. Весь гардероб был уставлен бутылками коньяка и какого-то марочного, крепленого и сухого. Никогда бы не пришла мне в голову мысль о такой запасливости! С кем Членов поделился своей добычей, сие мне не известно. Я же использовал этот случай в рассказе «Одна из тысячи», чем лишний раз подставил свой «анти-семитский» бок какому-нибудь проворному Льву Аннинскому.

Владимир Тендряков, который однажды увез меня с писательского съезда к себе на дачу, называл всех писателей-вологжан людьми «с душком», с антисемитским душком, разумеется. На даче Тендряков читал мне по секрету свой политический опус и так уморил, что я задремал в кресле. После чтения он показал мне свои довольно роскошные хоромы. Рядом была дача Твардовского. Под снисходительные тендряковские комментарии я с волнением издалека глядел на Твардовского. Тендряков называл его Сашкой. Наверное, так же презрительно звал он и Александра Яшина, моего лучшего наставника. (Яшин утверждал, что Тендряков украл у него сюжет со свинаркой.) На каком-то совещании в Новосибирске я снова встречался с Тендряковым, тогда и попал в разряд людей «с душком», хотя не давал никакого повода. На том семинаре Анатолий Софронов запел песню на собственные слова. Вместо выступления... Не менее экзотичными были выходки некоторых лидеров и противоположного, еврейского лагеря. Не стоит сейчас их вспоминать, хотя и следовало бы. Твардовский и Яшин находились между двумя лагерями, им доставалось от тех и от этих.

...Александр Трифонович не дошел до тендряковского дома и скрылся на своей даче, а Тендряков, видя, что мне не интересен его манифест, не стал больше читать. Надо сказать, что в те времена я был во многом солидарен с Владимиром Федоровичем. Смущал меня только его излишний рационализм, какая-то эстетическая жесткость в его многочисленных повестях. Тендряковский быт с физкультурой и холодными купаниями тоже был жестко рациональным. Смерть не пощадила и этот рационализм с атеистическим «душком». Тендряков был полной противоположностью Владимиру Солоухину, ставшему довольно близким Александру Яшину. Земляк Яшина Феликс Кузнецов, мне кажется, не вызывал у Яшина таких симпатий, какие вызывал Солоухин. Александр Яковлевич, несмотря на всю свою бескомпромиссную натуру, был добр и совестлив, иной раз даже несколько сентимента-

лен. Однажды он при мне вернулся домой из ЦДЛ. Раздевался весь в слезах оттого, что не подал руки Леониду Соболеву...

Но я отвлекся от встречи с Шолоховым, о которой рассказывал Шукшину. Болгаро-Советский молодежный клуб с Любомиром Левчевым во главе все же сплотил довольно большую группу патриотически настроенных молодых людей. С русской стороны туда входили такие литераторы, как Палиевский и Семанов, Ланщиков и Михайлов, Валерий Ганичев и Валентин Сидоров. На втором или на третьем заседании появился Валентин Распутин. Все мы были тогда молоды и задиристы. (Но и сейчас со стыдом вспоминаю, что на Шипке я забыл снять свою кепчонку...) О своих тогдашних эстетических устремлениях сужу по ярчайшим впечатлениям, оставшимся после осмотра Казанлыкской гробницы и развалин древнего Тырнова. Арест и суд над Тодором Живковым показался мне чудовишной несправедливостью болгарских властей. Первые предвестники разгрома советского государства уже веяли над землей, но мы не придавали им большого значения и даже рады были некоторым буревестникам. Надо признать этот факт. На таком фоне и писались мои первые книги. Не знаю, почему Михаил Александрович Шолохов несколько раз выделил меня среди интернациональной толпы. Во всяком случае, не потому, что меня выбрали вице-президентом. Мода на президентов внедрялась в наше сознание очень осторожно, со всей мягкостью. Вкрадчиво и постепенно. Ортодоксальный марксизм давно одряхлел. Русские изжили его уже во время очередной войны с Германией. Изжить-то изжили, но вся система держалась на страхе, а страх нагоняли еврейские бонзы либо их прислужники. В придачу многие из нас глубоко задумывались: что значит прогресс? Что такое атеистическая культура? А нам снова подсовывали Маркса и диамат. Я уже писал в какой-то статье, как библиотекарша Литинститута отказала в выдаче «Дневника» Достоевского.

В толпе, окружившей Шолохова, функционер ЦК ВЛКСМ Гена Серебряков давил мне на ботинок, чтобы я не сказал лишнего, но я и не говорил лишнего, я только спрашивал нечто лишнее. Даже вроде бы упрекнул Михаила Александровича за «Поднятую целину»... Я спросил, сколько надо было иметь пудов зерна, чтобы угодить в число раскулаченных. «Сорок пять пудов, — глухо промолвил Шолохов. — Иногда даже меньше». Что значили

сорок пять пудов даже для иногородних, не говоря о коренных жителях Дона?

Я сказал, кого и как раскулачивали у нас на Севере, но клеветы Сергея Павлова быстренько усадили Шолохова в машину и увезли.

В доме, где прошло детство Шолохова, мы пели хором «По Дону гуляет» и другие донские песни. Казахский поэт, друг Евгения Евтушенко Олжас Сулейменов, тоже вскормленный нашим институтом, тут же гнусно и втихаря перефразировал песенные слова, получилось, что гуляют подонки. В эту минуту Михаил Александрович рассказывал венграм о конных схватках донцов с венгерскими конниками во время первой мировой войны. Много пили и вкусно ели, не зевал и казахский поэт Сулейменов. (Международная шпана сделала его потом представителем ЮНЕСКО.)

С клубом прилетел на Дон и Юрий Гагарин. Мы фотографировались над Доном, у того обрыва, где Григорий поил коня и встретил Аксинью. Гагарин был смоленским, Твардовский тоже смоленский. Мой отец лежит в смоленской земле сразу в трех могилах... Я хотел объединить все эти три обстоятельства и написать очерк об отце, о Гагарине и Твардовском. Обо всех троих. Я поделился в Москве своим замыслом с Макарычем. Его слова ошпарили меня как кипятком. Он слишком резко сказал о Гагарине: пьяница! Так резко, что у меня пропало желание писать очерк. Документализм повернулся ко мне новым, не предвиденным мною боком...

Рассуждая о сюжетной беллетристике, Шукшин кипятился: «Не хочу я читать эту надуманную литературу! Не верю я им, беллетристам!» Я спрашиваю: «Бунин — беллетрист?» — «Да, но Есенину я верю больше. Все-таки он барин, Бунин-то...»

Твардовский в своей статье о Бунине упомянул Белова и Лихоносова. Это окрылило меня, но еще больше настроило московских критиков*.

Макарыч не однажды писал мне и говаривал о своей душевной боли. Не помню, как я отвечал ему, говоря о собственном состоянии. Моя мать Анфиса Ивановна иногда пела трагическую по своей безысходности народную песенку:

* Жаловаться литератору на свою карьеру, это все равно, что солдату жаловаться на свой маленький рост. Уж какой есть, такой и есть. В солдатской шеренге левый фланг был мне обеспечен, каким окажусь в строю писательском, не мое дело...

*Все прошло и все пропало,
Снегу белого напало,
Все переменилось,
По шею навалилось.*

Это было, наверное, безблагодатное ощущение глубокой осени, предчувствие неминуемой старости, боязнь одиночества, ощущение того, что ничего хорошего впереди уже нет, один лишь холод зимы и слякотный ночной мрак. Но и в молодости, что ей было ждать — моей матери? В младенчестве сирота, в детстве круглая сирота, в замужестве лишь два-три года была счастлива. Родила шестерых, в том числе и меня. Накатилась война. Мужа — опору семьи — убили на фронте, корову Березку пришлось сдать безжалостному государству, чтобы рассчитаться с налогами. Пятеро детей бедствуют, трое дома — птенцы неокрепшие, двое старших на неприютной чужбине. Даже амбарчик, рубленный ею вместе с Иваном Федоровичем, стоявший в родном огороде, раскатали и увезли. (Правление колхоза решило, что этот амбарчик в огороде Беловых стоит напрасно, его отдали под хлев фронтовику.) Бригадир Рябков, только что демобилизованный из армии (прозвище у него было Безменко), не постеснялся того, что Иван Федорович погиб на фронте, и увез от вдовы и сирот их любимый амбарчик.

Конфликты между вдовами погибших и уцелевшими, вернувшимися фронтовиками разгорались не так уж и редко. Литература наша краешком не коснулась этих конфликтов! Тут бы не помешал и газетный документализм...

Наверное, вспоминались моей маме и предвоенные обиды, нанесенные властью, потому и пела она такую частушку о белых снегах. Но разве не то же было и с Марией Сергеевной — шукшинской матерью? Те же снега падали и на Алтае, да и по всей Руси великой. Крестьянская наша боль передалась нам по наследству...

Моя борьба за отдельную комнату в общежитии развернулась еще до знакомства с Макарычем. Комендант смотрел на мои потуги сквозь пальцы, особенно после того, как однажды позвонили из КГБ и к телефону позвали меня.

Перепуганный, я прибежал в кабинет к Циклопу (так мы называли коменданта за косоглазие).

— Товарищ Белов? — послышалось в трубке. — Не смогли бы вы приехать к нам?

Голос назвал адрес и номер кагэбэшного кабинета.

«Когда?» — сипло спросил я. Человек сказал, что можно хоть сейчас, и добавил: «Вы в чем одеты?» — «Я буду в шляпе и в сером демисезонном пальто...» — «Хорошо, я вас встречу, ровно через сорок минут».

Он опять не назвал себя, а я, ошарашенный, поехал по указанному адресу. Это был дом на площади, не помню, как она тогда называлась. Перед домом стояла скульптура. Раскоряченный памятник, в церетелевском стиле, напоминал то ли что-то птичье, то ли какого-то комара. (Этот памятник-раскоряку какому-то палачу из свиты Дзержинского, как и высоченную скульптуру самого Дзержинского, потом убрали.) Человек, звонивший в общежитие, оказался даже без пальто. Он быстро провел меня в подъезд. Показал на одно из шести, или даже восьми, окон.

— Оформите пропуск. Есть у вас какой-нибудь документ?

Ниша окна была узкой, как амбразура.

Студенческого билета, о котором я мечтал так много лет, было достаточно. Незврачный, незапоминающийся сотрудник этого жуткого для меня ведомства сначала исчез, потом опять появился и провел в какую-то полуподвальную комнату. Он усадил меня за низкий стол, сам сел напротив.

— Знаете ли вы, зачем мы вас вызвали? Нет. А скажите мне, с кем вы знакомы в Вологде?

Я сказал, что знакомых в Вологде у меня много.

Он предложил мне закурить и произнес:

— У нас есть сведения, что вы участвуете в вологодской подпольной организации, которая имеет заграничные связи...

У меня, наверное, глаза полезли на лоб, потому что он замолк и начал внимательно меня разглядывать. Может, и не очень внимательно, не помню. Я был совсем удивлен и спросил, где доказательства такого глупого обвинения. Но в таких заведениях спрашивают всегда не те, которых сюда пригласили.

— Знаете ли вы Игоря Тихонова?

— Да.

— А поэта Аркадия Сухарева?

— Да.

— А студента Литинститута Могилевцева?

— Да, но при чем тут...

— При чем тут вы, хотите спросить? При том, что вы член этой организации. У вас уже есть связи с заграницей, вынашивались планы доставки оружия...

Тут он явно перебарщивал. Это не лезло ни в какие ворота.

Я возмутился и от этого несколько осмелел. Четко сказал, что ни в каких подпольных организациях не участвовал, а в литературных разговорах никогда не было никаких слов об оружии.

— Но у нас есть письмо Сухарева, где он обвиняет Игоря Тихонова именно в том, о чем я говорю! А как вы относитесь к Геннадию Могилевцеву?

Геннадий Могилевцев учился на старшем курсе, был на практике в Вологде и печатал в молодежной газете неплохие стихи. Мне запомнилось его стихотворение о ветряной мельнице. Романтический образ мельницы волновал и меня, хотя тогда это был образ водяной, а не ветряной мельницы. Именно водяная имела в виду в моих стихах, впервые опубликованных в ленинградском журнале. (Эта публикация и искусила меня вступить на скользкий литературный путь, по которому иду так много лет.) Но и образ ветряной мельницы меня волновал, с нее я и начал позднее свою «Историческую хронику». Книга «Кануны» была продолжена книгой «Год великого перелома», вышедший в 1994 году. Эпиграфом к «Году» я взял никому не известные слова русофоба Энгельса о славянстве. Эти слова, написанные по-немецки, и до сих пор смущают всех коммунистов.* Так что теоретически КГБ вправе был подозревать во мне диссидента. Только если я и был таковым, то с вологодским «душком», как выразился В. Тендряков. Но разговоры об оружии? Конечно же, это пьяная фантазия или Аркадия Сухарева, или Игоря Тихо-

* «На сентиментальные фразы о братстве народов, с которыми обращаются к нам от имени контрреволюционных национальностей Европы, мы отвечаем: ненависть к русским была и поныне является у немцев их первой революционной страстью...

При первом же победоносном восстании французского пролетариата... у австрийских немцев и мадьяр руки будут свободны, и они ответят славянским варварам кровавой мстью.

Всеобщая война, которая разразится, раздробит славянский союз и уничтожит эти мелкие тупоголовые национальности вплоть до их имени включительно. Да, ближайшая всемирная война сотрет с лица земли не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы, — и это будет прогрессом.

Мы знаем теперь, где сосредоточены враги революции: в России и в славянских землях Австрии... Мы знаем, что нам делать: истребительная война и безудержный террор — не в интересах Германии, но в интересах революции». Фр. Энгельс. (Рг. Ер. Engels. "Der demokratische Panslavism", стр. 263—265.)

«Поднявший меч от меча и погибнет». Александр Невский», — добавляю я, делая сейчас такую большую сноску.

нова, или того же Генки Могилевцева. Я возмутился и потребовал очную ставку с любым из них, кто говорил о тайной организации.

— Хорошо, мы сделаем вам очную ставку! — с угрозой сказал сотрудник всемогущих органов. — А каково настроение среди студентов на вашем курсе? Расскажите...

Только сейчас я начал понимать, что к чему. Меня, как бывшего секретаря РК ВЛКСМ, шантажируют и вербуют в органы. У меня отлегло, как говорится, от сердца. Оперативник опять пообещал мне сделать очную ставку с Аркадием Сухаревым или Тихоновым. Он подал мне чистую бумагу:

— Сядьте и напишите все то, что вы говорили.

— Что писать?

— То, что вы говорили... Когда напишите, я приду...

Он ушел, а я сел и начал вспоминать, о чем мы говорили. Через полчаса он явился и с неудовольствием прочитал страничку, которую я накарябал. Он хмыкнул, однако же смолчал. Он так и не назвал себя. Но в третий раз посулил очную ставку с доносчиком и сказал, что позвонит в общежитие. Я с облегчением выпростался на улицу под сень памятника, который в церетелевском стиле. Показалось теперь, что и доносчика настоящего не могло и быть, поскольку нет в Вологде никакой тайной организации.* Я уехал и несколько месяцев ждал обещанную очную ставку, но так и не дождался, и окончательно понял, что меня шантажировали, желая сделать агентом на курсе. После этого случая друзья подсказали, кто из студентов промышляет стукачеством. Некоторых я хорошо знал. Это были те, кто за бутылкой вина целыми ночами играли в преферанс, на лекции ходили по выбору, редко, беря освобождения в поликлинике в связи с «геморроидальными узлами» или «зубной болью». Не знаю, с кем «играл в преферанс» Женя Евтушенко, мне сие не известно, но уже в те времена многие знали о стукачестве «лучшего поэта России».

На каникулах в Вологде я узнал, как в ресторане «Север» сравнительно молодой Игорь Тихонов плеснул из бокала сухим вином в лицо старика Сухарева. Тот от бессилия или трусости ничем не мог ответить и написал в КГБ

* Странно, что теперь, после Бакатина, после того, как многие генералы из органов перебежали стеречь банкиров, КГБ представляется совсем по-иному... По крайней мере, прежний КГБ не выглядел прямолинейным разрушителем государства.

цидулю на Игоря, упомянул в ней мою фамилию и еще нескольких.

Жаль, Аркадий Сухарев был не дурной поэт. Он отсидел много лет, подобно моему тестю. Игорь же, как говорилось выше, так и не смог одолеть образовательное препятствие.

О, сколько было их на Руси, талантливых, но пропавших из-за сиротства, из-за тюрьмы или из-за обычной нужды! Горечь за таких ребят, которым были намертво закрыты дороги в искусство, в литературу и вообще «в люди», выражена мною в стихотворении, посвященном памяти таких, теперь уже умерших моих друзей, как Игорь Тихонов, Валерий Гаврилин, Николай Рубцов, Владимир Шириков, Александр Романов. Критики-демократы всех их оптом записывали в кагэбэшные пристегаи. Василий Шукшин, конечно же, шел по разряду таких же, хотя, подобно Гаврилину и Александру Романову, сумел пробиться к диплому. Вот это стихотворение:

*Нет, я не падал на колени
И не сгибался я в дугу,
Но я ушел из той деревни,
Что на зеленом берегу.
Через березовые склоны,
Через ольховые кусты,
Через еврейские заслоны
И комиссарские посты
Мостил я летом и зимою
Лесную гибельную гать...
Они рванулись вслед за мною,
Но не могли уже догнать.
Они гнались, гнались недаром,
Чтобы вернуть под сельский кров.
...Я уходил на дым пожаров,
На высыхающую кровь.
Под дикий свист вселенской злости
Вперед!.. еще немного вспять, —
Где ноют праведные кости
И слезы детские кипят.
Пускай одни земные кремни
Расскажут другу и врагу,
Куда я шел из той деревни,
Что на зеленом берегу.*

Эти строчки были написаны еще до смерти Макарыча, но он их не знал, я их просто прятал. Но мое литинсти-

тутское настроение он знал превосходно. В свободное время он не однажды навещал меня в общежитии. Во время скромного обеда в ЦДЛ, где мы отмечали сдачу «Такого парня», зашел разговор о поездке в Сростки. На студенческую стипендию летать в Сибирь, конечно, было начекисто. Я отнекивался, но Макарыч всерьез задумал такое путешествие. И однажды я сдался...

Мы выехали во Внуково и купили билеты на ближайший рейс (конечно, за счет Шукшина). Рейс откладывали, объясняя техническими причинами. Мы проголодались, изнервничались. Макарыч утянул меня в ресторан. Там мы услышали, что рейс на Бийск и вовсе отменили. Взбешенный Макарыч заказал коньяку... Каково же было мое удивление, когда девушка в справочном сообщила, что рейс отменили из-за малой нагрузки! С горя Макарыч начал дерзить милиции, я с трудом отводил его от опасности. Каким-то образом удалось благополучно уехать из Внукова. Так неудачна оказалась наша попытка слетать на Алтай.

При жизни Макарыча мне так и не удалось побывать на его родине.

Прилетел я туда вместе с женой, когда его уже не было на свете. Паслей Самык, с которым я вместе учился, встретил нас у автобуса, приглашая в гости. (Дескать, специально даже баран куплен.) Мы к Самыку не поехали. Делегация летала на вертолете на знаменитое Телецкое озеро. Баран, что был припасен к нашему приезду, как выяснилось, убежал из сарайки. Его ловили общими усилиями. Мудрый, по-восточному философичный Самык вроде бы на нас не обиделся: после Телецкого озера мы поспешили в Бийск, затем в Сростки на шукшинские дни. В Горно-Алтайск не заезжали.

Алтайские пейзажи оказались куда роскошнее и шире вологодских, они запомнились мне навсегда. Но Макарыч полюбил и мою родину, она была ему близка и понятна. Вологодчина ближе к Москве, Макарыч завидовал этой близости. Восемь часов — и дома... В один из приездов в Тимониху он всерьез хотел купить домишко около озера в нашем колхозе. Долго ходил вокруг этого озерного домика с есенинской березой под окном. Дом стоил всего какие-то гроши. У меня и этих грошей не имелось, а последние деньги Макарыча были вложены в какую-то подмосковную дачу. Семья его копилась, надо было содержать мать и учить племянника, денег всегда не хватало. Напрасно думают, что кино приносит большой доход.

Впрочем, кому как. Макарыч к богатым отнюдь не принадлежал, я тем более. Он изо всех сил помогал мне пробить сценарии, это видно по письмам.

И ничего у нас не получалось, ничего! Мы натыкались на какую-то невидимую паутину, сплетенную хитро, давно и основательно. Как он переживал, что я по дешевке отдал «Ленфильму» право экранизации повести «Привычное дело». Поставить фильм как следует режиссеру Ершову не дали времени. Может, он и сам не очень хотел ставить «как следует»? Жена Михаила Дудина Тарсанова легонечко обвела неопытного автора повести вокруг пальца. (Это повторилось позднее на телевидении.) Я был рад и тем жалким рублям, кои мне выплатили на «Ленфильме». Макарыч, когда узнал, то негодовал уже на меня: «...Жаль, что ты продал право на экранизацию. Очень жаль! Договор, что ли, есть? Это ужасно глупо, друже. Такие повести не пишутся каждый год. Если еще договора нет, не подписывай, скажи им, что передумал, что хотел бы участвовать в написании сценария хотя бы на пару с кем-нибудь. Облапошили, пираты! Повторяю, никуда бы они не делись! Как же так? Ведь тебе за такие деньги надо две книги писать. Ты же не фабрика! Ах, черти!.. Не стыдись их, если не поздно. Они сами никого не стыдятся. Пойми это. Уважай себя. Это грабеж среди бела дня. Небось, Нагибина не надуешь. Послушай ты меня: если не поздно, верни свое согласие на продажу права — поставь свое условие».

Увы, было уже поздно, договор с Тарсановой подписан и отослан...

В этом же письме Макарыч сообщал: «Был у меня тут один разговор с этими...» (На что бесстрашен, и то некоторые слова вслух произносить побаивался.) «Про нас с тобой говорят, что у нас это эпизод, что мы взлетели на волне, а дальше у нас не хватит культуры, что мы так и останемся — свидетелями, в рамках прожитой нами жизни, не больше. Неужели так? Неужели они правы? Нет, надо их как-то опружить...»

Нам усиленно прививали всевозможные комплексы. Враги ненавидели нашу волю к борьбе. Тот, кто стремился отстаивать свои кровные права, кто стремился к цели, кто понимал свое положение и осознал важность своей работы, кто защищал собственное достоинство, был для этих «культурников» самым опасным. Таких им надо было давить или дурить, внушая комплекс неполноценности. «И чего им всем не хватает? — писал Шукшин. — Злятся,

подсигивают друг дружку, вредят, где только можно. Сколько бешенства, если ты чего-то добился, сходил, например, к начальству без их ведома. Перестанут даже здороваться...»

Вспоминаю, как со смехом Шукшин рассказывал о мнимой ссоре с оператором Заболоцким. Оба притворились, что насмерть поссорились. Разошлись, так сказать, друг с дружкой. И сразу в мосфильмовских коридорах с обоими начали здороваться, останавливать и любезничать. Уж так довольны, что дружба распалась!.. Чья эта строчка: «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно»? «А вот и доказательство! — завопит памятливый за всегдатай «фабрики снов». — Не знаешь ведь ты, чья эта строка-то! Съел?»

Мы оба извели снобистское презрение городской, главным образом пижонской стихии. Невидимая «табеля о рангах» безотказно действовала в Москве, в Ленинграде, в Киеве и в Одессе. Сценарий кинокомедии даже с помощью Шукшина нигде не прошел. Везде вежливо отвергали. Шукшин страдал оттого, что не может мне помочь выбраться из нужды. История с «Ленфильмом» возмутила его. Съездил я в Ленинград на премьеру фильма и успокоился. Наплевать, что жена Дудина меня обдурила! На банкете по случаю просмотра меня притворно поздравляли, среди приглашенных были знаменитости вроде Лаврова и Смоктуновского. Своеобразная компенсация дурачку-автору...

Снобистскую, порой презрительную снисходительность к себе я чувствовал в не меньшей мере, и на каждом шагу старался забыть оскорбления и обиды. Но можно ли прощать и забывать прямое вранье? Да еще в печати? Покойный А. Кондратович в своем «Новомировском дневнике» за 1968 год ссылается на А. Т. Твардовского и называет Белова сперва почему-то «хитрым», потом «деревенским святым». Оказывается, глаза у меня «умненькие», «пиджачок и брючишки помяты». Прочие благоглупости с помощью суффиксов так и вылезают из этого дневника. Порой автор просто нахально врет. Например, когда говорит о том, что заинтересовались мною раньше, что рассказы мои они не смогли пробить и т. д. Но все было по-другому. Рассказы мои редакция «Нового мира» просто не допустила даже до Кондратовича, не говоря про Твардовского. Кондратович задним числом выкручивается и сочиняет небылицы. На самом деле была история с командировкой, которую выхлопотал мне Александр Яшин. После поездки я пред-

ставлял члену редколлегии Герасимову очерк, но очерк был забракован Твардовским. Рассказы же я приносил еще до этой командировки. Миша Рошин, служивший тогда в «Новом мире», возвращая рукопись, сказал прямо и безапелляционно: «Такие рассказы нам не подходят». Рукопись не дошла даже до Герасимова...

Как часто господа из редакций заворачивали авторов, ссылаясь на цензуру, тогда как авторы просто не годились мишам роциным! Если б не Яшин, я бы никогда не встретил и Твардовского...

В «Новом мире» у меня был приятель Юра Буртин, я считал его русским и говорил с ним без обиняков, честно. Это не помешало Юре углядеть в моих действиях антисемитские наклонности. Игорь Виноградов, сидевший в то время в редакции, в разговорах постоянно провоцировал антиеврейские темы. Однажды он при мне и Инне Борисовой заявил, что он чистокровный татарин. Его поздние статьи обнаруживают совсем иное происхождение автора.

Анну Самойловну Берзер, хотя она и забрала некоторые мои бухтины, я уважал больше, чем притворщиков, которые звали себя «татарами». Анна Самойловна была опытной журналисткой и, несмотря на некоторую специфичность своих взглядов, являлась прекрасной добропорядочной редакторшей. (По крайней мере, она не сюсюкала по поводу «умненьких глазок» и гардероба «деревенского мужичка». Кстати, гардероб-то у меня был вполне приличный, это Кондратовичу хотелось придать моим брюкам определенный вид.) Инна Борисова старалась быть не фамильярной и доброжелательной, более осторожной в суждениях. Не то что Игорь Виноградов...

Сейчас, читая письма вдовы Твардовского Марии Илларионовны, я вспоминаю первую встречу с Александром Трифоновичем. Мы говорили тогда о положении крестьянства. Моя позиция была вполне радикальна: надо устранить советское крепостное право и дать паспорта всем колхозникам. Александр Трифонович вдруг поднялся из-за стола во весь свой богатырский рост. Он вышел на середину кабинета и широко развел руками:

— Так ведь разбегутся же все!

Кондратович не вспоминает об этой сцене, хотя вроде бы присутствовал.

Макарычу попадало от «французов» еще больше, чем мне. Лидия Федосеева, мать двух дочерей Шукшина, в те времена была единокровна с мужем, по крайней мере, мне так представлялось.

Помню, Шукшин вез ее и меня в такси. Я оказался свидетелем их очередной размолвки и пытался не вмешиваться. Дело было после большого дождя. Мокрый асфальт вдруг начал куда-то уходить из-под наших колес. Задняя часть машины загуляла из стороны в сторону. Скорость оказалась приличная, километров семьдесят. Шофер, видимо, слегка тормознул. Автомобиль завис. Секунды две мы ехали на одном колесе. Машина вдруг сошла с асфальта и едва не врезалась в группу людей, скопившихся на автобусной остановке. Проехав метров десять по грунту, мы заглохли. Замерли у какого-то забора. В тишине Шукшин повернулся назад: «Что, господа, трухнули?» И засмеялся, хоть и было не до смеха. Лида не успела даже побледнеть. Ездить на одном колесе действительно несколько жутковато. Судьба отвела нас от беды. Хорошо, что машина врезалась не в автобусную очередь, а замерла метрах в двадцати от нее. Все трое (с шофером четверо) остались целы. Бог еще хранил Шукшина, а вместе с ним и других...

Все время я сбиваюсь на собственную биографию. Но что делать? Судьба Шукшина была так родственна мне, так похожа, что приходится «якать», объясняя сходство в событиях и в отношении к этим событиям.

Как-то я привез в Москву и подарил Макарычу икону начала XVII века (может, и конца). Он жил тогда без постоянного пристанища и оставил икону на какой-то квартире. Хозяин квартиры (киношник) похвастал своей иконой, а вологодский художник Николай Бурмагин ездил в Москву и услышал, что Белов якобы с помощью Шукшина избавился от шедевра... Христос-Эммануил оказался в ведении одного из шукшинских «благодетелей», у которого Шукшин раз или два ночевал. Бурмагин смеялся над моей близорукостью, я обиделся на Макарыча и, наверное, высказал эту обиду в каком-то письме...

По приезде моем в столицу мы в тот же день вместе двинулись выручать икону. Это оказалось не простым делом. Икону киношник возвращать не хотел. Макарычу пришлось сунуть ему четвертной, чтобы забрать свою же икону. За хранение, что ли?

Шукшин искренне радовался, что вернул себе мой подарок. Киношник (не помню его фамилии) активно сопротивлялся, но деваться ему было некуда...

Двигался ли к Богу сам Шукшин? Мне кажется, да. Некоторые его поступки указывали на это вполне определенно, не говоря о литературных. Вспомним кое-какие

его рассказы, хотя бы «Залетный» в сборнике «Земляки», изданном в 1970 году. (Он надписал мне эту книжку в октябре того же года.)

Долго и труден наш путь к Богу после многих десятилетий марксистского атеизма! Двигаться по этому пути надо хотя бы с друзьями, но колоннами к Богу не приближаются. Коллективное движение возможно лишь в противоположную сторону...

Мое отношение к пляшущему попу (рассказ «Верую») и при Макарыче было отрицательным, но я, не желая ссориться с автором, не говорил ему об этом. Сам пробуждался только-только... Страна была все еще заморожена атеистическим холодом. Лишь отдельные места, редкие проталины, вроде Псково-Печорского монастыря, подтачивали холодный коммуно-еврейский айсберг. Но и такие места погоду в безбожной России еще не делали. Однажды я оказался свидетелем встречи фальшивого печорского монаха с новомировцем Юрием Буртиным. Этот «монах» (наверняка с одобрения КГБ) проник в Печорский монастырь со своими тайными целями, жил там несколько лет и собрал, записал большой компромат на всех насельников. Теперь он решил извлечь из этого компромата материальную выгоду и притащил свои записи в «Новый мир». С Буртиным у меня были хорошие отношения, тогда он успешно громил «заединщиков» вроде Грибачева, Маркова и других официозных писателей. Двери к Буртину для меня были всегда открыты, не то что к Кондратовичу или к Дементьеву. (Эти не давали Александру Трифоновичу без них шагу ступить, либеральный конвой шутить не любит.)

Меня запросто занесло в закуток к Буртину. Там как раз сидел этот самый «монах». Насколько помню, Юра смутился, «монах» и при мне увлеченно клеймил монастырских насельников. Показывал в доказательство фотографии и чуть не захлебывался в своих обличениях, считая, что он в среде единомышленников. Но даже Буртин морщился от бесовских восторгов доносчика. Юра быстро свернул разговор к необязательному обещанию познакомиться с рукописью.

В ту пору я читал на квартире у Буртина подпольно распространяемую книгу Авторханова «Технология власти», где имелись подробности троцкистско-бухаринского бунта против Сталина. Глаза открывались медленно, ведь мы почти ничего не знали. Проходили отдаленные слухи о ленинградских юношах, создавших ВСХСОН — тайную

организацию с христианской идеологией. Шукшин жадно ловил эти слухи и делился ими со мной и Анатолием Заболоцким. Попадал к Макарычу и журнал В. Осипова «Вече». Какая-то дама, вроде бы жена Фатей Яковлевича Шипунова, встретила нас на лестнице студии имени Горького. Она заговорила о журнале «Вече». Но мы оба, боясь провокации, откровенными с ней не стали. Фатей был странным сибиряком и отпугивал шумной своей откровенностью. Владимир Осипов тоже ведь был откровенен, и, может, зря мы боялись распространителей журнала «Вече»? На Руси уже тогда имелись смелые, мужественные, не подставные ее защитники. Правда, почти все из них сидели по тюрьмам...

Макарыч безжалостно тратился на фотокопии недоступных простому читателю книг, таких, как авторхановская «Технология» или книги В. В. Розанова, талантливейшего, несколько демонического представителя русской журналистики. Даже «Историю кабаков» Макарыч вынужден был переснимать, не говоря о более серьезной литературе. Он жадно поглощал запретные тексты, отснятые на фотобумаге мелким, вредным для глаз шрифтом. Многим из нас такой шрифт основательно портил зрение. Книг не было!

Мне уже приходилось писать, что еврейские диссиденты возили из-за границы то, что надо было именно им, еврейским диссидентам, отнюдь не нам, русским. Помню, в Германии при посещении православного монастыря мне подарили крохотную брошюру о Карле Марксе. Какой-то венгерский автор, тоже, впрочем, еврей, написал правду о Марксе, о его сатанизме. Я был поражен открытием, хотел привезти книжечку домой, но в последний момент струсил, выбросил в гостиничную урну. Жаль. Всем коммунистам надо было знать про эту книжицу. Она не дошла до России и до сих пор, ее сюда не пускают и еще долго не пустят.

Шукшин все время звал меня в Москву. Если б я и захотел жить в Москве, я не смог бы это осуществить, мне там никто не припас жилья. Но я и не рвался туда. Мой друг ревновал меня к Вологде, завидовал возможности в любое время укрыться в деревне от столичных невзгод. Но совсем без Москвы тоже было невозможно, Москва печатала, кормила, поила, несмотря на обилие недругов.

Анатолий Заболоцкий правдиво описывает знакомство с Макарычем и свою жизнь в Минске. Шукшин искал верных друзей. Ради него Толя сменял минскую квартиру

на московскую и обосновался в столице. Шукшин хотел, чтобы так же сделал и я, да Москву на Вологду тогда не меняли. Не много было у него настоящих друзей! Сростки с матерью далеко, да и делать режиссеру в Сростках нечего. Нужна Москва...

К тому времени я закончил институт, но в Москву то и дело приходилось ездить. Полтысячи километров — это все же не то, что летать на Алтай. Хотя нужда тоже иногда подпирала. Но я не был избалованным. Дали вологодские власти какую-то квартиренку, и ладно. (С годами вселился в настоящую трехкомнатную.)

В один из московских приездов я прямо с вокзала залетел к Шукшину в Свиблово, где уже ночевал однажды. Но его дома не оказалось. Лида сказала, что он дома не живет и где он сейчас, она будто бы не знает. Знала, конечно, и намекнула на Заболоцкого.

У Толи оказалась довольно большая, но какая-то пустынная, похожая на рубцовскую, комната. Из мебели стол да кровать. Еще имелась раскладушка, которую и захватил беглый, совершенно трезвый и даже веселый Макарыч. На полу около раскладушки валялись бумаги и прошнурованные фотокопии запретных книг. В ответ на мой вопросительный взгляд Макарыч крикнул:

— Да не могу я с ней сладить! Вот к Толе сбежал... Пьем кофе и думаем.

Толя снова поставил чайник.

Ни у одного из нас интеллигентской привычки вести дневник не было. Мы ничего никогда не записывали. Может, напрасно? Память запечатлела многие острые разговоры. В тот раз мы говорили о странном сходстве евреев с женщинами, вспомнили, что говаривал о женщинах Пушкин. Дома в Вологде у меня имелся случайный томик Пушкина. На 39-й странице есть такой текст: «Браните мужчин вообще, разбирайте все их пороки, ни один не подумает заступиться. Но дотроньтесь сатирически до прекрасного пола — все женщины восстанут на вас единодушно — они составляют один народ, одну секту». («Как евреи» — это была моя добавка к Пушкину.)

Говорили о «нечаевщине», описанной Достоевским в «Бесах». Шукшин от волнения даже вскочил. Этот роман Федора Михайловича он считал самым потрясающим.

А чем нас воспитывали, чему учили в детстве и юности? «Оводом» Войнич да «Чапаевым» Фурманова, горьковским «Челкашом» в придачу. Хорошо, если окажется под рукой «Хождение по мукам» Алексея Толстого либо

«Железный поток» Серафимовича. Есенина с Клюевым не было и в помине. В школьных шкафах сплошь Жаровы да Чуковские. Лермонтов до сих пор прощается с «немытой Россией», прощался бы еще, да подоспел Бушин со своей статьей.

Говорили в тот день и о требовании ленинградских коммунистов изменить Устав партии. Откуда-то Макарыч расчухал, что ленинградцы требуют ограничить прием в партию женщин. Мы оба выражали ленинградцам тайную солидарность. Шукшин вообще относился к женщинам здраво, то есть где всерьез, а где с юмором. Высмеивал моду, стремление женщин подражать мужикам в одежде и в физической силе, страдал от «бабьих» потуг обходиться без мужей в обеспечении семьи. Уже тогда шла психологическая атака на традиционные семейные ценности.

Мы оба были против западных «ценностей», пропагандируемых «Свободой» и «Свободной Европой». Как ни глушил будущий перестройщик А. Н. Яковлев эти радиостанции, забугорные передатчики были такими мощными, что сплошной грохот генераторов не мог как следует заглушить западные голоса. Позднее я узнал, что глушились уже и те американские передачи, которые были невыгодны «мировой закулисе», «лучшему немцу» и всей его перестройке. Но глушились уже не нами, а самими американцами или их европейскими пристегаями. Как я узнал это? Очень просто. После поездки в США и моего выступления на «Свободе» я сходил к А. Н. Яковлеву и, притворившись простачком, спросил, работают ли в Европе наши глушилки. «Нет, давно уже не работают», — ответил Александр Николаевич, главный наш перестройщик. Да, наши глушилки и впрямь уже бездействовали. Тогда кто же глушил мое выступление? Конечно, я не сказал Яковлеву, что выступал на «Свободе», что меня глушили его же западные хозяева. А то, что глушили — это был факт. Не могло тут быть никакой ошибки, цензура была всемирна. Мои друзья в Европе слушали мое выступление на радио «Свобода», вдруг началось завывание генераторов. Европейские глушилки включались, когда кто-то намеренно или ошибочно говорил по «Свободе» что-то невыгодное «мировой закулисе». Тут уж были бесстрашны все, даже самые матерые балканские диссиденты, не то что какой-то там «россиянин» вроде Белова. Надежда на свободную Европу была явно худая. Жаль, я уже не мог рассказать об этой истории Макарычу, среди живых его уже не было.

Мы собирали правдивую информацию по крупичам, в том числе и с помощью той книжечки, что я выбросил в гостинице Франкфурта. Вот почему бесились и брызгали на нас ядом яркие столичные культуртрегеры, внушавшие нам комплекс бескультурия и малых наших возможностей.

Я стеснялся ночевать в Свиблове у Макарыча, когда приезжал в Москву. Однажды в ту пору, когда он еще прикладывался к алкоголю, Лида в слезах открыла дверь свибловской квартиры. Я приезжал всегда утром, а тут был, кажется, вечер. Маши в проходной комнате не было, она, видимо, спала в маленькой, следующей. Шукшин хмуро сидел за столом с бокалом сухого вина в руке. У дверей стоял большой чемодан.

— Мы разводимся, — сказала Лида, заметив мое недоумение по поводу чемодана.

Макарыч подтвердил ее слова и сильно сдавил в кулаке бокал с красным вином. Бокал хрустнул, осколки посуды с остатками вина были зажаты в его кулаке. Было удивительно, как он не поранил руку. Мои жалкие утешения на него не действовали. Он глухо, но отчетливо запел свою любимую сибирскую:

*Миленький ты мой,
Возьми меня с собой,
Там, в краю далеком
Буду тебе я женой.
Милая моя,
Взял бы я тебя,
Там, в краю далеком
Есть у меня жена...*

По-видимому, эта песня сопровождала Макарыча постоянно с тех пор, как он оставил в Сибири мать, первую жену, сестру и маленького племянника. Тоска по родине, боль за близких все эти годы ни на минуту не покидали его. Москва сдавалась ему очень медленно. Наконец он заимел свою квартиру и мог уединиться хотя бы на кухне. Что же опять лишило покоя обитателей этой небольшой, прямо скажем, тесной квартиры?..

Мою нелюбовь к номенклатурной литературной верхушке он вполне разделял, но мы, наверное, оба еще не знали молитву святого Ефрема Сирина. Хотя надо было знать эту молитву:

«Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалаия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя согрешения и не осуждати брата моего. Яко благословен еси во веки веков. Аминь».

Знай эту молитву или хотя бы пушкинский шедевр, я бы, может, и не сделал своего отрицательного героя Софроновым. Что теперь толковать... Началось все с того, что у одного из литературных столпов, у Вадима Кожевникова, героем был сделан мой однофамилец. И я присобачил своему не очень симпатичному герою фамилию Софранов.*

Когда я спросил Макарыча о причине очередного скандала, он отмахнулся: «Деньги... Бабам нужны деньги, больше им ничего не нужно... Я удочерил девочку... Ну, ту, которая у Вики. А то больно уж непонятная фамилия...»

Я вспыхнул, только сейчас соображая, в чем дело...

Серегинский секретарь комсомольского комитета Слава Марченко, ставший вскоре отчимом девочки и сотрудником «Нашего современника», согласился исправить мою литературную бестактность. Букву «ф» надо было заменить на «п». Мы сидели со Славой в обширном холле гостиницы «Украина», вспоминали Литинститут, Серегина и усердно правили мою грешную хронику... Но что значила та, в общем-то, безобидная правка по сравнению с восемью десятками красных галочек, поставленных на рукописи Альбертом Беляевым? После экзекуции в ЦК Марченко я уже не боялся.

В книге А. Д. Заболоцкого «Шукшин в жизни и на экране» подробно отражено, как создавалась кинокартина «Калина красная». Многие эпизоды фильма снимались на Вологодчине. С островом Сладким я был знаком через майора Леонида Буркова, который служил в УВД. Это был добрейший человек, пробудивший у Александра Яшина интерес к острову. Своего земляка Сергея Орлова Бурков, сколько ни приглашал в эту режимную, к тому году закрытую колонию, не мог туда увлечь. Майору Буркову

* «Кануны» не были еще опубликованы, однако уже писались. Редактор «Огонька», сколько я ни пытался, ни разу меня не напечатал. Не случилось этого даже тогда, когда сотрудником журнала по прозе стал Иван Пузанов, мой многолетний и, как мне казалось, надежный товарищ. Разумеется, Софранов был в числе благодетельствованных властями. ЦК признавал Софранова, а не Яшина с «Рычагами»...

помогал Евгений Макаровский, будучи секретарем Белозерского РК КПСС. Яшин живо откликнулся на приглашение и приехал на остров вместе с семьей. Он страстно увлекался рыбалкой, ежедневно ездил по озеру с дорожкой и спиннингом, успешно ловил крупную рыбу.

Остров, собственно, был не один, а два: главный, большой считался непосредственно монастырем, его мощные стены вымахивали прямо из озерных глубин, образуя романтическую средневековую крепость. В бывших кельях содержались особо опасные узники, кажется, даже смертники и заключенные с громадными сроками, поскольку за каждый побег срок прогрессивно увеличивался.

Прибрежный колхоз имени Карла Либкнехта кормил и обслуживал колонию, но к тому времени учреждение прикрыли. (Мужики свой колхоз звали «Карл Липкин», он захирел со временем, а колонию забросили.)

Рядом с монастырем-крепостью был второй остров, где проходили когда-то ярмарочные праздники, отчего и называли его Сладким. Крепость соединялась с островом свайным мостом.

Мы с Александром Яшиным обследовали все камеры и всю лагерную систему охраны. Зона делилась когда-то на две части — бытовую и производственную. Лодки въезжали прямо в крепостные ворота. Пилорама была заброшена, везде валялись лагерные бумаги и всякие остатки «прежней роскоши», вроде банных тазов. Бараки для охраны и дома лагерного начальства сохранились и некоторые использовались для хранения сена. Яшины выбрали себе пустующий дом. В «кабинет» для Александра Яковлевича жена сторожа подобрала письменный стол, принадлежавший какому-то лагерному начальнику. Я приезжал навестить Яшиных вместе с директором издательства Владимиром Малковым и Аркадием Сухаревым.

Малков сразу уехал. Аркадий же Сухарев целыми днями одиноко жарился на солнце, калил на костре какой-то большой паяльник и топил с его помощью смолу в лодочных швах. Я ездил с Александром Яковлевичем в другой лодке либо прямо из барачного окошка удил рыбу...

Злата Константиновна угощала ухой, звала меня почему-то Васенькой. Обследуя бывшие кельи, я натолкнулся на одну камеру, сплошь разрисованную фресками по штукатурке. Было расписано красиво, но везде мерзость запустения. Яшин упрямо кидал спиннинг, что-то сердито ворчал в усы. Он убеждал меня, что колонию все равно скоро опять откроют и что все вернется на круги своя...

Так оно и случилось.

Когда снимали «Калину красную», крепость и вся система охраны, бараки и камеры — все было восстановлено. Со дня на день я откладывал поездку на остров Сладкий, да так и не съездил. Побывал у Шукшина лишь в Белозерске. Макарыч обрадовался встрече, показал брошенную кем-то квартирнку в деревянном доме. Они с женой ночевали тут по-походному. Подарил мне дореволюционную книжечку Горбунова, взятую у какой-то белозерской старушки. Он знал, что я увлекался этим великолепным рассказчиком, совмещавшим в себе писателя и прекрасного артиста. Горбуновские миниатюры неповторимы. Я вслух зачитал про пушку:

— Ребята, вот так пушка!

— Да!..

— Уж очень, сейчас умереть, большая!

— Большая!..

— А что, ежели теперича эту самую пушку, к примеру, зарядить да пальнуть...

— Да!

— Особливо ядром зарядят.

— Ядром ловко, а ежели бонбой, ребята, — лучше.

— Нет, ядром лучше!

— Всё одно, что ядро, что бонба!

— О, дурак-черт! Чай, ядро особь статья, а бонба особь статья.

— Ну, что врешь-то!

— Вестимо! Ядро теперича зарядят, прижгут, оно и летит.

— А бонба?

— Чаво бонба?

— Ну, ты говоришь — ядро летит... а бонба?

— А бонба другое.

— Да чаво другое-то?

— Бонбу ежели как ее вставят, так то... туда...

— Так что же?

— Бонбу...

— Ну?

— Вставят... ежели оттеда...

— Чаво оттеда...

— Ничего, а как собственно... Пошел к черту!»

Макарыч искренне смеялся, но ощущалась какая-то подкожная грусть, я видел его нутряную усталость. Картина, видимо, совсем его вымотала. В штабе съемочной группы в Доме колхозника он поспешно распорядился,

кому что делать, раздраженно объяснился с нерадивым мосфильмовским работником. Я ушел, чтобы не мешать, и попал в цепкие руки какого-то фотографа. Из «штаба» мы на автобусе уехали к месту съемок в деревню, где жила брошенная сыновьями старушка.

Ощущалась не только физическая усталость Макарыча, но и моральная. Он был раздражен политикой «Мосфильма» в отношении «Калины красной». То пленку дают второсортную, то плохую аппаратуру. То слишком долго не проявляют отснятый материал, а затем торопят снимать и требуют план. Кое-кто из актеров не приехал. Саботажники проявлялись внутри сложившегося съемочного коллектива. А еще Макарычу было стыдно за поведение некоторых участников группы. Москвичи дружно ударились в поиски антиквариата... Когда он говорил об этом, мне вспомнилось выражение одного известного человека об ученых, где ученые сравнивались с туземцами, которые после крушения корабля ищут на берегу выброшенные морем матросские пожитки... Собиратели антиквариата были тоже очень похожи на этих ученых-туземцев. Но москвичи не подозревали, какое крушение постигло вологодских аборигенов. Действительно, как много было накоплено икон, самоваров и прялок жителями Белозерска с тех пор, как Белозерский полк весь целиком полег на Мамаевом побоище! Русские иконы обнаружены даже на Мадагаскаре, крестьянские прялки с опиленными копыльями возят сейчас по Америке и Европе...

Кому-кому, а уж Макарычу-то было понятно, какое крушение потерпел российский корабль. Тоска стыла в глазах Шукшина, когда он снимал документальные кадры в деревне под Белозерском...

Баня, купленная «Мосфильмом», стояла у небольшого озерка, одна стена у нее была выпилена. Не знаю, построил ли «Мосфильм» местному колхознику новую баню. (Ходил слух, что так ничего и не было сделано). На другом берегу озерка стояла заброшенная церковка. Мы съездили туда на лодке. Макарыч выбрал для этого время. Вот и тот пригорок, на котором пластался от горя шукшинский герой. Пластался, по сути, не персонаж «Калины», а сам Шукшин...

В заулке между двумя избами снимали незначительный эпизод. Заболоцкий со своей камерой нервничал, стоял на стреме, а Макарыч застопорил съемку, ему чем-то не понравился сценарный текст. «Придумай мне диалог, надо две-три живых фразы!» — обратился он ко мне и

объяснил, что надо было переделать в разговоре родителей Любы. Я отказался. Макарыч сел на крылечко соседнего дома с карандашом и рабочей тетрадью. (Да, он на ходу придумывал во время съемок новые сценарные диалоги, сочинял новые эпизоды.) Все отошли в сторону. Ждали. Он сидел минуты две, не больше, черкал что-то в тетради. Затем порывисто встал, поговорил с двумя актерами, с оператором. И вдруг скомандовал: «Начали. Пошел!»

Все это было любопытно, однако мало меня заражало. Послонулся я немного по деревне, поглазел на скучную съемочную площадку. К этому времени Заболоцкий в двух дублях снял эпизод. Макарыч сказал мне: «Давай хоть снимемся на память... Когда еще будет такая возможность!». Он кивнул фотографу Гневашеву, и мы уселись на фоне дровяной поленницы.

Вскоре объявили обеденный перерыв, привезли горячий обед, а я уехал с томиком Горбунова в Белозерск, а потом и в Вологду.

Макарыч так и не смог всерьез заразить меня кинематографией, она по-прежнему представлялась мне каким-то модным, не очень серьезным занятием... С годами такой мой взгляд на кино не только не менялся, но укрепился еще больше. Кино для меня и сейчас есть нечто несерьезное, а порой даже вредное, похожее в чем-то на конкурсы красоты или на демонстрации дорогих шуб и дамских туалетов.

О моде Шукшин говаривал в специальной статье. Я с ним не только соглашался, но рассуждал еще радикальней. Меня спросили однажды, какая для меня самая красивая девушка. Я ответил, что таких вопросов вообще существовать не должно. «Значит, для вас красивых не существует?» — продолжал допытываться корреспондент. «Почему же, — возразил я и продолжил: — Самая красивая это та, которая не знает, что она красива. Как только она узнает, что она красавица, так от нее и улетает вся красота. Тогда у красавицы остается лишь внешняя красота, грубо говоря, смазливость. Такая красота похожа на рекламу. (А реклама всегда связана с торговлей.) Женщина или девушка начинает любоваться сама собой. (С мужским полом такая беда тоже случается, хотя и реже. Таких субъектов кличут нарциссами.) Девица начинает то и дело крутиться около зеркала, не устает туда заглядывать, смотрит на свое отражение в каждом удобном для этого месте».

Конечно, реклама рекламе рознь. Некоторые девицы приучаются торговать не только предметами, но и собственным телом.

Отсюда и мое отношение к конкурсам красоты. Если женщина (девушка) не может совсем без рекламы и моды (одежда, макияж и т. д.), то реклама эта должна быть сдержанной, нельзя ее сильно выпячивать, мужчина не должен видеть этой «рекламы». Девичья, женская скромность для мужчин наилучшее рекламирование. Конечно, если мужчина достаточно развит духовно, эстетически не испорчен.

Вот и все нормальное, как я считаю, отношение к моде. Думаю, что то же самое сказал бы и Василий Макарович Шукшин...

Уже чуть ли не полвека прошло со времени моего знакомства с Макарычем, а литературная катавасия вокруг его имени ни на минуту не останавливалась. Шукшин все эти годы был в центре борьбы за национальную, а не интернационально-еврейскую Россию. Теперь для многих уж не страшен антисемитский ярлык, но знает ли основная масса русских и нерусских людей, заколдованная телевидением, разницу, например, между Леонидом Бородиным и «правозащитником» Ковалевым? Разницу между Юрием Селезевым и критиком Аннинским? Я уверен: не знает. Золотушные правозащитники типа Ковалева на Руси по-прежнему популярны, словно дешевенькие певички. О своих настоящих защитниках страна не ведает. Ко всему этому мы еще попались и в другую, теперь уже денежную ловушку. Пока не поймем, что интернационалистская ловушка и новая «демократическая» — это одно и то же, нам грозят все новые и новые капканы, изобретаемые на другом берегу Атлантики для всех племен и народов.

«Ванька, смотри!» Шукшинское завещание — название сказки — было злободневно все эти годы. Оно долго еще будет необходимо России. Государство выдержит, переварит в себе очередную свою перестройку или перетряску, как переварила Россия троцкистский набег в начале и в первой части прошлого века. Если будем смотреть в оба...

В одном из писем, которые я приводил выше, Шукшин обвинял себя: «Вспомнил, как я тебе писал всегда — все что-то нехорошо на душе, нехорошо, и я все вроде жалуюсь, что ли. Не знаю, за что я расплачиваюсь...» Письмо написано красными, словно кровь, чернилами. Имелась в нем такая приписка: «Разина» закрыли...

В «Новом мире» больше не берут печатать, взял оттуда свои рассказы. Но все же душа не потому ноет. Нет. Это я все понимаю. Что-то больше и хуже. Жду письма или самого».

Не помню, как я ему ответил, но его душевная боль имела то же происхождение, что и моя. Корень ее был крестьянский. «Классовый», как сказал бы добросовестный троцкист, натасканный в совпартшколе, обязанный тявкать на врагов пролетариата. Троцкисты-большевики не только тявкали, в 20-х годах они еще и «трудились», «работали» не покладая рук. Не знаю, читал ли Макарыч повесть земляка своего Зазубрина. Она называется «Щепка». Вроде бы он уже читал эту повесть. Не могу категорично судить о том, что он читал к тому времени, когда писал мне о душевной боли. Приходилось даже скрывать, что читаешь. Шутить с андроповскими ребятами нельзя было, история ВСХОН продемонстрировала это со всей очевидностью.

Шукшинская душевная боль имела явно общероссийские масштабы, мы унаследовали эту боль от собственных матерей и погибших отцов. Сходство Марии Сергеевны, которую я впервые увидел на похоронах ее сына, это сходство с Анфисой Ивановной было просто потрясающим! Все манеры, все интонации в голосе, даже бытовые привычки оказались теми же... Лишь выговор был у нее несколько иной, сибирский. Все остальное оказалось таким же... Мое почитание своей родительницы было не досконально-нежным, как у Макарыча. Нередко я грубил своей матери, проявляя несдержанность. Еще в детстве я почему-то стыдился родительской нежности. Помню это ощущение стыдливости* даже по общению с отцом, не только с матерью. Не воспитала Анфиса Ивановна во мне чего-то такого, что имелось у Макарыча. Я стеснялся открыто, как он, выражать свои чувства к матери. Такая стеснительность распространялась иногда и на всех прочих, в том числе и на Макарыча... Я мог неожиданно сгрубить либо оскорбить неуместным молчанием самых верных своих друзей. Это случалось иной раз и по отношению к А. Я. Яшину, Федору Абрамову, Николаю Рубцову. (Рубцов, по моим теперешним представлениям, и сам был точно таким же, несмотря на сиротство. Из-за своей природной стеснительности жил он скрытно и по-

* Культуртрегеры обязательно пристегнут к этому объяснению Фрейда — свою всегдашнюю палочку-выручалочку.

тому многим казался угрюмым, необщительным. Вероятно для того, чтобы придушить это вечное чувство стеснительности, особенно в отношении женщин, Рубцов научился еще в молодости прикладываться к бутылке. Разве один Рубцов? И разве только в молодости? По себе знаю, что и в общении с начальством, и в общении с той средой, от которой материально зависишь, очень часто требовалась банальная выпивка...)

Но мифы о моих друзьях, как о вечно пьяных, развеяны временем. От этих фальшивых мифов не осталось даже следа. Подобно Рубцову, Шукшин любил жизнь во всех ее проявлениях.

Помню, как он смеялся, когда гуртом разбиралось какое-либо смешное слово. Любил он и остроумные анекдоты, они часто скрашивали тревожную невеселую жизнь. Любимый анекдот Макарыча достоин того, чтобы его сейчас вспомнить: «Сибирский мужик стоит у газетного щита, читает заголовки, перетаптывается, ярится, негодует вслух: «Ну, гады, ну, жмут! Ну, жмут, мерзавцы!» Милиционер кладет сзади руку на плечо мужика: «А ну, пошли... Скажешь, кто тебя жмет...» — «Да сапоги жмут! — обернулся и чуть не завизжал мужичок. — Так сжали — никакого терпенья». Милиционер убрал руку с плеча и пошел прочь. «А я знаю, на кого ты подумал!» — крикнул мужик вдогонку».

Макарыч смеялся своим глуховатым, негромким, но заразительным смехом.*

Такая народная сценка вполне подошла бы к любому фильму. Макарыч знал это и без меня. Он, конечно, снял бы ее, но... Ленты его и без таких сценок безжалостно резали. Давать профессиональные советы я не имел права.

Он по-прежнему звал меня в Москву, предложил даже как-то сниматься в роли Матвея — сподвижника Разина. Я расхохотался, а он недоумевал, почему это я не хочу сниматься? У него уже имелся опыт общения с писателями, которые с удовольствием откликались на его режиссерские просьбы. Началось еще с Бэлочки Ахмадулиной. Некоторые дамы напрашивались. Покойный Глеб Горышин тоже однажды причастился к этому виду деятельности. Конечно, я вытерпел бы оплеуху, которую по сценарию должен был вклеить Стенька своему крестьянскому сподвижнику. Но дело не в оплеухе... Даже театр посте-

* В воспоминаниях А. Заболоцкого этот анекдот приведен с другой концовкой.

пенно утрачивал для меня свой заманчивый ореол, хотя мои пьесы шли в десятках провинциальных театров, ставились и в некоторых столичных, в том числе и академических. Когда-нибудь я расскажу читателям о моих театральных приключениях с участием лицедействующей братии...

Михаил Александрович Ульянов, подобно Любимову, пробовал инсценировать мою прозу, но это меня покорило еще больше, чем на Таганке. Инсценировка Ульянова оказалась беспомощной. Вместо того, чтобы помочь Ульянову что-то сделать, я предложил ему пьесу. Думал, получится так, как с Малым театром. Получилось нечто противоположное, Ульянов не пожелал со мною сотрудничать... Но я отнюдь не поэтому считаю его неискренним. Перечитайте его интервью о Шукшине в «Российской исторической газете» (№ 7, 1999). Надо знать, в первых, что эту газетку срочно придумали в противовес настоящей исторической, которую редактирует Анатолий Парпара. (Испугались либерал-демократы и сварганили свою «историческую».) Вот в этом желтоватом листке и напечатал свои противоречивые, во многом лживые измышления Михаил Ульянов. По случаю 70-летия Шукшина газетка, конечно, начала не с Шукшина, а со слащавого панегирика Андрею Тарковскому. «Надо меньше чувствовать и больше думать», — крупным шрифтом сообщает газетка слова «киногения». Но еще занятнее рассуждает о «чувствах» Михаил Ульянов: «Он неразговорчивый человек, — вешает мэтр о В. М. Шукшине. — Перекинулись... и расстались. В тот раз отношения не завязались». На этом бы Михаилу Александровичу и остановиться, потому что отношения не завязались и дальше, а он врет: То было как озарение! Читая Шукшина, я находил для себя...» И т. д. Сплошь лицемерие. «Шукшин стал мне жизненно необходим. Я загорелся идеей поставить его пьесу-сказку...»

Ах, Михаил Александрович, если б вы загорелись, так и поставили бы, но вы не загорелись и не поставили. Ваша трактовка пьесы, помещенная в этом интервью, вполне подтверждает именно эту мысль, а не какую-либо иную... «Передо мной стояла задача, — пишете вы, — придать фантазмагорической пьесе реалистической звучание». Вы называете пьесу фантазмагорическое? Странно. «Спектакль начинал скоморох-зазывала разными шутками-прибаутками: «А вот я пришел вас позабавить, с праздником поздравить! Здорово, ребяташки! Здорово, пар-

нишки! Бон жур, славные девчушки, быстроглазые вострушки! Бон жур и вам, нарумяненные старушки! держите ушки на макушке! Ну, друзья, нечего крутить на карусели, заходите посмотреть, как пляшут мамзели! А мне бросайте в шапку медяки, да не копейки, а пятаки!»

Ух, сколько тут восклицательных знаков... От всего этого Шукшин начал бы плевать. По ульяновской добавке можно судить об эстетических возможностях автора, продолжившего статью такими словами: «...в сцене столкновения монастыря с чертями я отметил не святость, а скотство всех этих обитателей монастыря с их вседозволенностью, которая выводит их за грань духовного, человеческого». Каково! Приписать монахам свойства чертей мог только Ульянов. «Меня постигла неудача», — признается он дальше, а мы добавим: «И хорошо, Михаил Александрович, что она вас постигла». Ваши мысли о Георгии Буркове тоже ошибочны, но этот грешок уже помельче...

Итак, мое отношение к кинематографу было очень нетрадиционным. Я считал, что коллективное творчество — это слишком тяжеловесное творчество, а в кино в особенности. Все эти множественные дубли, муторные повторы, чтоб снять какую-то совсем, может быть, необязательную сцену вроде ссохшихся сапог. Эти дубли позднее отбирались, монтировались, их стригли, клеили, переставляли местами. Участвует уйма народу. В такой пестрой обстановке, в атмосфере суеты и всякой возни искусство, по-моему, улетучивается. Даже в театре, когда актера превращают в марионетку, как делает это Любимов, оно исчезает. И, на мой взгляд, напрасно один из наших общих с Макарычем друзей, Федор Абрамов, восторгался работой Любимова, поставившего спектакль «Деревянные кони». Я побывал на спектаклях по Абрамову и Можаяву. Знаю, что это за работа, хотя бы у того же Любимова. Когда режиссер начал из двух моих повестей выкраивать нечто, понятное ему одному, я пресек общение с Таганкой. Опыт с Малым театром был несколько удачнее. Драматургия увлекала меня несколько лет. Пьесы шли, писать их было интересно. Этот альянс был ликвидирован лишь во времена Ельцина, слишком я был чужой тому, что началось в стране...

Разумеется, определенную часть души я отдал и кинематографу, еще в детстве и юности. Радовался великолепным актерским работам Жана Габена и некоторым фильмам итальянцев. И в Америке, по-моему, ненадолго,

появлялось более-менее сносное кино. Вспомним хотя бы «Раз картошка, два картошка» или «Скованные одной цепью». Вскоре дурные подражательские фильмы отечественных и зарубежных деятелей сотнями потекли на наши экраны, они тушили мой интерес к кино. Думаю, что не только мой. Порнография совсем dokonала кинематограф.

Знакомство с Макарычем несколько обновило мои отношения с кино, убедило меня в том, что искусство кино может существовать, если в одном лице совмещается сценарист, актер и постановщик. Плюс кинооператор — единомышленник постановщику. Лишь при этом довольно редком УСЛОВИИ можно считать, что подлинное искусство с трудом, но все-таки пробивается из духоты условностей при создании фильма. (Так пробивается печной огонь, заглушаемый дымом, производимым самими же дровами, не желающими сразу вспыхнуть и гореть в полную силу.) И сейчас, на пороге семидесятилетия (жизнь, в общем-то, прожита), я думаю точно так же...

Может, мои требования к театру и кино, искусству как таковому, слишком завышены? Нет, нет и еще раз нет! Я благодарен судьбе, что я занижал их только по собственному малодушию, только из-за нужды либо из-за неблагоприятных внешних условий. И я счастлив, что сохранил в сердце трепетное отношение к понятию «искусство», что благодаря этому почти все, что мною сделано, кажется мелким, порою ненужным, заставляя краснеть. Стыдно и за то, что я был максималистом по отношению к другим, когда самому приходилось халтурить, изворачиваться...

А как работал, например, Николай Васильевич Гоголь или современник его художник Иванов? Гоголь рекомендовал писателю переписывать свои сочинения до девяти раз... (Это тогда, когда не было ни печатных машинок, ни компьютеров. Каждый листок надо было написать своею рукой. Но, может, и лучше, что своей-то рукой?)

В кино, как мне казалось, вообще невозможно избежать отчуждения. Шукшин, поддерживаемый Заболоцким, нехотя сопротивлялся моим доводам. Он доказывал преимущества кино, говорил о возможности общаться сразу с миллионами. Такая возможность была для него весьма дорога, заманчива и, на мой взгляд, обманчива. Признавая массовость, зрелищность, я говорил, что книга все равно надежнее целлулоидной ленты, даже в смысле физическом. Того же мнения, насколько мне известно, придерживались и Леонид Леонов, и Михаил Шолохов.

Весть о внезапной шукшинской смерти застала меня в деревне. Жена по телефону сообщила об этом ужасном событии. Не очень хорошо запомнил я все последующие дни и часы. От горя из памяти выпали важные разговоры и встречи со значительными людьми. Не стало самого верного друга, и многое вообще потеряло значение!

Насколько помню, главную тяжесть похорон Макарыча принял на свои плечи А. Д. Заболоцкий.

...Мой Христос-Эммануил стоял на полочке в квартире на улице Русанова. Серая шукшинская кепка и шарф, присланные из Волгограда, сиротливо лежали на письменном столе Макарыча. Сам он в это время находился в морге института им. Склифосовского. Мы с Толей и еще с кем-то (с кем — не помню) проникли в это печальное место. Макарыч, словно живой, лежал на постаменте. Это возвышение было то ли мраморное, то ли оббитое жостью. Казалось, что трагическое выражение в шукшинском облике появлялось по мере того, как мы вглядывались в его такое родное, такое близкое лицо, уже подернутое смертельным бескровием. Кажется, нас торопили...

Нам еще сообщили, что будет производиться патологоанатомическое исследование. Этого исследования почему-то не произошло. Кто-то из начальства распорядился не делать повторного вскрытия в институте. Достаточно, мол, и одного, волгоградского.* Тело поспешно перевезли в Дом кино...

Очередь желающих попрощаться с Шукшиным повергла в изумление даже гугнивого Евтушенко. В Доме кино кинематографические бонзы хватали нарукавные повязки и суетливо сменялись у гроба нашего друга. Кто-то что-то делал, кто-то что-то говорил... Гроб завален был красными гроздьями. На Новодевичье приехало так много народу, что я с трудом сквозь густую толпу пробрался ближе к Макарычу. В давке пришлось пролезать под гробом... У Заболоцкого написано обо всем этом лучше, я же и сейчас не могу спокойно рассказать об этих похоронах...

Время, несмотря на общественные трагедии, не залечило две душевные раны: это кончина Анфисы Ивановны и смерть Шукшина. Недавняя смерть старшего брата Юрия и Саши Романова наложились на незажившие ра-

* Позже, будучи в Волгограде, я встречался с тамошним патологоанатомом и был удивлен его странным, путаным рассказом. Он говорил о возможном отравлении... кофе. Почему отменили московскую экспертизу? Это до сих пор не известно.

ны. Без нашего ведома растут скорбные списки. Рушатся даже бетонные памятники...

После смерти Макарыча я выбрал наконец время для поездки в Сростки и в Бийск, где доживала свои последние месяцы Мария Сергеевна. Она невероятно тосковала по сыну, болела как раз от этой тоски. Она до слез обрадовалась моему приезду и много рассказывала о его детстве.

Существовали эпизоды, о коих я не подозревал. Например, история с уткой, открывшая матери актерские способности сына. Собирали что-то съестное на болоте, что-то из растительности (не помню название). За этой работой он сказал: «Мама, хочешь, сейчас к нам прилетит утка?» Она изумилась: как может прилететь утка? А Вася громко крикнул, подражая утке. И вдруг большой красивый селезень прилетел откуда-то и уселся совсем рядом.

Оказывается, еще в детстве Шукшин умел подражать многим птицам. Эту его способность заметили в школе. Учителя, видимо, настойчиво ориентировали его на артистическое будущее...

Да что значит будущее крестьянского мальчика, когда безотцовщина свирепствовала по всей Руси великой?.. Нужда не обошла и дом Марии Сергеевны. В один из моих редких приездов я побывал в этом доме. Там жили совсем другие люди, но почти все оставалось так, как в детскую пору Шукшина. Вот и та самая печь, на которой коротали часы двое сирот в ожидании матери. Вот забор и огород, где бегал любимый детьми пес Борзя, вот и тропка, ведущая к реке, к лодкам и островам... Мои хлопоты в Бийске по приобретению этого дома для музея успехом не увенчались, хотя хлопотали еще многие люди. На родине Макарыча еще действовал евангельский принцип, утверждавший, что не бывает пророка в своем отечестве. В Сростки, где пешком, где автобусом, я добрался быстро, но уехать обратно в Бийск хотелось еще быстрее. Душила меня горечь воспоминаний... Столовая при дороге щедро кормила шоферов, едущих по Чуйскому тракту. Я поговорил с дядей Макарыча, побывал в библиотеке, где зародилась у Шукшина неудержимая тяга к большой культуре. Постоял я у памятника погибшим в последней войне, прикинул, сколько однофамильцев среди не вернувшихся в Сростки. И сколько всех не вернулось. Мысленно присоединил к ним еще одного земляка. Считал я, считал и сбился со счета...

И вспомнился скорбный мартиролог, записанный в рабочую тетрадь режиссера в какой-то короткий промежуток между съемками: «Отец — расстрелян. Дядя Иван — расстрелян. Дядя Михаил — 18 лет отсидел в лагере, погиб на Колыме. Дядя Василий — сидел в тюрьме, попал в четвертый раз. Дядя Федор — умер в тюрьме. Дядя Иван Козлов — погиб на фронте. Дядя Илья — погиб на фронте в Финскую. Дядя Петр — погиб на фронте. Двоюродный брат Иван — убит сыном из ружья. Двоюродный брат Анатолий — трижды сидел в тюрьме, готовится в четвертый раз». Этот список, как говорил Макарыч, был не полным...

Я поймал попутку, уехал в Бийск, где долго искал квартиру шукшинской сестры. Квартира на мой звонок промолчала, тогда я поехал поглядеть техникум, куда со своим домашним матрацем впервые уехал из дому наш Макарыч. Техникум не застопорил неудержимое движение мальчишки к неясной, но давно поставленной цели. Он сбежит из техникума. Он еще несколько раз вернется домой к матери и сестре, но цель была, она стала для него уже яснее. (Вспомним рассказ, вернее, биографическую зарисовку «Самолет».)

Было грустно. В гостинице суетились какие-то залетные, вроде бы из Молдавии, эстрадники. В буфете то и дело появлялись странные люди. Парень с отчетливым азиатским обликом ходил по буфету с каким-то зверьком на голом брюхе. Суслик, что ли? Зверушка напоминала большую крысу... Она перемещалась по телу парня куда ей хотелось, он демонстрировал ее и свои способности, успевая прикладываться к стакану. Почему-то пришло на ум рубцовское: «Еще бы церковь у реки, и было б все повологодски». Ведь Коля тоже бывал на Алтае. Здесь, в гостинице я неожиданно встретил кинооператора Александра Саранцева. С ним мы познакомились в Швеции, где он работал корреспондентом телевидения. Мы помянули Макарыча бутылкой сухого вина. Шукшин метил Саранцева на роль Матвея, от коей я так решительно отказался.

Наутро снова пробовал я найти сестру Макарыча, только опять неудачно. Еще раз навестил Марию Сергеевну с гостившей у нее родной сестрой, теткой Макарыча. Старушки меня не отпускали, однако же остаться в Бийске еще на ночь я не мог. Как жалко, что у меня не было тогда магнитофона! Мой карман был все еще мелок для этой машинки. (Позднее эту безделицу я приобрел аж в трех экземплярах.) Мария Сергеевна жаловалась на бар-

наульскую писательскую братию — увезли, дескать, письма Васи, и с концами. Подсobili в этом деле барнаульцам московские и вологодские дамочки, обманувшие старуху сомнительной близостью к Шукшину. Я улeтел в Москву.

Сохранилось одно письмо Марии Сергеевны, я приведу его в авторской орфографии.

«Добрый день Василий Иванович, с горячим поклоном Мария С. Господи, как я дожидалась от вас письма, Господи. Откуда только не были люди писатели журналисты критики корреспонденты а вас я не могла дождаться. Мне же охота поговорить с человеком кто Васю знал хорошо. Может, когда нибудь где нибудь говорили с Васей на откровенность, ведь для меня каждое его словечко дорого каждая строчечка. Люди все хорошие приезжали добрые, может я за счет людей живу, все поговорят так душевно каждый хочет разделить наше великое горе. Я рада хоть бываю с людьми а кто был близко с Васей никто не приехал. Мы удивляемся, что же это такое неужели им его нисколько не жалко? Даже письмо не напишут. Спасибо Толе Заболоцкому. Он меня встретит и проводит когда я там была. Еще Люба Соколова изредка пишет, больше из близких никто черточки не написал, а вообще то я много писем получаю, не глупые не знаю человека (...) все. Только один критик хорошо знает Васю приезжал Коробов он мне кое что рассказывал о Васе, я так была рада, знал человек сына. Вроде Толя Заболоцкий посулился, может приедет, что нибудь бы рассказал о внучках и Лиде, мы же ничего не знаем как они живут. Обидно до горьких слез, Лида нам не пишет. Я писала писала а она не отвечает, мне даже стыдно стало я ее беспокою своими письмами, ну сейчас тоже напишу. Ну до чего же обидно, не могу говорить, захлебываюсь слезами. Милый сыночек был живой, каждый подвиг детей писал и я радовалась, а сейчас не вижу и не слышу. Очень тяжело на сердце. Приезжайте Василий Иванович я буду очень рада. Василий Иванович то что написала что Лида не пишет, я вас прошу Василий И. не говорить никому ради Бога. Мы никому об этом не рассказываем, только вам, потому что я знаю что Вася вас любил, вот я вам как сыну пожаловалась. У нас спрашивают многие, сноха* то пишет? Пишет. Часто. Стыдно от людей да сына жалко до слез. От людей не хорошо, будут знать. Ну ладно Василий Иванович передавайте привет своей семье. До свиданья,

* Так Мария Сергеевна назвала Лиду.

будьте здоровы, с уважением и с любовью Мария С. Я о себе не написала. Я всю зиму болею сильно. От слез пишу а строчки сливаются, видно полны глаза слез, сердце все истерзано, от боли горла задыхаюсь. Вот сейчас пишу а по телефону звонок. Мама Шукшина Василия М. слушайте 7 по радио в 12 или в час будут передавать вечер памяти Василия Макаровича, будет Васин голос. Господи до чего я рада, забыла буквы какие писать. Ну все Василий Иванович, я много наболтала, прости меня ради Бога. Ну время будет собраться напиши мне. А не будет ладно так.

Как они узнали наш телефон. Господи везде есть записи и хоть бы ктонибудь приехал к матери».

* * *

Летом однажды (не помню, какого года) Макарыч повез нас с Заболоцким в Белые Столбы — в богатейшее хранилище отечественных и забугорных фильмов. (Живо ли оно под чутким демократическим руководством?) Мы посмотрели подряд несколько лент. «Земляничная поляна» Бергмана не произвела особого впечатления. Психологическая заумь какого-то иного (по-моему, прибалтийского) фильма тоже сразу выветрилась из памяти. А вот испанский (или португальский?) фильм под названием «Веридиана» запомнился. В его оценке я был солидарен со своими друзьями. Если бы отсечь некрофильский мотив, белыми нитками пришитый сценаристом к основному сюжету, лента была бы превосходной. Но у европейских киношников некрофилия, педерастия и прочая мерзость были всегда в чести. Этому подражали и наши кинорежиссеры вроде Абуладзе с его «Покаянием».

«Веридиана», верней, часть ее, исключаящая некрофилию, на какое-то время вернула мне доверие к кино. Однако я по-прежнему утверждал, что писательство для Макарыча важнее, чем кинематограф. Неожиданная поддержка в этом смысле была получена от Леонида Леонова в его письме к Шукшину. Казалось, что Макарыч начал сдаваться: «Вот поставлю Разина — и конец! Хватит!»

Но слишком уж глубоко увяз он в киношную бездну. Выбраться из нее было уж не под силу...

Случались в его жизни и праздничные отдушины в связи с премиями и выходом книг:

«Живу ничего. Дали мне, ты знаешь, премию (РСФСР) — за «Ваш сын и брат». Торжественное такое

вручение! Куча красивейших дипломов, золотой знак на грудь... Банкет. С банкета я куда-то еще поехал (денег тоже много дали — 1200 р.), ночь... В общем, я все дипломы потерял. Знак на груди остался. Жду последствий: найдутся где-нибудь дипломы, их переправят в Верх. Совет, а там мне скажут: «Вы так-то с государственной премией обращаетесь! Вы член партии?» Черт знает, что будет. Мне и выговора-то уже нельзя давать — уже есть стр. с занесением в уч. к. Главное, такие штуки долго потом мешают работать.

Маню видал? Славная девка, русская! Я ее зову иностранному: Мэри Шук. Ну, будь здоров. Жду сценарий. Передавай привет ребятам. И семейству. Шукшин».

«Белович, дорогой! — пишет он в другом письме. — Письмо твое получил уже в Москве (переслали из Ялты). Был у меня вчера О. Табаков. Говорили о тебе, о твоей пьесе. Сгоряча оба засобирались к тебе — узнать, что с пьесой, и помочь, если это возможно. Про себя я подумал так: не сценарий нам надо бы написать (хоть это не исключено, если захочешь), а пьесу: ближе к литературе, как-то понятнее для писателя, не так шпыняет совесть, как сценарий. Охота мне, чтоб у тебя случились хорошие деньги, и ты бы не так зависел от каждой книги.

Не знаю, как Табаков, но я к тебе приеду — поговорить об этом. Про сценарий так: хочешь, завтра с нами заключат договор. И есть режиссер... Но надо понять: что это такое будет для нас.

Про Бондарчука... Если б взялся, сделал бы — это таран с кованым концом, он все может. Думаю, что предложит соавторство. На мой взгляд, оно не позорное. Он, правда, художник, несмотря на Войну и мир». Кроме того, он сельский.

С книгой у меня такая же история. Отклонили 11 рассказов, из 15 листов осталось 9. Я был там, говорят: ну, это тоже неплохо. Оно знамо, неплохо... Но, в отличие от тебя, я и не зависаю в безденежье — шут с ними. С паршивой овцы... Это редкое удовольствие — сказать: не подходит? — прекрасно!..

Приеду эдак через неделю: еще мотнусь в Коктебель, провожу своих. И поеду к тебе.

К сведению, раз пишешь пьесу: вот вдруг стали активно предлагать (начальство) для кино и для театра «Две зимы...» Абрамова. На «Ленфильме» прямо наваливают одному режиссеру, а он не хочет... Что-то же случается там... Логику обнаружить трудно, но работать, видимо, надо.

Приедем с Толей Заболоцким (оператором). А потом охота учинить тебе просмотр фильмов.

Будь здоров, дорогой мой человек! В. Шукшин».

Дипломы, по-видимому, нашли хорошие люди, потому как, судя по всему, худых последствий от их потери не последовало.

Макарыч приезжал с Толей, знакомился с Вологдой. Мы пешком пошли в кинотеатр Завокзального района смотреть фильм «Странные люди». Макарыч очень расстроился, народу оказалось — сосчитать можно. После сеанса пытались говорить с кем-то, результат еще хуже. Фильм зрителям не понравился. Народ был приучен к другому. А тут, мол, в одной картине сразу шесть фильмов. Макарыч на ус намотал, больше к новеллистике ни разу не возвращался. Да и много ли было этих разов? Не разбежишься...

Макарыч всерьез думал о литературе как основной своей деятельности. Но кино держало его довольно цепко. Стоило ли тратить на него так много сил, времени, нервов? Ему ставили подножки на каждом шагу. Особенно обидным было то, что к другим, например, к Тарковскому, относились иначе: денег на постановки отпускалось Комитетом значительно больше, аппаратура, пленка предоставлялись намного качественней и т. д. Помню, каким-то ветром занесло меня на студию. Пробежали по павильонам, и вдруг я попал в глухую длиннющую деревянную трубу, сделанную из дорогостоящей вагонки. Труба в рост человека. Она была не прямая, даже с изгибами. Я изумился: «Что это, для кого такая махина?» Макарыч саркастически хмыкнул: «Сталкер». Слышал такое словечко? Я тоже не знаю, что оно значит. Наверняка что-нибудь да значит... Дают ему столько, сколько попросит».

Речь шла об очередном «гениальном» фильме Тарковского.

Деревянная кишка со специальными рельсами для операторской камеры тянулась далеко, стало как-то даже жутковато, Заболоцкий в своей книге говорит, что «Сталкера» Тарковский снимал в трех вариантах, меняя каждый раз оператора. Сам же Макарыч расходовал бюджетные средства весьма экономно, дешевизна его картин подтверждается документами.

Особенно возмущало нас хвастовство и шум, поднятые вокруг ульяновского «Председателя» (режиссер Салтыков). «Фальшиво же все!» — раздражался Макарыч, стараясь не быть услышанным каким-нибудь любопытным со-

седом. Я был полностью согласен с ним в оценке салтыковско-ульяновского «шедевра», поскольку у меня уже была написана статья «Деревенская тема в кино». Ее публикацию никто из культуртрегеров не осмелился опровергнуть. Но, может, я ошибаюсь? У нас не было времени следить за прессой. Помню, я до того осмелел, что на банкете по случаю «Дядюшкина сна», снимавшегося в Вологде, сказал что-то недружелюбное по поводу «Председателя». И кому — самой Мордюковой! Сказал, а после и сам испугался. В ответ на мое раскаяние Макарыч ругался: «Мордюкову обидел? Кэх!.. Ее только колом осиновым можно обидеть, и то бесполезно...»

В статье моей говорилось, что кино в общественной жизни занимает более скромное место, чем кажется зрителям, критикам и самим кинематографистам. Явная полемика с Макарычем. Конечно, он сразу это почувал, но ни разу не упрекнул, не сказал против моего радикального мнения ни одного междометия.

Только два раза произошла между нами стычка, и то скорее по моей вине. Занявшись драматургией, я чтил чистоту этого жанра (как любого иного жанра: прозы, например, рассказа или повести). Понятие жанра было для меня как бы непререкаемо: нельзя путать рассказы с очерками, пьесу с биографическими воспоминаниями. Поэзия, как таковая, разумеется, может и должна присутствовать в любом жанре, философия тоже, но законы-то у каждого жанра всегда свои, особые. Между тем в литературе и вообще в культуре пошла мода на безответственное и безобразное смешивание. В прозе, к примеру, проступали признаки драматургии, в стихах явились признаки прозы, в драме просвечивались киносценарии...

Профессиональный писатель, как мне казалось, обязан уметь работать в любом жанре — от романа и поэмы до обычного очерка. Хотя бы для того, чтобы кормиться, жить за свой, а не за чей-то счет, при этом, в меру своих возможностей, не халтурить.

С такими эстетическими убеждениями я считал, что то, что интересно делать, то и надо делать, что хочется, то и пробуй делать. В этом Ульянову я не противоречу... Не трусь и не бойся любого жанра. Разумеется, к чему душа совсем не лежит, к таким жанрам лучше повернуть своим тылом... Но что за писатель, если он трус? Уперся в одно и упрямо боится свернуть с раз и навсегда избранного пути?

Конечно, в мире полно графоманов, как и наркоманов.

Сходство двух этих категорий просто полнейшее. Редкий наркотик уступает литературному «зелью». Доказательств тому тьма. Теперь даже президенты, банкиры, депутаты издают свои книги. Зачем? Тайна сия велика есть...

Истинный писатель тоже тайна. Что значит этот самый талант? Почему одних читают, других и не думают? Как определить, надо или не надо читать определенную книгу? Как понять, на что способен ты сам, и, если способен, в какой мере? Каждого человека от молодых ногтей ждут подобные искушения, каждый проходит через это, хотя бы при выборе профессиональной деятельности. Писательский ореол у людей почему-то на особом счету... Меня тоже ослепил он, этот ореол, еще в юности, в пору первой любви, в пору всяких надежд и мечтаний. Хотя эта пора и была холодной и голодной, судьба милосердно привела меня в Москву, в Литинститут, посадила рядом с более юными и, может быть, более способными... Лучше было недооценить, чем переоценить свои силы и данные Богом способности. Но если уж взялся за гуж, не говори, что не дюж. Да, сладкий заманчивый яд известности мешался с высокой радостью литературного творчества, хотя я и до сих пор стыжусь в полный голос произносить это слово...

Примерно при таких чувствах я взялся за драматургический жанр, этот жанр был очень привлекателен, интересен. Он завлекал мою душу сюжетами, манил и другими возможностями. Мои взгляды на драматургический жанр слегка отражены в статье «Театральные размышления» (книга «Раздумья на родине», 1986 год, изд-во «Современник»),

Мое представление об идеальной пьесе не совместились с шукшинскими драматургическими опытами того периода. Его постановка в театре им. Маяковского на малой сцене мне не понравилась, и я прямо сказал об этом Макарычу. Его заело... Он раздраженно заговорил, какая это зацепка для его недругов, как обрадуются они такой оценке спектакля. О пьесе «Энергичные люди», поставленной в театре Товстоногова, мы тоже не сходились во мнении, в пьесе хозяйничал сценарист, а не драматург. Но я щадил своего друга и несколько попридержал свой язычок...

Шукшин стремительно двигался к своему драматургическому шедевру-завещанию «Ванька, смотри!» В журнале, на мой взгляд, зря переменили название пьесы. Но «Энергичные люди» не волновали, не трогали моего

сердца. (Пьесы Александра Вампилова, тоже сибиряка, больше отвечали моему драматургическому настрою.) Шукшин умел учиться, на ходу постигал секреты мастерства, не боялся никакой критики, признавал любую, кроме заведомо лживой, сказанной с определенными целями. В цитируемом письме он признает, что сценарий дальше от настоящей литературы, чем пьеса. Наверное, он уже задумывал свою сказку. И может быть, не без моего влияния задумывал, поскольку мы говорили и про новомировского «монаха», и про мои бухтины с медведем. Наверное, мне можно гордиться теперь: ведь сюжеты с монастырем и медведем навесил ему я, он читал все, что выходило из-под моей грешной руки. Поэтому о каких размолвках можно говорить!

Тем не менее я тоже был обижен публикацией «Кляузы». За нее уцепились наши общие недруги. Насколько мне известно, Макарыч просил жену показать «Кляузу» Белову и, если тот возражать не станет, отдать ее в печать. Лида же не показала мне рукопись, поспешила напечатать, сказавшись вечное женское стремление к благополучию деток. В своем письме к Шукшину я, вероятно, попенял Лидии Николаевне за «Кляузу», так как Макарыч пишет:

«Лида прочитала по телефону твое письмо.

...Вася, это не будет все, это про то, как один лакей разом, с ходу уделал трех русских писателей. Это же славно! Не мы же выдумали такой порядок. Чего тут стыдного? Ничего, ничего — я чувствую здесь неожиданную (для литературы) правду... Клейма на такую форму рассказов у них еще нет, в эту-то прореху и сунуть.

Толя едет к тебе в деревню... Отступаете? Ну, отдышитесь. Напиши за неделю документальный рассказ: так мне стали нравиться документальные рассказы.

Ну, душой буду с вами, а телом в Кунцевской больнице. Вот же хворь — это стало уже угнетать: я же так ни черта не сделаю! Так охота работать!»

Дальше, наверное, в ответ на мои семейные жалобы, пишет:

«Я про своих родных и думать-то и рассказывать боюсь... Непролазно, Вася, черно. Как же быть?! Как быть-то? Одно знаю — работать. А уж там как Бог хочет».

Была еще такая приписка:

«А по весне-то (в марте хоть) не собираешься ли опять в деревню? Ах, попросился бы с тобой!

6 февр. 74 г. Обнимаю. Шукшин».

Наверное, это единственное письмо, где указана дата. Остальные даты можно определить лишь по почтовым штампам. Но конверты я выбрасывал, освобождаясь от лишних бумаг. Одна открытка с собачкой пекинской или японской породы сохранилась:

«Вася, здравствуй! Ничего — просто лежу в больнице. Выглянул в окно, — весна. Дай, думаю, поздороваюсь с тобой, поздравлю с Весной. Вот и все. Да и собачка понравилась — похожа на редакторшу. Верно? Больше писать нечего. Дай Бог тебе здоровья! Шукшин».

Штампы на открытке оказались неразборчивы, какой был год, можно определить лишь по предыдущему письму.

Не знаю, какие слова были написаны Шукшину Леонидом Леоновым, но встреча с Шолоховым перевернула у Макарыча все его представления о бытовой безопасности. Поневоле приходится пользоваться такими терминами, поскольку без такой безопасности ничего не сделать, будь ты хоть семи пядей во лбу. Макарыч знал об этой истине и раньше, но встреча с Шолоховым просто dokonала его:

«Вот в ком истина! Спокоен, велик! Знает, как надо жить. Не обращает внимания ни на какие собачьи тьяканья...»

Он вернулся с Дона совсем с другим настроением, хотя съемки военных событий выматывали. Таскать противотанковое ружье было не под силу даже Алеше Ванину, одному из верных, любящих Макарыча киношных людей. Алексею Ванину Шукшин доверял. Как доверял он и оператору Анатолию Заболоцкому.

Макарыч не оставил мечту поставить «Разина», рассчитывал на административную поддержку Бондарчука. Поэтому и согласился играть в фильме по роману Шолохова. Как актеру ему вовсе не хотелось работать. Сценарий «Степана Разина» сделан, предстояла борьба за постановку... Борьба не шуточная, изнуряюще-долгая, почти бесперспективная. Но он верил в удачу. И, надо сказать, кое-где судьба ему помогала. На ЦК и угрюмого тамошнего сидельца Шауро надежды были плохи. Макарыч приглушенно смеялся над привычкой Шауро заператься в кабинете и играть на гармошке. Это были, разумеется, сионистские слухи, но мы судили о Шауро и Суслове не по слухам, а по их делам. Дела же казались зловещими. Сулова русские патриоты считали масоном, но разве сравнима шауровская гармонь с черномырдинской? Суловский выдвигенец Горбачев в то время высиживал свое предательство России где-то в Ставропольском крае...

Прочитав сценарий «Степана Разина», я сунулся с подсказками, мое понимание Разина отличалось от шукшинского. Разин для меня был не только вождем крестьянского восстания, но еще и разбойником, разрушителем государства. Разин с Пугачевым и сегодня олицетворяют для меня центробежные силы, враждебные для русского государства. Советовал я Макарычу вставать иногда и на сторону Алексея Михайловича.

«Как же ты так... — нежно возмущался Макарыч. — Это по-другому немножко. Не зря на Руси испокон пели о разбойниках! Ты, выходит, на чужой стороне, не крестьянской...»

Горячился и я, напоминая, что наделали на Руси Пугачев и Болотников. Вспоминали мы и Булавина, переходили от него напрямую к Антонову и Тухачевскому. Но и ссылка на Троцкого с Тухачевским не помогала. Разин всецело владел Макарычем. Я предложил добавить в сценарий одну финальную сцену: свидание Степана перед казнью с царем. Чтобы в этой сцене Алексей Михайлович встал с трона и сказал: «Вот садись на него и правь! Погляжу, что у тебя получится. Посчитаем, сколько у тебя-то слетит невинных головешек...»

Макарыч задумывался, слышалось характерное шукшинское покашливание. Он прикидывал, годится ли фильму такая сцена. Затем в тихой ярости, однако с каким-то странным сочувствием к Разину, говорил о предательстве Матвея и мужицкого войска. Ведь оставленные Разиным мужики были изрублены царскими палашами. Он, Макарыч, был иногда близок к моему пониманию исторических событий. Но он самозабвенно любил образ Степана Разина и не мог ему изменить. В этом обстоятельстве тоже ощущалось нечто трагическое, как в народной песне о персидской княжне, как в сибирской песне «Миленький ты мой» или в песенке о снегах, что певала Анфиса Ивановна. Смутный, шемяще-печальный образ оставленной женщины, как мне сейчас представляется, не покидал Макарыча и в сценарии «Позови меня в даль светлую». Питался этот образ, наверное, тоской по родине, раздумьями о матери и жалостью к родной сестре. Кто знает, на чем держатся образы? Говорить об этом опасно, так как тут довольно легко впасть в субъективизм, еще легче ошибиться и сказать о человеке какую-нибудь неправду.

В статье 1978 года «Возвращаясь к первоначальным истинам» я попробовал докричаться до всех глохнувших

в нравственно-эстетическом смысле. Но ни до кого не докричался! Наоборот, отвлекающий журналистский треск вокруг искусства совсем глушил редкие предостерегающие голоса. В «Литературной газете» (№ 7 за 1978 г.) со всей категоричностью заявлено: «Театр стоит перед альтернативой: либо содействовать многократному посещению... одной и той же аудитории — упор на постоянную публику, либо привлекать все новых и новых зрителей — упор на разового зрителя». Каких только альтернатив не придумали культурные перестройщики, чтобы напустить туману, запутать простые вопросы ради того, чтобы продлить государственную кормушку для халтурщиков-дармоедов. Впрочем, приноравливался к этой кормушке и я, мои пьесы шли более чем в тридцати провинциальных и столичных театрах. Халтура ли это была? Конечно, время поглотит мои пьесы, но мне за них почему-то не стыдно... По крайней мере, на общественно-эстетические требования времени мы старались как-то отвечать. Шукшин своей сказкой мужественно ударил по театральному столу кулаком. Трехголового Змея Горыныча в литературе до него не было. В своем Иване, посланном за справкой, что он не дурак, Макарыч с горечью отразил судьбу миллионов русских, бесстрашно содрал с русского человека ярлык дурака и антисемита, терпимый нами только страха ради иудейска. После Гоголя и Достоевского не так уж многие осмеливались на такой шаг! Быть может, за этот шаг Макарыч и поплатился жизнью — кто знает? Знал, может, один Жора Бурков, но ведь и Жоры вскоре не стало...

В последний раз я видел Макарыча летом. Он был порывист, возбужден и нервозен. Они о чем-то договаривались с Николаем Губенко. Довезли меня до какого-то метро, я уезжал в Вологду, а Макарыч в этот же день улетал на Дон в группу Бондарчука. Вышел он из машины, чтобы попрощаться со мной и с Губенко. День был жаркий. Мы суетливо расстались где-то около центра, кажется, на Садовом. Следующая наша встреча произошла тоже на Садовом, в морге института им. Склифосовского... Мне и сейчас лучше не вспоминать эту печальную встречу с другом.

Болгарский журналист Спас Попов, студент Литинститута, с помощью Гр. Цитриняка взял у Шукшина последнее интервью.*

* Это интервью довольно долго и с примечаниями переводилось с болгарского на русский. Не в чести оно и по сию пору в нашей хвальной демократической прессе.

Итак, последние слова Шукшина были записаны на хуторе Мелоголовском во вторник 16 июля 1974 года в 9 часов утра. Попов и Цитриняк спросили Шукшина о Шолохове. Шукшинская характеристика М. Шолохова оказалась несколько иной, чем в клеветническом «Стрелени «Тихого Дона»»:

«От этих писателей я научился жить суетой. Шолохов вывернул меня наизнанку. Шолохов мне внушил — не словами, а присутствием своим в Вешенской и в литературе, — что нельзя торопиться, гоняться за рекордами в искусстве, что нужно искать тишину и спокойствие, где можно осмыслить глубоко народную судьбу. Ежедневная суета поймать и отразить в творчестве все второстепенное опутала меня. А он предстал передо мной реальным, земным светом правды. Я лишний раз убедился, что занимаюсь не своим делом. Сейчас я должен подумать о коренном переустройстве своей жизни. Наверное, придется с чем-то распрощаться — либо с кино, либо с театром, либо с актерством. А может быть, и с московской пропиской... Суета! Это многих губит. Если занимаешься литературой — распрощайся с кино. Многое для меня остается пока необъяснимым. Но то, что кино и проза мешают друг другу...»

В этой беседе Макарыч восторженно отозвался и о Белове, «сидящем в Вологде». Думаю, что, идеализируя мое «вологодское сидение», он преувеличил мои достоинства. На вопрос о литературном мастерстве Макарыч так отвечал болгарину:

«Хороший писатель иногда такого наговорит о своем литературном мастерстве» что потом, когда одумается, — самому станет противно. Я считаю, что не имею права никому ничего навязывать. Боюсь я исповедей об индивидуальной работе, о внутреннем мире писателя во время творческого процесса».

В конце интервью вновь чувствуется горечь от потерянных на кино сил, здоровья, времени:

«Сейчас я думаю о коренном переустройстве своей жизни. Пора заняться серьезным делом. В кино я проиграл лет пятнадцать, лет пять гонялся за московской пропиской. Почему? Зачем? Неустроенная жизнь мне мешала творить, я метался то туда, то сюда. Потратил много сил на ненужные вещи. И теперь мне уже надо беречь свои силы. Создал три-четыре книжечки и два фильма. Все остальное сделано ради существования. И поэтому решаю: конец кино! Конец всему, что мешает мне писать».

Журналист спрашивает: «Могу я все это напечатать?» — «Конечно. Я потому и согласился на наш разговор».

На этом общение Макарыча с газетами, с миром, со всей суетой жизни — завершилось. Ему не удалось пожить ни в новой, наконец полученной квартире, ни в новой для него обстановке, свободной от кино, пожить свободным от предательства сподвижников, засилья льстивых, коварных «французов», свободным от постоянной материальной нужды и боязни за незащищенных родных и близких людей.

Но и с того, с другого берега Макарыч продолжает кричать: «Ванька, смотри!»

России будет всегда благодарна Шукшину за этот предостерегающий окрик, хотя мы не услышали этот окрик в нужное время. Сергею Викулову, моему земляку, несмотря на осторожность и окружающие страхи, удалось тиснуть сказку в журнале. Пусть и под другим заголовком. (И ничего страшного не случилось ни с журналом, ни с главным редактором. Редколлегию не разогнали, «Наш современник» продолжал выходить номер за номером.)

Сказка Шукшина пошла в народ, увы, уже после смерти Макарыча. Ее читали и перечитывали. Ставили самодеятельные коллективы и, кажется, замахивались профессионалы.

Все в этой жизни было взаимосвязано, взаимообусловлено. (Никак не вспомню философский термин, обозначающий такое явление. Детерминизм, что ли? «Культурный» еврейский шеголь типа Фридриха Горенштейна обрадуется, назовет такую мою забывчивость «духовным нищенством». Уж он-то никогда не забудет, что значит этот самый детерминизм.) Даже предательство друзей объяснимо, хотя душа не желает верить никаким объяснениям. Шукшину было больно предательство Куравлева — какие тут объяснения? Переманили слабого человека, женщина убежала к другому, более молодому — переманил он ее. Переманивают деньгами, более легкой жизнью, даже новизной, даже какой-нибудь модой.

О моде он с ненавистью писал специально, писал статью, моду он презирал. Человека, гонящегося за модой, не принимал всерьез. Даже женщины такого склада вызывали у него ухмылку, что уж там говорить о мужчинах.

Мещанскую моду на академические знаки он преодолел ВГИКом, моду на славу преодолевать не стремился, потому что она приносила ему какую-то, пусть относи-

тельную, материальную независимость, возможность помогать матери, родным и близким. Этой возможностью он дорожил больше, чем жизнью.

Теоретически он понимал предательство слабых людей, хотя бы того же Куравлева. Только ведь одно дело понять умом, другое — сердцем. Сердце его кровоточило. Забота и боль о матери и жене, о всех трех дочерях, о сестре и племянниках не отпускали его ни на минуту. Говорить с миллионами, то есть стать деятелем кино, его заставила первоначальная тяга к искусству, а за ней уже и осознанная боль, о которой он писал мне в письме. Боль, полученная по наследству, обернулась стремлением к киношной профессии, то есть ко ВГИКу. Ради этого он учился тошнотворному коллективному творчеству. Ложная романтика губила многих из нас... А бесследно ли разрушение в таком виде творчества, как кинематограф, хрупкого интимного мира? Он жил как в аквариуме. Тысячи писем, миллионы изучающих глаз. Он никого не хотел, не мог обижать, поскольку от природы был добр, хотя коллективных врагов из стана Фридриха Горенштейна глубоко презирал.

Упомянутый стан еще при живом Шукшине почти открыто противостоял его родине — России. Щедрость и доброта Макарыча проявлялись даже к индивидуальным фридрихам. (Какая переключка в именах с известными завоевателями, вечно грозящими России со стороны цивилизованного «свободного» Запада!)

Как бы сложилась его жизнь, не будь он сыном расстрелянного сибирского крестьянина, объявленного «не с числа, не с дела»* каким-то кулаком теми же Фридрихами? Если б он закончил в свое время школу, затем институт, затем... Но ему выпала иная стезя, иная доля, связанная с колхозной нуждой, с флотской службой и т. д. А кто бы работал на поле и стройке, кто бы служил на кораблях? Фридрихи, что ли? Они бы ничего этого делать не стали. Они еще до своего рождения отгородились от кораблей и колхозных полей дипломами своих родителей.

Диплом давал фридриху горенштейну право на гнусные слова о «фальшивом» алтайском интеллигенте, будто бы печатающемся где ни попадя. Сколько презрения и ненависти сумел выплеснуть этот фридрих в каких-то двух страницах текста! Талант, несомненный талант... Бесовский талант. Дипломы таким давались не зря. С по-

* Именно так звучит и пишется эта пословица.

мощью дипломов вручались в их ведение художественные и технические институты, академические театры, киностудии, важные должности в областях и столицах. Для крестьянских детей после этого уже не было зеленого света в искусство, в литературу. Без аттестата зрелости Игорю Тихонову нечего было и мечтать о продвижении. Сиди в своей сапожной либо ходи по крышам (последние месяцы жизни Игорь работал кровельщиком). Но даже над Ольгой Фокиной, выросшей на медные деньги в безотцовщине, получившей свой законный диплом, крокодилские сатирики издевались: «Вам рано, мадам, в Европу, сидите в своих вологдах». Впрочем, ни на талантливые поэмы, ни на романы Фридрихи способны не были, иное дело эпиграммы или двусмысленные сальные пародии. В этой сфере они непревзойденны и по сие время.

Есенинская «Волчья гибель» ходила в Вологде рукописно, я переписал ее у Игоря Тихонова. Не случайно и Макарыч выделял у Есенина именно это стихотворение. В воспоминаниях Ольги Румянцевой (записанных А. Лебедевым) говорится, как любил Шукшин Сергея Есенина, как они с Ирой (дочерью Румянцевой), сидя где-нибудь в углу, пели романсы на есенинские слова и с каким жадным волнением слушал он живой голос Есенина, читающего монолог Хлопуши*. «Когда монолог закончился, — рассказывает Ольга Михайловна, — Шукшин сел и заплакал. На другой день он снова пришел слушать эту пластинку. Сидел молча, опустив голову». А с какой болью, вспоминает далее Румянцева, пел он есенинское «Клен ты мой опавший», «Ты жива еще, моя старушка», «Над окошком месяц»...

Конечно, логика Фридриха Горенштейна не допускает иного пения, кроме пьяного. Но песни и слезы Макарыча были иного происхождения, иного свойства... Об этом с неумолимой определенностью говорит и сказка-пьеса, написанная почти перед смертью и никем из корифеев до сих пор не замеченная. Театр русский горенштейны постоянно «совершенствовались», в своих интересах, конечно. Помню, как в драмтеатре богоспасаемой Вологды шла постоянная чехарда с режиссерами. Меняли, мудрили,

* Помню, как читал этот монолог Анатолий Передреев, будучи в бакинской гостинице, когда Алиев с ханской восточной щедростью принимал русскую писательскую делегацию. Приемы с восточными плясками громоздились тогда один на другой...

перестраивали. Администрация за счет винной торговли перестраивала и само здание драмтеатра, где режиссер Баронов поставил мою пьесу. Построили новый драмтеатр, старый сделали ТЮЗом — опять перетряска, опять новые «художественные» кадры. Не знаю, как сказывалось все это на жизни, например, Марины Владимировны Шуко, превосходной актрисы, игравшей мою, а потом и распутинскую героиню. Плохо, наверное, сказывалось, если она умерла так неожиданно, чуть ли не в дороге. Директор театра Лифшиц, обретающийся сейчас в США, был доброжелателен к моим драматургическим дебютам, а режиссеры то и дело менялись, и каждый волок с собой свой репертуар и даже актеров. Поучаствовал в режиссерской чехарде и друг Жоры Буркова, какой-то бесцветный уральский парень, он поставил у нас спектакль «Завтра была война» и бесследно исчез. На Таганке «Зори», у нас «Зори». Кругом Борис Васильев, а Шукшина нет как нет, хотя тот же Бурков, подобно Ульянову, обещал поставить сказку. В планы культуртрегеров Шукшин с его Змеем Горынычем явно никак не влезал. Мой тогдашний приятель из Череповца Равик Михайлович Смирнов (с дипломом!) окончил Ленинградский институт культуры, сумел создать в городе молодежную группу, действующую в довольно широком эстетическом диапазоне. Разнообразные интересы сплотили молодежь разных возрастов, вплоть до самых маленьких. Равик Михайлович заинтересовал шукшинской сказкой старшую группу ребят, увлекающихся сценой. Они отрепетировали и поставили сказку Шукшина. Успех ее на премьере оказался для партийного городского начальства неожиданным и тревожным. Мы сумели как-то нейтрализовать идеологические протесты. Спектакль вышел, он шел с успехом довольно долго. Череповецкий простой, как говорят, люд от души принимал старания доморощенных артистов. Некоторые исполнители оказались на уровне профессионалов. Смирнов привозил ребят на гастроли в Вологду. Мы всерьез думали воспитать, взрастить для Вологодского драмтеатра своего, местного главрежа. Но не тут-то было. «Варяги» то и дело сменяли друг друга. Сменялись по каким-то нам неизвестным принципам, по каким-то другим законам. Директора, режиссеры, актеры приезжали и уезжали. Они ездили не только по своему государству, но и по всему миру. Баронов опять приезжал из Средней Азии, не укрепился в Вологде, куда-то уехал. Директор Лифшиц почему-то

удрал в Америку. Министерство культуры и театральные боссы дирижировали кадрами страны как хотели. Эти «кадры» тасовались, будто колода карт.

Равика Смирнова в Вологду не пустили (говорили, что у него не тот театральный диплом). Артиста Семенова не хотели ставить в главрежи по какой-то иной причине. Диплсм, везде нужен диплом! То бишь, справка из шукшинской пьесы...

Как прекрасно играл Ваньку Борис Ленков в череповецком спектакле! Как он был прост, выразителен, гонимый по свету интеллигентными мудрецами. С какой тоскливой горечью он плясал по приказу Горыныча. «Эх, справочка...» — вздыхал он, умаявшись и подвязывая лапотную онучу. Тяжело, мол, ты даешься. Как точно играла самодетельная череповецкая артисточка шукшинскую ведьму, предлагающую Ваньке заняться строительством «коттеджа». И до сих пор вспоминают мои земляки, каким способом черти пробрались-таки в монастырь и что они там учинили.*

Кто знает, как бы повернулось дело, если б диплом (справочка) Равика Михайловича Смирнова был бы другим, то есть подписанным каким-нибудь Горынычем? Может он, Смирнов, и стал бы главрежем Вологодского драмтеатра... Хотя сейчас многие сомневаются: не тот у человека оказался калибр. Не зря же он вмиг забросил искусство и череповецких ребятишек, решил стать депутатом. И стал...

Он сбежал из хасбулатовского Верховного Совета, когда Ельцин дал ему иудины деньги и должность зама по правительственным наградам. Не он первый, не он последний... И что говорить про Равика, если и сама Лидия Федосеева-Шукшина таскалась по демократическим московским трибунам, громогласно, чуть ли не от имени Макарыча, заявляла о своих сомнительных политических взглядах? Не знаю, что бы сделал с ней Макарыч, будь он при этом живым. «Умер вовремя», — говорят некоторые. Может, и вовремя...

Нет, совсем, совсем не вовремя умирают такие люди, как Шукшин, Солоухин, Абрамов!

«...Эта личность меньше всего заботилась о самой себе,

* Сказка, кроме череповецких молодых артистов, заинтересовала еще несколько молодежных коллективов, например, на Сахалине. Ни один московский или питерский театр ею не заинтересовался, а если и заинтересовался, то подобно М. А. Ульянову.

о том, как бы проводить в самой себе грани... Вот я — актер, а вот это я писатель...» Сергей Павлович Залыгин, вы не правы, когда так говорили о Шукшине в предисловии к его двухтомнику. Грани эти он в себе чувствовал и о себе заботился. Иначе бы не сказал то, что сказано Спасу Попову о московской прописке. Сидеть сразу «в трех саях», как выразился М. А. Шолохов, ему действительно было невмоготу. Грань между кино и литературой была, и очень острая. Кинематограф оказался убийственно тесным для этой личности. Шукшин задыхался в сверхинтеллектуальной киношной среде. Разве о том мечтал он, стремясь в Москву?

Его сердце сжималось от жалости, когда он слышал плач ребенка. Спокойно относиться к детским слезам он не мог, чей бы ни был ребенок. Что уж говорить о собственных дочерях? К талантам Лидии Федосеевны относился сдержанно, иногда с юмором, стойчески терпел отлучки, связанные с ее артистической деятельностью. Куда денешься, коль на актрисе женился? Порой и девочки вовлекались в киношную бучу. Он соглашался, что детям такая ранняя киношная слава идет во вред. Между тем почти вся кинематографическая и театральная среда была уже пронизана родственными связями. Как-то даже было принято: режиссеры-мужья обязаны снимать своих жен. Снимали и дочерей, и младенцев... Мне представляется, что отлучки жены, связанные с командировками, не шли на пользу семье Макарыча. Шукшин иногда нервничал и ярился.

Помню, он открыл мне дверь на улице Русанова. В квартире ни дочерей, ни жены. Макарыч завернул матерком, было время завтрака, а есть нечего. Достал из холодильника большой кусок мяса и начал нашпиговывать его чесноком. Чеснок-то надо было еще чистить. Он ловко, стремительно справился с этим, навтыкал с помощью ножа чесноку в мясо и начал жарить, рассказывая про Герасимова: «Тамара Макарова не каждый день кормит Герасимова... Но такие зубры голодом сидеть не будут. Сам возьмет и нажарит. Пырьев тоже с бабой скандалил. Зверь-баба, выгнала нас обоих, когда я по-сибирски затесался в квартиру. До сих пор стыдно... Я-то думал, что уж Пырьев-то... А им тоже жена командовала».

От завтрака я отказался. Пришел сосед по дому, а может, и по подъезду, незнакомый мне безрукий актер. Макарыч был рад и ему...

Чувствовалось, как он тосковал в пустой свибловской

квартиренке, как был одинок и взвинчен без жены и без дочек.

Когда долго не было писем с Алтая, он приходил в отчаяние, слал телеграммы матери, слезные письма. Надо признать, ни я, ни кто другой из его близких друзей вряд ли писали так своим матерям:

«Мамочка, милая ты моя! Родная моя! Что же там у вас случилось такое? То ли ты заболела — не дай Бог! Мамочка, моя родная, неужели ты заболела? Ангел ты мой родной, напиши мне скорее письмо. Друг ты мой старший, друг бескорыстный, сообщи мне, ради Бога, что у вас там случилось. У меня душа болит за Талю, за ее ребяташек».

Нет, это надо признать, я со своей магушкой, Анфисой Ивановной, был намного сдержанней, жестче и суше как в письмах, так и в прямом общении, хотя она дорога была мне, наверное, не меньше. Я стремился к какой-то мужской сдержанности. В один из приездов Шукшин оказался свидетелем моей резкости в обращении с матерью. Он подождал, когда она ушла в другую комнату, и тихо, с укоризной сказал: «Что ж ты так... С матерью-то. Потом ведь каяться будешь».

Он как в воду глядел. После смерти Анфисы Ивановны от горя три года я не мог написать ни строчки. Казалось, что жизнь кончилась и нет в ней ни капли смысла... Лишь на четвертый год я начал приходить в себя.

Понятно, что с таким традиционно-русским, христианским отношением к миру Шукшин даже спрашивал у Марии Сергеевны в письме разрешение обзавестись третьим ребенком. Он мечтал о сыне, чтобы дать ему отцовское имя — Макар.

О женщинах, рвущихся в поэзию и литературу, мы говорили с некоторым недоверием и даже сарказмом, по выбору. Одно дело, например, москвички Инна Кашежева с Риммой Казаковой, другое — ленинградки Ольга Берггольц и Светлана Кузнецова. О женщинах-редакторах — тем более по выбору. Таких, как Ольга Михайловна, на Руси обреталось не так уж и много, но не так уж и мало. Имелись они не в одной Москве. Наверное, в каждом областном центре. Таких благородных женщин вытравила из жизни горбачевско-ельцинская перестройка! Мало осталось... Как бы они могли сохраниться, если не стало мощных, на весь мир прославленных издательств, когда уничтожена могучая книжная культура, когда на книж-

ный рынок хлынула безжалостная и вонючая детективно-сексуально-суицидная волна? Вологодские дамочки-книготорговцы однажды (когда я попросил обзавестись моей книгой, напрасно лежащей в Москве) начали рекламировать омерзительный опус, пропагандирующий все известные способы самоубийств. Словно нет у человека иных, более необходимых задач.

А как было толковать без юмора как бы и не совсем о женщинах — о существах, приобретших или стремящихся приобрести свойства мужчин, утрачивающих или утративших вековые женские свойства? К этим свойствам мы относим беззащитную нежность, физическую слабость, сердечное очарование, то есть то, чего нет у мужчин. Не зря же говорят: прекрасный пол, сильный пол. Я рассказывал Макарычу об Анне Ахматовой, виденной мною в Комарове, о ее величественном, почти мужском профиле, о ее мужском голосе, так не сочетавшемся с ее дамским интересом к ежедневному меню и мелочному вниманию окружающих. Мне казалось, что все эти свойства не сочетаются с ее могучим талантом. Вероятно, похожа была на мужчину и Марина Цветаева, по крайней мере, если судить по манере стихосложения. Но, может быть, так и положено? Не знаю... Пушкин писал и такие строки:

*Не дай мне Бог сойтись на бале
Иль при разъезде на крыльце
С семинаристом в желтой шале
Иль с академиком в чепце!*

Так или иначе, нам было несколько странно слышать с эстрады мужской бас, производимый женским горлом, или видеть в актрисе мужские ухватки. (Я говаривал об этом публично, вспоминая пушкинское четверостишие.) Отношение к дамским усам было выражено в литературе тоже Пушкиным. Наверное, он был заодно с уличными мальчишками, что углем дорисовывают эти усы на афишах. Образ «усатой ведьмы» витал в мире задолго до Пушкина. Быть может, трогать нечистую силу не стоило даже и самому Шекспиру? Кто знает, чем оборачивается фамильярность с бесовской стихией...

К 60-летию со дня рождения Шукшина я тиснул заметку, где говорилось, что чуть ли не на второй день после кончины писателя сразу во всех крупных московских издательствах появились заявки. Люди, не любившие его, видевшие его лишь в кино, ринулись «увековечивать»

шукшинскую память. Пришла такая заявка и в издательство «Советский писатель». Автор «Блокады» Чаковский требовал поставить в план то ли восемь, то ли десять печатных листов... Мы с Сергеем Залыгиным и еще кем-то вздумали остановить нахальных «биографов» с помощью альтернативных заявок. Сергей Павлович послал заявку в издательство «Советская Россия», а я в «Совпис». «Увы, я не написал эту книгу, — жаловался я сам на себя в заметке, посвященной 60-летию. — Причин поначалу было всего две: во-первых, цензура, во-вторых, я не мог писать о Шукшине, пока не написано о Яшине. С годами цензура хоть и не исчезла, но как-то слегка ослабла, зато число ушедших друзей безжалостно увеличивалось. Николай Рубцов и Федор Абрамов окончательно меня осиротили, надолго выбили из колеи...»

Далее говорилось: «...чешется мой язык сказать, что виновато издательство (юрист «Совписа» регулярно напоминал мне об авансе, намекал на то, что дело будет передано в суд). Однажды, получив гонорар в другом месте, я сдал в кассу «Советского писателя» восемьсот с чем-то рублей, поднялся наверх и показал квитанцию главному редактору В. Карповой с тем, чтобы продлить договор. Результат был весьма прост: она переоформила договор. На себя...»

Да, литературные дамы не стеснялись уподобляться стервятникам, стремящимся разбогатеть на памяти и одновременно опорочить эту память как можно ехиднее. (Я не говорю, что Валентина Карпова была точь-в-точь такой.)

Известный молдавский писатель, толочшийся больше в Москве, чем в Кишиневе, сочинил статью о Василии Шукшине. Назвал эту хитрозадую статью «Долгое расставание». Чего, мол, так долго все его вспоминают? Может, пора и забыть? Литературные дамочки умыкнули у большой Марии Сергеевны большую часть шукшинского архива и теперь используют его не в лучших целях. Они представляются добродетельными прижизненными друзьями Макарыча. Положим, Макарыч не чуждался при жизни и дамочек. Но зачем же сочинять небылицы? «Смерть Шукшина пришла тогда, когда он исчерпал себя...» Эту мысль отстаивает не только Ирина Ракша. Впрочем, слава Богу, сочиняют не все, кто знал Шукшина. Бэлла Ахмадулина, наверное, могла бы сочинить целую поэму о том, как она совместно с Куравлевым и Шукшиным «работала» в первом шукшинском фильме. Не сочиняет, и ладно...

Недоброежелатели Шукшина остановили фильм о на-

родном крестьянском восстании. Степана Разина» не пустили дальше мосфильмовского порога, а Макарыч, как Пушкин перед женитьбой, неожиданно угодил в карантин. Клевреты и без холерной палочки легко справились с задачей. Степан Тимофеевич не прошел... Анатолий Заблоцкий в книге «Шукшин в кадре и за кадром» довольно живо рассказывает об астраханском холерном сидении.

Не обращая внимания на подножки, Шукшин упрямо верил в успех, продолжал собирать материал для съемок, встречался с нужным народом. В Вологде мы забирались на колокольню, разглядывали часовые шестеренки, оглядывали окрестность с высоты птичьего полета. Макарыч жадно поглощал все, чем славилась Вологда, начиная с купца Непеи, первого посланника в Англию, кончая Сергеем Есениным. В ту пору еще были живы некоторые свидетельницы приезда Сергея Есенина в наши края.

Двое друзей, Ганин и Есенин, ехали из Петрограда в Вологду, намереваясь свершить свадьбу Ганина с Зинаидой Райх в деревне у родителей Ганина. По дороге Райх перекинулась во власть Есенина. Ганин не стал ее удерживать. Не доезжая до деревни жениха, Зинаида обвенчалась с Есениным в церкви Кирика и Улиты, что под Вологдой. После этого все трое отправились к родне Ганина в деревню Коншино Кадниковского уезда. Жители этой деревни долго помнили Есенина, с гармошкой гуляющего по деревне во время православных праздников. (Иных в то время еще не праздновали. Деревня была уничтожена теми же силами, от которых погибли и праздники, и Ганин, и Есенин. Да, пожалуй, и сам Шукшин.) Макарыч хмуро слушал трагическую историю о гибели Ганина, а есенинскую судьбу он и без меня знал назубок.

Судьбы русской культуры плотно увязаны с гибелью Пушкина и Есенина. А сколько их было, не менее трагических жизненных финалов, завершавших путь наших национальных творцов! Предчувствия не оставляли и самого Шукшина. После создания сказки эти предчувствия явно обострились...

Сейчас я думаю, с каким трудом, какими аптечными дозами проникала подлинная (народная) правда на русскую сцену, в русский кинематограф (было же у критиков и такое выражение — русский кинематограф). Дураку ясно, почему Шукшин начинал с кино, и почему на него так ополчились, и откуда у него многообразие «чудиков».

А как было пробиться через толстокожую марксистскую критику? Вся она была основана на городской, преимущественно интеллигентской эстетике, на установив-

шихся догмах, на диамате и т. д. Это теперь марксистские обскуранты массами бросились в капитализм, и нынешняя власть позволила на все лады клясть Россию. А в те, как говорят, застойные годы Шауро с Суловым держали их, сердешных, в добротной узде.

Шукшин и гвоздил зрителей, читателей, слушателей чем только мог*: «чудиками», блатными замашками, неожиданными поворотами. В азарте иногда и перебарщивал, например, в рассказе «Танцующий Шива». В спешке, иногда из-за безденежья Макарыч публиковал недоработанные рассказы («Вянет, пропадает»). Бытовые зарисовки называл рассказами. Лишь бы опубликовать. Печатал и биографические этюды, коигодились бы ему позднее, но жизнь и кинематографический ритм заставляли печатать все, что есть... Это не значит, что он не чувствовал, где хорошо, а где так себе, а где плохо, каким бы и желала видеть его космополитическая братия. Нет, Шукшин умел работать. Сравним хотя бы два его рассказа — тот же «Вянет, пропадает» и «Осенью». Один — не более чем оригинальная бытовая зарисовка, другой же — полноценное, художественно выверенное произведение, достойное великих предшественников.

Поспешность, с которой он разрешал инсценировать свои рассказы и повести, объясняется обычным желанием подсобить другим. Торопливость, с которой Шукшин ставил свои первые пьесы, тоже понятна. Он спешил, потому что знал о своих сроках, видел, что не успевает. Невыношенные рассказы, как невыношенные младенцы. Он публиковал их частью из-за традиционной материальной нужды, частью оттого, что боялся не успеть. Он ощущал приближение очередного разгрома. Гроза над Родиной приближалась, он ее чувствовал и торопился, как торопятся на покосе сметать стог. Вот уже падают первые крупные капли, а стог только-только начат.

В. Иванов, продвигавший однажды и мой драматургический опус, поставил в Москве спектакль по рассказам Шукшина и пригласил меня на премьеру. Спектакль назывался «Беседы при ясной луне». Постановка оставила смутное ощущение неудовлетворенности**. Почему были взяты именно эти рассказы, а не иные? Для чего этот пьяный священник? Сцену не покидала атмосфера капуст-

* В этом смысле прав С. П. Залыгин, упоминающий о «гранях».

** Такое же чувство посещало меня и на своих премьерах. Я отнюдь не считал собственные пьесы образцами драматургии, а уж что говорить о спектаклях.

ника, эта атмосфера глубоко противоречила драматургическому движению. Мое понимание действия не совпадало с режиссерским. Превосходный язык, яркие бытовые, истинно шукшинские коллизии не компенсировали, на мой взгляд, вялого действия, отсутствия конца и начала.

По-видимому, я сказал об этом и В. Иванову, и В. Шукшину. Первый начал спорить, второй промолчал. У Иванова интерес двигать мою персону в кино пропал, Шукшин еще пытался делать это хлопотное и громоздкое для него дело. Мой восторг давно растаял не только перед кино, даже перед театром. Спорил я о драматургии с Бабочкиным, скандалил (письменно) с Ульяновым, не ужился с редактрисой «Мосфильма». Таким оказался неуживчивым, отстаивая сюжетную драматургию...

Будучи в Вологде, Макарыч довольно много размышлял о Никоне, о его влиянии на царя и православную иерархию, рассказывал о разинских посланцах на Соловки. В Феррапонтове Макарыч вместе с Заболоцким приглаждался к древнему, обитому кожей креслу Никона, стоявшему в келье опального патриарха. Еще сильнее интересовал их шатровый собор, озерные красоты окрест и гениальные фрески Дионисия.

Мы встретились с владыкой Михаилом в его ветхом, но хорошо ухоженном доме. Владыку Михаила за его проеврейские симпатии в Вологде, как мне казалось, недолюбливали. Шукшин говорил с ним о Разине и о Никоне, вроде бы подарил книгу. Я старался помалкивать, визит быстро закончился. Куда интересней оказались для Макарыча встречи с простыми верующими старушками.

В селе Архангельском, куда он ездил искать «натуру», я вздумал «угостить» его старинной игрой на гармонии. Гармонист-старик оказался вполне современным, по-старинному, но играл. Тогда же я вылез с бутылкой перед обедом, но Макарыч вежливо, но твердо пить отказался. И до сих пор стыдно за свою тогдашнюю зависимость от алкоголя «перед едой». Тогда я еще не старался избавляться от дурных привычек, не был знаком с академиком Угловым. Макарыч был ко мне снисходителен. Он прощал людям самые гнусные поступки, умел прощать. Мне было далеко до этого. С омерзением вспоминаю многие приключения, он же даже из коллективных попок извлекал нечто необходимое, то есть был добрее. Вот одно из его писем:

«Милый Белович!

Получил вот от Вани Пузанова книжечку в дар, и

вспомнились те, теперь уж какие-то далекие, странные, не то веселые, не то дурные дни в вашем общежитии. Какие-то они оказались дорогие мне. Я понимаю, тебе там к последнему курсу осточертело все, а я узнал неведомых мне хороших людей, И теперь вот грустно сделалось. Эдак, глядишь, и вся жизнь — бочком-бочком прошлепает. Как дела твои? Что-нибудь думаешь насчет перебраться сюда? Или запустил это дело с бородой вместе?.. Как ты жив-здоров? Не поленись, напиши пару слов. Хорошо, если у тебя вышло с переездом. Очень уж порой тут одиноко бывает. Сделай что-нибудь! Потрать время, силы... Надо ведь! Ну, дай тебе бог здоровья. Шукшин».

В разговорах о есенинском и шукшинском пьянстве много обычного вранья. Оба не те, за кого просвещенному мещанству* или чекистским эстетам хочется их принимать. Макарыч умел брать себя в руки в схватке с «зеленым змием» — разновидностью рептильного Змея Горыныча. При этом он не утрачивал ни снисходительности, ни почти женской сентиментальности. Сквозила в его словах и делах нежность к семье, к детям и женщинам, даже к таким, коих молва называет падшими. Все, что касается семьи и детей, было для Шукшина свято.

Помню, с какой радостью он воспринял рождение моей дочери. Я послал ему дочкуину фотографию.

«Спасибо тебе за письмо и за фотографию. Славный человечек там, сколько любопытства к миру в двух «омутках» (из твоего арсенала)! Разве она может стать другой? Только и другого, наверно, что без волосиков. Это ты стал несколько другой, это так — глубоко и полно пережил, и стал чуть другой. Слава богу, что все теперь хорошо. Вишь, какие якоря в жизни кинуты!»

Письмо продолжено сценарной темой:

«Сценарий-то... Вот как. Ну, черт с ними! Самому делать бесконечные варианты, да бегать с ним — это столько времени и нервов, что, я знаю, ты не нашел бы ни того, ни другого. Да и время-то твое дороже, так и прими это. Я думал, что они все же не такие бесстыдники. Но ты бы на полдороге плюнул... Повесть в «Современнике» мне завернули, на мой взгляд, вовсе безобидную. Говорят: «Мы в течение года не будем давать ничего острого». Завалили журнал. Я больше туда и не пойду. Где возьмут

* Вспоминаю мою схватку на депутатском уровне с мадам Бехтеревой, которая заявила Горбачеву, что у науки есть медицинские средства для того, чтобы снижать молодежную агрессивность.

сразу, без разговоров, туда и отдам. Я числа 15 марта выйду отсюда. Вот штука-то: две больницы в одной стране... Эх, сколько мы не знаем, Васюха! И это еще — не край, есть и другое, и много. Переезжай в Москву! Решись. Вите Астафьеву — привет. Скажи ему мой совет: пусть несколько обозлится. Так за него обидно с этой премией-то. Пусть обозлится — будут внимательней. А то привыкли, что — ручные. А убажуют тех, кого побаиваются. Привет всем твоим и маленькой лысенькой. Я вот тоже ей на память фотографию. Шукшин».

Мое состояние постоянной тревоги за здоровье младенца он понимал прекрасно и успокаивал на основании своего опыта. Но я, вероятно, не сказал в своем отчаянном письме, что дочь моя заболела. Поэтому в следующем письме он все оправдывался за бодрчество:

«Вася, дорогой мой!

Если Лида услала мое письмо к тебе (недавно), то я очень неуместно выскочил там с бодряческим тоном (откуда что взялось!), так что — пропусти эту бодрость, ей, видно, вообще нет места в жизни: как где вылетишь, так самому потом совестно. Я не знал, что у тебя Нюра-то заболела... Я знаю, что это такое, когда они болеют. Но тут — скрепись и жди, больше ничего: им Бог помогает. Выздоровеет она, Вася: Природа разумна, добра — она не может так вот просто — наказать, и все. Она испытывает. У нас Маша лоб рассекла в садике, привели ее всю перебинтованную, бледную: «Срочно везите к хирургу зашивать рану!» Я так и сел, и говорить ничего не могу, а только думаю: Но все равно кто-то (сам не знаю, кто) поможет!» Зашили рану, но шрам на лбу есть — на девичьем-то лице. А я в душе упорно думаю: «И это пройдет, зарастет как-нибудь». А как же зарастет?

Позвонили сейчас «Современника» — повесть не берут. «В течение года ничего острого не будем давать». Раньше бы расстроился, а сейчас — лежу, хоп что (может, перелечился?). Нет, какой-то новый этап наступает, несомненно. Ничего, думаю, это еще не конец. Буду писать и складывать.

Напиши мне, если сможешь теперь, как дочка, как сам. Не падай духом, не падай духом, Вася, это много, это все. Много не сделаем, но СВОЕ — сделаем, тут тоже природа или кто-то должны помочь. И — немного — мы сами себе, и друг другу. Обнимаю тебя. Держись. Февр. 74. В. Шукшин».

По приезде в Вологду он первым делом приоткрыл дет-

скую кроватку. Заиграл желваками, с минуту глядел. Дочка спала. Он осторожно положил ей в кровать замшевого кисана. Не забыл прихватить, когда уезжал из Москвы. Игрушка из детского арсенала его дочерей была потерянной, выглядела совсем домашней, не казенной.

В городе Вологде оказалось у него не так много поклонников. Зато поклонники, вернее, поклонницы были искренние и восторженные. «Вологодский комсомолец» не однажды печатал материалы, посвященные Шукшину, и он был благодарен. Московские журналисты все еще не больно-то охотились за ним. А кинодебют без прессы? Ничего он не значил... Добротная пресса — это еще одно обязательное условие успешной деятельности в кино. Я ехидничал по этому поводу. Макарыч не сердился, поскольку так и было. Кино и журналистика не могли друг без друга, они и сейчас взаимно необходимы друг другу. Синтетическое искусство и журналистская всеядность? В этих явлениях было нечто общее. Документальное кино тех лет я признавал и ценил, в нем тогда еще не гнездились похабщина и цинизм. Несомненно, польза от нравственно чистого кинематографа очевидна, как очевидна польза от честной, непродажной печати. Только много ли таких, кто осмеливается противостоять сейфу, набитому валютой, или набитому дураку-бюрократу? Не много таких героев, и тут мы с Шукшиным не спорили...

Произошла одна довольно значительная для него поездка в Тимонику. В ту пору он уже не прикладывался к рюмке, вроде бы я тоже начал самоограничиваться. Клуб в пятистах метрах от Тимоники в те дни еще действовал, показывали там кинофильмы и работала библиотека. Макарыч мог часами стоять около книжных стеллажей. Как-то он притащил оттуда «Роман-газету» — «Один день Ивана Денисовича». Хохотнул: «До вас еще не дошло. В других местах Солженицын давно изъят».

Мы втроем (приезжал с Шукшиным Толя Заболоцкий) старались не пропускать сеансов, любопытно было слушать громкие женские комментарии. Мужская часть зрителей смотрела обычно молча. Бабы реплики неподражаемы...

Придут старушки, усядутся вперемешку с молодыми и внуками. Обсудят новости, весело расскажут про свои болячки. Киномеханик пройдет по рядам, соберет с них свою жалкую дань. Начинают изгонять из зала собачонок, злых звонких собачек и крупных, обычно весьма добро-

душных псов. Но кое-кто, жалея копейки, приходил во время сеанса и пропускал собак опять в те же двери.

Собаки давно научились смотреть кино. Крупный овчар, не помню, на каком фильме, улегся у ног хозяйки, лежал во время сеанса тихо. Вдруг он глубоко и шумно вздохнул. Оказалась в картине как раз пауза, и этот собачий вздох обнаружил не одну только собачью тоску. Мы с Толей ткнули друг друга в бок и едва не расхохотались: шла какая-то закавказская белиберда. Макарыч в тот раз почему-то остался дома.

В другой раз уже с Макарычем пришли мы на клубный концерт по случаю праздничной даты — в День Советской Армии. На стол, который размещался на сцене, библиотекарьша поставила табуретку и завесила ее красной материей. Получилась трибуна. Докладчицу слушали с такой же охотой, с какой смотрели кино. Но концерт старушки слушали еще охотнее, потому как все школьные артисты свои, доморощенные.

Моих друзей сильно заинтересовала одна девочка лет двенадцати — Катя Миронова. Она безо всякого сопровождения тоненьким голоском спела песенку о двух военных друзьях. Помнится, в припеве имелись такие слова: «Тебе половина и мне половина». Шукшин загорелся свезти девочку в Москву, записать или даже снять для кино. В Москве позднее я не раз слышал, как Макарыч пел бесхитростный этот припевчик.

Хорошо запомнился последний шукшинский приезд на Вологодчину.

К этому времени я занял денег у художника Володи Корбакова, дождался каких-то гонораров, собрал все свои сбережения и купил новый «уазик». Машина окончательно сделала меня вологжанином. Я начал старательно крутить восьмерки на территории какого-то гаража. Лев Аллилуев, шофер молодежной газеты, научил шоферским азам. Дело было 9 мая, и вздумал я обновить свой «УАЗ». Фронтовик Лев Аллилуев не очень-то охотно жертвовал Днем Победы, сопровождая мое первое путешествие в Харовский район. Бензин в те времена был вполне по карману, как и коньяк «Плиска». Эту характерную пузатую бутылку я купил для Льва Михайловича, для страховки ушедшегося рядом с новоявленным водителем.

Какой я был шофер, лучше не вспоминать. Но Лева говорил ясно и просто: «Ездить не будешь и не научишься». Рискнули, поехали.

На задних сиденьях устроились Заболоцкий с Макарычем, мечтавшие о тимонихинской тишине.

Пока ехали по асфальту, все у меня получалось как надо. День был солнечный, весна растопила свой небесный костер, даже в кабине воздух пронизан майской свежестью, землей и водой. Мы молча вспомнили майские дни 1945 года, дни нашей безотцовщины, вспомнили радостно-горькие материнские слезы. Шукшин был возбужден, однако, не говорил ни слова. Я чувствовал, о чем он думает, по его плотно сжатым зубам. Желваки выдавали его волнение. Чтобы хоть немного развеселить пассажиров, я остановился и начал рассказывать, о чем я мечтал в детстве, когда не стало отца. Говорил, одна мечта сиротского моего детства сегодня осуществилась: я стал шофером. Прекрасное, необъяснимое чувство «вождения» запомнилось еще по велосипеду Коли Самсонова. Как бескорыстно, с каким удовольствием он давал нам свой двухколесный! Почти всех интернатовских научил ездить. На той детской машине, рискуя грохнуть с лестницы, мы гоняли по верхнему коридору интерната. Коля, став электриком, погиб в воркутинской шахте*, а я помню его врожденное великодушие именно по велосипеду.

А тут целая машина! Подчиняется, едет, от легкого жеста поворачивает куда надо. Да, эта мечта детства осуществилась. Всего одна. Остальные мечты (например, ходить под парусом, освоить ноты), увы, не сбылись. Стать шофером Макарыч тоже мечтал еще в детстве, и теперь он, кажется, мне завидовал. Он наблюдал, как я наслаждался властью над мертвой, теперь как бы одушевленной техникой. Но вот асфальт кончился. Лев Михайлович был недоволен испорченным праздником, поэтому я открыл для него «Плиску». Вместе с этим я отдал ему и руль, а сам перебрался на его место.

Опытный Лев Михайлович глотнул коньяку и начал штурмовать кучи песка, наваленные на нашем пути. Дорога строилась, местами была непроезжей. Коньяк действовал недолго. Леве явно хотелось повернуть обратно. Макарыч, наоборот, по-прежнему стремился в деревню. Я оказался в сложном положении, но от коньяка удержался. Мы продолжали с трудом преодолевать весеннюю кашу, образованную песком, снегом и оттаивающей глиной. Вдруг мой «УАЗ» остановился. Началась первая в моей жизни буксовка.

* О судьбе моих сверстников см. в книге «Раздумья на родине».

Лев Михайлович, если б захотел, то, конечно, пробылся бы, до Харовска оставалось немного. А там, авось, добрались бы и до деревни. Но Леве явно не хотелось буксовать в праздничный выходной. Что было делать? Мы развернулись и, к неудовольствию Шукшина, поехали вспять. Лев Михайлович воодушевился, хватил из бутылки и показал, на что он способен...

В городе Соколе народ праздновал. Группы приодетых людей грудились там и тут, гремели динамики, милиция добродушно пропускала редкие машины. Мы благополучно вырулили напрямую к Вологде. Подъезжая к Фофанцеву, Лев Михайлович в праздничной толпе издалека углядел милицейский жезл. Лева тормознул. И не успел я сообразить, что к чему, как тучный корпус Аллилуева придавил меня к сиденью. Шофер через ручки и рычаги проворно переместился с водительского места на соседнее, то есть прямиком на меня. Я наконец сообразил, что от меня требуется, вывернулся из-под грузного Левы, не менее проворно перебрался на шоферское место и быстро включил первую. До инспектора оставалось метров сто. Милиционер, видимо, заметил подозрительную возню в машине — и бегом навстречу. Я остановился... Момент для Макарыча, наверное, был редкостный. Подбежал инспектор, потребовал с меня документы и, не глядя в них, поспешно сунул мне стеклянную трубочку: «Дуй!» Я испуганно начал дуть, мне казалось, что коньяк не в желудке Левы, а в моем непосредственно. Милиционер поглядел на стекляшку. Он был явно разочарован и вернул мне новоявленные права. Оживленный Макарыч долго вспоминал потом эту сцену, он наблюдал за ней глазами режиссера, актера, писателя. Кто из сельских мальчишек не мечтал в детстве иметь свою машину? Он не ставил бы фильм о шофере, не создавал бы множество рассказов, связанных с шоферской профессией.

Эпизод несколько скрасил его хмурое настроение. Но мы не теряли надежды уехать в Тимонику поездом...

Наутро мы поспешно отправились на вокзал к пригородному. В те времена железная дорога обходилась совсем недорого, народ ездил туда-сюда, иной раз без толку.

Двое»парней («козлячьего», как я называю, возраста) узнали Макарыча и начали дурачить друг друга, передразнивая: «А ну-ка, глаза в глаза!» Мне было стыдно. Мы вышли из купе в тамбур. Макарыч спросил меня о Яшине, чтоб отвлечь меня от досады на молодых земляков. Он слушал рассказ о моем покойном друге, слезная пово-

лока накатывалась ему на глаза, по игре желваков я догадывался о его волнении. Я рассказывал о семидесяти днях яшинских страданий, когда он лежал разрезанный, без всяких надежд и упрекал меня в плохой дружбе. «Настоящий друг дал бы что-нибудь, чтобы мне скорее умереть», — сетовал Александр Яковлевич. Говорили о горьких для меня проводах Яшина в родные места. Желающих провожать было много... Коля Рубцов поглядел на суматоху и отошел в сторону, не полетел. Ил-40 поднялся без Рубцова, чтобы долететь до Никольска, пока светлое время. На середине пути у яшинского гроба вдруг появляются несколько зайцев» определенной породы. Они каким-то путем проникли в самолет, спрятались в хвосте и летят. Мне было жаль оставленного в Шереметьеве Рубцова, почему бы ему не сделать то же самое? Макарыча интересовали все детали, мелочи того скорбного рейса...

Вспомнили мы и встречу в моем номере гостиницы «Россия» в дни писательского съезда. Пел народные песни Борис Можаяев, блистал очками невероятно большой диоптрии петрозаводский прозаик Петр Борисков. (Добрейший был человек Петя, и проза его военная осталась в русской литературе.)

Упомянутый мною Борис Можаяев серьезно работал с трагической, нелюбимой начальством темой коллективизации. Шауро и Суслов считали, что для литературы достаточно и «Брусков» Панферова. «Поднятую целину» они, конечно, приплюсовывали туда же и держали ее отдельно, как бы в числе достижений. «Целина» и была таким достижением, Панферову до Шолохова было весьма далеко. Только меня, к примеру, совсем не прельщал пролетарский герой Семен Давыдов. И Можаяева тоже. Об этом на съезде, конечно, не говорилось.

В те хлопотно-занятные дни привез я Макарыча в свой номер, где познакомил его с Федором Абрамовым... Они с ходу поняли друг друга, и, кажется, поняли безоговорочно. Смерть Федора была для всех неожиданной, такой же, как смерть Коли Рубцова или Анатолия Пердреева. Но эти тягостные прощания стояли еще впереди... Впереди была и кончина Макарыча, с которым я вспоминал общих друзей в вагоне пригородного поезда.

«А ну-ка, глаза в глаза!» — опять заладил парень, забравшийся на вторую полку. Второй парень ехал вниз. Мне опять стало стыдно за этих болтунов, но сам Шукшин оказался добрее меня, не обращал внимания на их

зубоскальство. Какие-то девушки тоже узнали его, просили автографы.

В Харовске мы все трое рассчитывали сразу уехать в Тимонику, но дорога совсем пала, и свободных машин у начальства не оказалось. (И моя персона еще не внушала землякам достаточного почтения.) В напрасных хлопотах проголодались, и я повез своих друзей в Дом отдыха, где командовал Алфей Дятлов, бывший наш председатель колхоза. С его дочерью я учился когда-то в шестом и седьмом классах. Нас накормили и устроили ночевать, но, чтоб не терять времени, я решил попотчевать своих друзей баней. «Баню организовать ничего не стоит», — сказал Дятлов и призвал кого-то из служащих, а минут через двадцать явился мужичок, живущий в соседней деревне, тоже подчиненный Дятлова. Он охотно посулил нам хорошую баню и вроде бы даже предварительную рыбалку. Макарыч отказался и от бани, и от рыбалки, он решил набросать обещанную кому-то статейку, пока мы паримся. Погода стояла слякотная. Мы с Толей вожделенно мечтали о тепле и воде. Шукшину надо было тоже прогреться как следует, но он не осмелился из-за гриппа. Хотелось ему и скорее закончить статью.

Мужичок привез нас в деревню. Баня оказалась уже почему-то протопленной, это нас несколько не насторожило. «Ну, бутылку-то я вам всяко найду», — проговорил он в порядке реплики на мой вопрос о близости магазина. Вот такие заботливые у меня земляки», — подумал я и пошел за хозяином. Толя нырнул за мной...

Долг был наш путь в какое-то мерзкое подземелье, которое называлось баней, я успел не только мысленно выругать Дятлова, но и отблагодарить судьбу за то, что она отвела Макарыча от этой бани. Шукшин простудился бы тут еще больше.

Мы с Заболоцким очутились в каком-то блиндаже, где вдвоем оказалось тесно. Две полки наподобие вагонных изображали банную «мебель». На холодных бетонных стенах образовалась мерзкая слизь, и вообще было довольно свежо. Веники наши были ненужной роскошью, однако Толя рискнул попариться. Ничего, кроме конфуза, не вышло. Мы ополоснулись кой-как и блиндаж оставили.

Хозяин уверял, что он, по примеру Хрущева, совместил баню с картофельным погребом, но какой тут картофель? Пахло водородными бомбами. «Такой бане износу не будет, — подумалось мне. — Уж она не сгниет». Мы с

тоской припомнили мою тимонихинскую, рубленную Иваном Федоровичем Беловым еще до его женитьбы, то бишь в 1925 году, лет за семь до моего рождения, а до появления на свет старшего, Юрия, года за три.

Моя затея опять провалилась, Макарыча и Толю я довез всего лишь до Харовска. Оставалось 65 километров, и Макарыч все еще рвался в Тимонику. На харовском ночлеге он успел набросать какую-то статью. Обещанная машина не пришла. На улице стояла такая распутица, столько было везде воды, что все шоферы сидели дома. Идти пешком? Мы переночевали в дятловском заведении и поездом возвратились в Вологду. Мы дивились смекалке моего земляка. Это надо же! Так догадаться. Вот это подготовочка к новой войне! Наверное, и не он один такой. Может, в каждой избе такой блиндаж. Мы посмеялись и решили, уже совместно с Макарычем, что такой народ, как в Харовске, не скоро уделаешь бомбой. Не зря есть и местная пословица: «Мы не русские, харовские».

В послевоенные годы нужда и лишения не покидали крестьянскую Русь. Над этим работали многие академики типа Заславской. Как упоминалось, при Горби появились даже спецы по психологическим и медикаментозным способам нейтрализации молодежной агрессивности. Об этом говорила мадам Бехтерева, депутат из Ленинграда. Дело было на совещании при ЦК, где я тоже участвовал как депутат. Макарыч лежал уже на Новодевичьем.

Горбачев, вернее, его идейные «шестерки» устроили полумасонский совет. Мадам Бехтерева, захлебываясь от восторгу докладывала начальству, как с помощью психиатрии держать русскую молодежь в узде, чтобы она не брыкалась и делала, что велят. Ну, точь-в-точь по монологу Кошечя из моей пьесы!

Выступить на этом совещании не удалось, там без меня было много всяких говорунов. Свое возмущение я высказал Бехтеревой в Кремлевском дворце то ли запиской, то ли вслух. Она намекнула на судебный финал, а я предложил ей публичную полемику в печати. Ни суда, ни полемики, конечно, не было... Вот в каких условиях мы жили во времена перестройки, то есть после смерти Шукшина. И впрямь, вовремя он погиб...

Так все же случайно он умер или погиб? Думалось, разберемся сразу после ельциноидов, только ельциноидам-то нет, похоже, износу...

СОДЕРЖАНИЕ

Живет, как пишет, а пишет, как живет. Предисловие..... 3

Часть первая. РАЗДУМЬЯ О ДНЕ СЕГОДНЯШНЕМ

Догорающий Феникс	20
Двухвековой юбилей Пушкина	28
Гримасы двуликого Януса.....	42
Архитектура и государство.....	48
Акциз	53
Спасем язык — спасем Россию	59
Мой друг Валентин Распутин.....	62
Предисловие к книге художника.....	67
Король голый.....	70
Кое-что о рождаемости	74
Похвала современному депутату	83
И возникла мода.....	91
Древо зла	95
Окопы третьей Отечественной	100
Так хочется быть обманутым	112
Забвение слова.....	129
Из пепла	134
Циники и симплициусы	142
Чиновники	168
Стьдобушка	175
Мелодия Родины	178
Выберемся!	186
Бесовская хитрость.....	190
Внемли себе	192
Жажда мелодии.....	209

Часть вторая. СОПРИКОСНОВЕНИЕ С ПРОШЛЫМ

Дорога на Валаам.....	222
Тяжесть креста (воспоминания о В. М. Шукшине)	271

Василий Иванович Белов

РАЗДУМЬЯ О ДНЕ СЕГОДНЯШНЕМ

Литературно-художественное издание

Редактор *С. А. Хомутов*
Художник *Г. В. Соколов*
Технический редактор *А. С. Хомутов*
Корректор *Ю. В. Пашкова*

Сдано в набор 12.05.2002. Подписано в печать 04.09.02.
Формат 84×108/32. Гарнитура «Таймс ЕТ». Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,34. Тираж 1000 экз.
Заказ 349. Цена договорная.

Издательство «Рыбинское подворье»
152901, г. Рыбинск, Волжская набережная, 77.

ОАО «Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.

booksite.ru